

Апрель

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Инна ВАРЛАМОВА

Вацлав ГАВЕЛ

Венедикт ЕРОФЕЕВ

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

В. КАРДИН

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

Борис ЧИЧИБАБИН

выпуск четвертый

1991

Апрель

выпуск
четвертый

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

1991

Главный редактор
А.И. ПРИСТАВКИН

Редколлегия:
Ю.В. АНТРОПОВ,
Г.В. ДРОБОТ
(ответственный секретарь),
И.И. ДУЭЛЬ
(заместитель главного редактора),
Л.А. ЖУХОВИЦКИЙ,
А.П. ЗЛОБИН
(первый заместитель главного редактора),
Я.А. КОСТЮКОВСКИЙ,
Б.П. ЛИХАЧЕВ,
А.В. МАЛЬГИН,
Н.В. ПАНЧЕНКО,
А.А. ЧЕРКИЗОВ

Художник
А.Ю. ЛИТВИНЕНКО



МОСКВА 1991

ББК 84.3(2)7

А77

«Апрель» издается издательской группой независимой ассоциации писателей «Апрель» совместно с советско-британским издательством «Интер — Версо».

Все произведения печатаются в авторской редакции. Редколлегия альманаха несет полную ответственность за содержание выпуска.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Апрель: Литературно-художественный и общественно-политический альманах: Выпуск четвертый. — М.: «Интер — Версо», 1991. — 288 с.

ISBN 5-85217-010-0

Четвертый выпуск альманаха «Апрель» составлен из произведений писателей, входящих в ассоциацию «Апрель». В первом разделе — проза и поэзия, рассказы Вячеслава Кондратьева, Инны Варламовой, Сергея Довлатова, повесть Леонида Жуховицкого, пьеса Вацлава Гавела, блокадный дневник Ольги Берггольц, стихи Бориса Чичибабина. Во втором разделе: публицистика — статьи В. Кардина, Игоря Дуэля, Лидии Вакуловской. Третий раздел представлен беседой с Венедиктом Ерофеевым. Традиционно завершает альманах рубрика «Молодой "Апрель"», под которой публикуются повесть Дмитрия Кафанова, рассказы Рады Полищук и Владимира Сарапулова.

Для широкого круга читателей.

А 4702010201—007
Интер — Версо—91

Без объявл.

ББК 84.3(2)7

ISBN 5-85217-010-0

© Независимая ассоциация писателей
«Апрель», 1991
© Советско-британское издательство
«Интер — Версо», 1991

Содержание

✓ <i>Credo. Анатолий Приставкин. Последний шанс</i>	4
---	---

1.

✓ <i>Борис Чичибабин. Поздравление с Апрелем. Стихи</i>	7
✓ <i>Вячеслав Кондратьев. В «деревяшке». Рассказ</i>	14
✓ <i>Леонид Вышеславский. Мертвый аул. Стихи</i>	37
✓ <i>Леонид Жуховицкий. Любовь и секс в эпоху перестройки. Повесть</i>	39
✓ <i>Евгений Храмов. Свободлаг. Стихи</i>	76
✓ <i>Александр Просекин. Лимита. Рассказ</i>	78
✓ <i>Владимир Савельев. Июньские богатства. Стихи</i>	86
✓ <i>Инна Варламова. Костер на том берегу. Рассказ</i>	89
✓ <i>Лариса Миллер. Благие вести. Стихи</i>	108
✓ <i>Александр Путко. Звуковое письмо. Из военного блокнота</i>	110
✓ <i>Виктор Гиленко. Сивково. Стихи</i>	125
✓ <i>М. Ф. Берггольц. О ГУЛАГе невидимом</i>	127
✓ <i>Ольга Берггольц. Блокадный дневник</i>	128
✓ <i>Вацлав Гавел. Протест. Пьеса</i>	145
✓ <i>Александр Ревич. Зелень. Стихи</i>	163
✓ <i>Юнна Мориц. Светлой памяти друга</i>	165
✓ <i>Сергей Довлатов. Юбилейный мальчик. Рассказы</i>	166

2.

✓ <i>В. Кардин. Эпизод, не вошедший в исторические хроники</i>	193
✓ <i>Игорь Дуэль. Образ врага</i>	201
✓ <i>Людия Вакуловская. Пропавший ролик</i>	231

3.

✓ <i>Белла Ахмадулина. Памяти Вёнедикта Ерофеева</i>	235
✓ <i>Венедикт Ерофеев. Жить в России с умом и талантом...</i>	236

Молодой «Апрель»

✓ <i>Дмитрий Кафанов. Тихий дом на окраине. Повесть</i>	251
✓ <i>Рада Полищук. Именительный падеж. Рассказ</i>	267
✓ <i>Владимир Саранулов. Играл Чебыка на трубе</i>	276

Анатолий ПРИСТАВКИН

Последний шанс

Бедственное положение, в котором оказались ныне литература и те, кто создает ее своим трудом, вызывает все большую тревогу.

Партия большевиков, слившись с уголовной и подпольной мафией, вновь прибирает к рукам и экономику, и идеологию. Где не осиливают ОМОН или десантники, в ход идут иные средства. На наших глазах произошел бескровный захват ИМИ власти на телевидении (при помощи Кравченко), монополии в кино (при помощи некоего Таги-Заде). Предпринята попытка вновь — однако теперь уже посредством финансового давления — установить диктат прежних партийных структур над творческими союзами.

Писатели в этой ситуации ничем не защищены: ни конституцией, ни уставом своего союза, ни даже авторским правом. Полагаю, что уже в самом ближайшем будущем мы столкнемся с такой ситуацией, когда не литераторы-профессионалы, а финансисты и воротилы «черного» бизнеса, в руках которых сосредоточится власть над бумагой, типографиями, книжной торговлей, будут втолковывать нам те же примерно идеологические догмы, какими пичкали нас прежде от имени «нашей» партии.

Недавно я получил от писателя В. И. Мазурина из города Иваново письмо, которое, на мой взгляд, очень точно передает грустные раздумья коллег:

«Тягостное, удручающее впечатление, оставшееся после российского писательского съезда, а также предшествующих ему пленумов, долго, наверное, не рассеется. Они многих повергли в уныние и безысходность. Как жить дальше? Этот вопрос, думаю, стоит сейчас перед большинством писателей. Я пытался поднять его на последнем собрании нашей областной пис. орг. (кстати, посвященном итогам российского съезда), но не был услышан. Странно, конечно, ведь рынок, уже пришедший в книгоиздательство, сметет многих

из нас. В качестве новогоднего «подарка» мне, например, изд-во «Советский писатель» вернуло рукопись романа, ранее включенного в план редподготовки. Основание: «Издание ее книгой в свете нынешнего времени не представляется возможным»... Десять лет жизни словно бы на свалку выброшено! Больше месяца прихожу в себя, а в голове, словно гвоздь, вопрос: как жить, на что? С голоду, конечно, не умру. У меня есть дом в деревне (достался от родителей), при нем огород... Материальной помощи я у вас не прошу, как-нибудь выкарабкаюсь сам, а вот моральной поддержки порой не хватает...»

Приходит на ум знаменитый лозунг сатириков по поводу «спасения утопающих».

Только бы я чуть переиначил его в духе времени: спасение голодающих есть дело рук самих голодающих... Я думаю, что это наша главная задача, которую мы должны сегодня решить.

Ради этого было опубликовано в журнале «Огонек» и в еженедельнике «Книжное обозрение» обращение «Апреля» и мое письмо по поводу помощи бедствующим писателям. Речь шла «о материальной поддержке писателей, как старых, так и молодых, одиноких и многодетных, независимо от того, к каким объединениям и группам они принадлежат по своим творческим устремлениям...»

Откликнулись на наш призыв, как водится, самые бедные, те, кому впору и самим помогать. Один отставной майор, инвалид войны из Львова, взялся ежемесячно переводить свою пенсию кому-нибудь из бедствующих писательских вдов. Это все трогательно. Огорчительно другое: ни один крупный журнал, ни один богатый кооператив (кроме издательства «Пик») нам не помогли. Это еще раз доказывает, что нынешним финансовым воротилам судьба литературы и литераторов совершенно безразлична. И помочь себе мы можем лишь сами.

Мы составили списки писателей-инвалидов, бывших репрессированных, а также отдельно список писательских вдов (их оказалось около шестисот человек). За короткий срок нам удалось разнести около полутора сотен посылок, а также раздать деньги. Суммы не так уж велики, но это лучше, чем ничего. Хотя, понятно, такие единовременные мероприятия нас не спасут. Нужна, по-видимому, основательная и очень решительная инициативная группа, которая бы взяла на себя заготовку и привоз из деревни овощей, картошки, мяса... Получение огородных участков и тому подобное... Так спасались от голода в войну. А то, что следующей зимой грянет голод, сомнений ни у кого нет.

Еще осенью, в преддверии съезда писателей РСФСР, группа коллег (в нее входили академик Лихачев, поэт Владимир Соколов, Даниил Гранин, Василь Быков и я) обратилась через «Литературную газету» с письмом к писателям России с предложением оставить споры и провести этот съезд, сосредоточив усилия на самом насущном: на выживании писателей в этих экстремальных условиях.

К сожалению, нас не услышали.

Некогда, обращаясь с открытым письмом к секретариату Союза писателей РСФСР (конечно, не к нынешнему, а к тому, что правил в

дальние шестидесятые годы), Александр Исаевич Солженицын произнес такие слова: «Да растопись завтра только льды Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество. И кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую борьбу»?.. Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечеству...»

Классовая ли, какая другая борьба — значения не имеет.

Льды уже растопились (для нас, не мира), мы накануне катастрофы, и не время, ей-Богу, выяснять сегодня, кто обладает истиной в конечной инстанции. Если мы упустим свой шанс спастись сообща, мы погибнем порознь, и винить, кроме самих себя, будет некого.



Борис ЧИЧИБАБИН

Поздравление с Апрелем

Поздравляю с Апрелем
землю в розовом зареве зорь, —
дав команду капелям,
солнце в небе — что твой ревизор.

То-то радость живому
пробиваться к нему из-под глыб!
Слава Божьему Дому, —
кто нашел его, тот не погиб.

Как жар-птицыным перьям,
свежим каплям светлеть и блистать.
Поздравляю с Апрелем
всех, кому он пришелся под стать.

Поздравляю, прохожий,
просвещенный тюрьмой да сумой, —
я подумал про то же,
что и ты, разобщенный со мной.

То не сон, то не чудо:
под весеннего света свирель
мы свою, а не чью-то
протоптали тропинку в Апрель.

Поздравляю с Апрелем
пробудившийся к разуму край,
верю утренним трелям,
и земля первозданно мокра.

Как трава под Апрелем,
как росинки на почках куста,

может быть, подобраем
и воспрянет распятый с креста?

Не чета пустомелям,
я в тревожной России живу, —
поздравляю с Апрелем
всех причастных сему торжеству.

Его синие очи,
слава Богу, теперь не одни
в эти зимние ночи
и почти уже летние дни.

Поздравляю с Апрелем, —
отстранись от него, экстремист, —
сядем, души согреем
бесцензурным дыханьем страниц.

Ода русской водке

Поля неведомых планет
души славянской не пленят,
но кто почел, что водка яд,
таким у нас пощады нет.
На самом деле ж водка — дар
для всех трудящихся людей,
и был веселый чародей,
кто это дело отгадал.

Когда б не нес ее ко рту,
то я б давно зачах и слег.
О, где мне взять достойный слог,
дабы воспеть сию бурду?
Хрустален, терпок и терпим
ее процеженный настой.
У синя моря Лев Толстой
ее по молодости пил.

Под Емельяном конь икал,
шарахаясь от вольных толп.
Кто в русской водке знает толк,
тот не пригубит коньяка.
Сие народное питье
развязывает языки,
и наши думы высоки,
когда мы тяпаем ее.

Нас этот дух не укачал,
нам эта влага по зубам,
предоставляя фин-шампань
начальникам и стукачам.
Им не узнать вовек того
невосполнимого тепла,

когда над скудостью стола
воспрянет светлое питво.

Любое горе отлегло,
обидам русским грош цена,
когда заплещется она
сквозь запотевшее стекло.
А кто с врагами заодно,
смотри, чтоб в глотку не влили:
при ней отпеты врали
проговорятся все равно.

Вот тем она и хороша,
что с ней не всяк дружить горазд.
Сам Разин дул ее не раз,
полки боярские круша.
С Есениным в иные дни
история была такая ж, —
и, коль на нас ты намекаешь,
мы тоже Разину сродни.

И тот бессовестный кошей,
кто на нее повысил цену, —
но баять нам на эту тему
не подобает вообще.
Мы все когда-нибудь подохнем,
быть может, трезвость и мудра, —
а бог наш Пушкин пил с утра
и пить советовал потомкам.

1963 год

Еще о Петре

Чудом вырос, телом крепок и душою бодр,
на Руси, как дуб меж репок, император Петр.
Вырос чудом, да недобрым, хоть за Прут уйти б:
и донине больно ребрам от царевых дыб.

Этот бес своей персоной, злобой на бояр
да заботушкой бессонной всех пообаял, —
оттого и до сегодня, на обман щедра,
врет история, как сводня, про того Петра.

Был он ликом страховиден и в поступках лют
и на триста лет обидел православный люд,
воля к действию была в нем велика зело,
да не Божеским пыланьем мучилось чело.

То не он ли для России, оставляя трон,
мнил, что смуты воровские кончены Петром?
Не с его ль руки разросся в славе и молве
по мечтам Растрелли с Росси город на Неве?

Не за то ль к нему хранится в правнуках любовь,
что свободных украинцев обратил в рабов?
Не его ль добра отведав, посчитай возьми,
русских более чем шведов полегло костью?

Как обозами свозили мертвые тела,
так горой на том верзиле добрые дела, —
вот уж подлинно антихрист — и в шагу тяжел:
уж какие свет и тихость там, где он прошел!

А народ от той гнетущей власти-суеты
уходил в лесные пущи, в темные скиты,
где студеная водица, сокровенный мрак,
ибо зло от зла родится, а добро — никак.

От петровского почина, яростно-седа,
не оставила пучина светлого следа:
дух в разладе, край в разрухе, а как помер он,
коронованные шлюхи оседлали трон.

Я, конечно, у России даже не пятак,
но, когда б меня спросили, я сказал бы так:
— Наше время — слава зверю, клетка для тетерь.
Я ж истории не верю, и никто не верь.

Все дела того детины, славе вопреки,
я отдам за звук единый пушкинской строки.
Я отдам, да и не глядя, все дела Петра
ради в пушкинской тетради росчерка пера.

* * *

Не идет во мне свет, не идет во мне море на убыль, —
протираю глаза с камышовою дудкой во рту,
и клеймо упыря не забывший еще Мариуполь
все зовет меня в даль за свою городскую черту.

И пойду я на зов, и доверюсь Чумацкому шляху,
и постигну поселки, где с екатерининских пор
славил Господа грек, и молился татарин Аллаху,
и где тварь и Творец друг на друженьку смотрят в упор.

Жаркий ветер высот разметал бесполезные тучи.
Известковая скудь, мое сердце принять соизволь.
Эти блеклые степи предсмертно сухи и пахучи,
к их земле и воде примешалась азовская соль.

Я от белого солнца закутался Лилиной шалью,
на железных кустах не приснится ни капли росы,
в пересохших лиманах прощаю с виной и печалью
улетающих ласточек с Белосарайской косы.

Здесь кончается мир. Здесь такой кавардак наворочан.
Здесь прикроешь глаза — и услышишь с виной и тоской

тихий реквием зорь по сосновым реликтовым рощам,
здесь умолкли цветы и судьбой задохнулся изгой.

Чтоб не помнили зла и добром отвечали на зло мы,
к нам нисходит с небес растворившийся в море закат,
тополиных церковей византийские зримые звоны
и в цикуте Сократа трескающая россыпь цикад.

Эти поздние сны не прими, ради Бога, за явь ты.
Страшный суд подошел, а про то, что и смерть не беда,
я стихи написал на песках мариупольской Ялты,
море смыло слова, и уплыли они в никуда.

* * *

В лесу соловьином, где сон травяной,
где доброе утро нам кто-то пропиныкал,
счастливые нашей небесной виной,
мы бродим сегодня вчерашней тропинкой.

Доверившись чуду и слов лишены,
и вслушавшись сердцем в древесные думы,
две темные нити в шитье тишины,
светлеем и тихнем, свиваясь в одну, мы.

Без крова, без комнат венчальный наш дом,
и нет нас печальней, и нет нас блаженней, —
мы были когда-то и будем потом,
пока не искупим земных прегрешений.

Присутствием близких в любви стеснена,
но пальцев ласкающих не разжимая,
ты помнишь, какая была тишина,
молитвосклоненная и кружевная?

Нас высь одарила сорочьим пером,
а мир был и зелен, и синь, и оранжев.
Давай же, я думал, скорее умрем,
чтоб встретиться снова как можно пораньше.

Умрем поскорей, чтоб родиться опять,
и с первой зарей ухватиться за руки,
и в кружеве утра друг друга обнять
в той жизни, где нет ни вины, ни разлуки.

* * *

Мне горько, мне грустно, мне стыдно с людьми,
когда они любят меня,
а нет в моем сердце ответной любви,
а я им ни друг, ни родня.

О, это — как будто на званом пиру
пред всеми явиться нагу,

и кажется мне, что у всех я беру,
а дать ничего не могу.

Ну вот я и роюсь в моей кладовой,
спешу, суечусь, бестолков:
ведь мне и отсрочка-то лишь для того,
чтоб не оставалось долгов.

Какой уж там образ, какой уж там звон!
Мечусь между роз и ромаш:
скорей бы разделаться с ложью и злом,
нашарить добро в закромах.

Простите меня, что несладок, неспел
мой плод и напрасен азарт,
простите меня, кому я не успел
просимого слова сказать.

Я только еще потому и живой
и Божьему свету под стать,
что всем полюбившим обязан с лихвой
любовью и жизнью воздать.

Песенка на все времена

Что-то мне с недавних пор
на земле тоскуется, —
выйду утречком во двор,
поброжу по улицам,
погляжу со всех дорог,
как свобода дразнится.
Я у мира скоморох,
мать моя посадница.

Жизнь наставшую не хай:
нам любая гожа, —
но почто одним меха,
а другим рогожа?
Ох, империя-тюрьма,
всех обид рассадница, —
пропадаем задарма, —
мать моя посадница!

Может, где-то на луне
знает Заратустра,
почему по всей стране
на прилавках пусто,
ну, а если что и есть,
так цена кусается.
Где ж она, благая весть,
мать моя посадница?

Наше дело — сторона?
Ничего подобного.
Бей тревогу, старина,
у людей под окнами!
Где обидели кого,
это всех касается, —
встанем все за одного,
мать моя посадница!

Ни к кому не рвусь в друзья
до поры, до времени,
но, по-моему, нельзя
зло все видеть в Ленине.
Всякий брат мне, кто не кат,
да и тот покается.
Может, хватит баррикад,
мать моя посадница?

У Небесного Отца
славны все профессии:
кто-то может без конца
заседать на сессии.
Не сужу их за тщету,
если терпит задница, —
наше время — на счету,
мать моя посадница!

Говорит земля сама —
совесть и отрада,
что без рук да без ума
ни красы, ни лада.
Божьи выси голубы
ждут от мира празднества,
чтоб не стало голытьбы,
мать моя посадница.

А роптать на жизнь не след:
вовремя, не вовремя, —
коль явились мы на свет,
так уж будем добрыми,
потому что лишь добром
белый свет спасается.
Как полюбим — не умрем,
мать моя посадница!

Не впервой, не сгоряча,
сколь чертям ни тешиться,
наше дело — выручать
из беды отечество.
Нам пахать еще, пахать,
и не завтра пятница.
Всё другое — чепуха,
мать моя посадница!

Сергею Есенину

Ты нам во славу и в позор, Сергей Есенин.
Не подобру твой грустен взор в пиру осеннем.
Ты подменил простор земной родной халупой, —
не то беда, что ты хмельной, а то — что глупый.

Ты, как слепой, смотрел на свет и не со зла ведь
хотел бы славить, что не след поэту славить,
и, всем заветам вопреки, как соль на раны,
ты нес беду не в кабаки, а в рестораны.

Смотря с тоскою на финал — еще б налили, —
с какой ты швалью пропивал ключи Марии.
За стол посаженный плебей — и ноги на стол,
и баб-то ты любил слабей, чем славой хвастал.

Что слаще лбу, что солоней — венец ли, плаха ль, —
о, ресторанный соловей, вселенский хахаль!
Ты буйством сердца полыхал, а не мечтами,
для тех, кто сроду не слышал о Мандельштаме.

Но был по времени высок, и я не Каин —
в твой позолоченный висок не шваркну камень.
Хоть был и неуч, и позер сильней, чем ценим,
ты нам и в славу, и в позор, Сергей Есенин.

*Харьков,
1975 год*

*Вячеслав
КОНДРАТЬЕВ*

В «деревяшке»

— Вы мне лапшу на уши не вешайте. Я Верховного уважал и уважать буду. Помните, в сорок втором сказал «стоять на смерть», и встали! Как окаменели!

Это было первое, что услышал Дронов, войдя в пивную, да и как не услышать и не узнать густой бас Юрки Бахаева, а это именно он стоял за столиком с каким-то стариком, который на тираду Юрки скептически ухмыльнулся и прохрипел осипшим голосом:

— Несмышленишь вы, Юрий. Каким был, таким и остался.

— А я своих убеждений не меняю, как некоторые... Ну, давайте за... него, — поднял Юрка стакан.

— И не подумаю, — накрыл свой стакан ладонью старик.

Тут Юрка повернул голову, узнал Дронова и бросился к нему:

— Севка! Друг! Сколько же мы не виделись? Лет десять, почти-тай. Иди к нам. Я сейчас... мигом, — он освободил Севку из своих медвежьих объятий и рысцой к буфету, к Симуле, заказать пивка и водяры. — Ну, за встречу, Севка! До чего же рад я, что встретились. Ты что, сюда переехал?

Севка кивнул.

— Ну, значит, друзья собираются вновь. Много наших сюда переехало, все Лавры, Троицкие, Мещанские... Скучать не будем. Ну, поехали, — он грохнул своим стаканом по Севкиному и лихо влил в горло сто пятьдесят граммов, после чего улыбнулся своей широкой и доброй улыбкой.

Севку всегда удивляла Юркина улыбка, добродушная и какая-то обезоруживающая, удивляла, потому что он в войну служил в «смерше», а как совершать там очень, мягко говоря, своеобразные дела, будучи хорошим человеком, Севке трудно было представить.

— Мы вот тут спорим, — сказал Юрка, — о Верховном...

— Слыхал.

— Ну и что? Ты же, небось, кричал «за родину, за Сталина» в атаках, а сейчас как? — уставился Юрка на него.

— Да никак... И не кричал я, — пожал Севка плечами.

— Бреешь! — стукнул кулаком по столу Юрка. — Ну ладно, — вздохнул он. — Отвернулись все от старика. Подло это...

Дверь в «деревяшку» открылась, и вошел кто-то в кепочке, с небритым припухшим лицом, прошелся взглядом по Севке, а после того, как взял себе пива и водки, притопал к их столу.

— Не помнишь? — обратился он к Севке.

— Не...

— С обыском к тебе приходил. Пистолет искали. Вспомнил?

— Вспомнил, — засмеялся Севка. — Я еще протокол храню: искали пистолет «вальтер», нашли игрушечный...

— Здорово ты нас тогда вокруг пальца обвел. Жив пистолетик-то?

Севка ничего не ответил, продолжая смеяться.

— Не зря ли смеешься? Тут на днях сберкассу взяли, так вот вроде «вальтером» преступник орудовал.

Юрка надвинулся на оперативника, оттеснил его грудью от столика, вылупил глаза, убрав улыбку, и прогремел:

— Ты что, сдурел, мент? Севка и какая-то сберкасса! Он — художник! Понял?! Он деньги и так гребет. А пистолет, какой ты искал у него, он при мне в пруд Ботанического бросил, — соврал Юрка артистически.

— Ты, Юрий, не напирай, — отодвинул его оперативник. — Я же тебя тоже помню. Сколько раз из ночного магазина тебя выволакивали, когда ты в зале на пол и укладывался, и раздеваться начинал.

— Бывало такое, — широко улыбнулся Юрка. — Значит, знаешь меня. А знаешь, кем я на фронте был? А?

— Болтал ты что-то в отделении...

— Я не болтал, я документы показывал. Я же не в особом отделе околачивался, я с диверсантами работал, в группе захвата был. Это ты понимаешь?

— Понимаю, ладно... А вот ты понимаешь, что мы десять лет сберкассчика взять не можем. Один, курва, работает и с... пистолетом. А Севка твой нас обманул тогда, игрушечный пистолетик сунул.

— А ты не верь. Менты никому не должны верить. Ну и об этом больше ни звука, ежели в нашей компании хочешь быть. Договорились?

— Договорились, — усмехнулся оперативник и взялся за пиво.

— Вы, Юра, меня не спросили, желаю ли я, чтоб этот гражданин в нашей компании находился, — сказал старик, который, взяв свою кружку, отошел за другой столик.

— А это что за хрен? — кивнул вслед старику оперативник.

— Это не хрен, а человек. Понял? Он двадцать лет оттрубил и вашего брата на дух не принимает.

— А тебя?

— Что я? Я следователем не был, меня только в войну в «смерш» взяли, я боевиком был, я делом занимался.

На этом разговор прервался, каждый пивком занялся, а Севка стал вспоминать почти им забытую историю с пистолетом. А случилось это в году сорок восьмом или сорок девятом, то есть полтора десятка лет тому назад.

...Рано утром, часов в семь, постучал кто-то в дверь комнатухи. Когда Дронов впустил гостя, тот поприветствовал его — «доброе утро», — а потом, как бы между прочим, сказал, что с Дроновым хочет поговорить один товарищ из 89-го отделения. Накануне Дронов пришел домой выпимши и сейчас лихорадочно вспоминал, не натворил ли он чего. Но ничего такого не вспомнил. Сидели с Муратиком в «кафе-мороженое» на Колхозной, мирно разошлись, и около двенадцати он вернулся домой.

— Сейчас и идти? — спросил он.

— Да.

Дронов, одеваясь, еще раз прокрутил в голове вчерашний вечер, но ничего предосудительного не вспомнил. Вышли они на улицу. 89-е было рядом, лишь улицу Дурова перейти, но окружали в то время его дом многочисленные «деревяшки»: куда ни пойдешь, мимо одной да приходится проходить. И сейчас на их пути стоял пивной ларек, уже открытый и уже со стоящими около него дроновскими знакомыми — кто по дому, кто по улице, кто по «дяде Грише». Окликнул, конечно, кто-то:

— Привет, Севка, пивка не хочешь?

— Может, выпьем? — предложил Дронов оперу.

Тот посмотрел на часы и кивнул головой. Подошли, выпили по кружке. В голове у Дронова малость прояснилось, спросил:

— А кому я в вашем отделении понадобился? И зачем?

— Придем — узнаешь, — не стал вдаваться тот в подробности.

Вошли они в отделение, подошли к какой-то двери. Опер дернул, но она была заперта.

— Посиди маленько. Сейчас этот товарищ придет, — показал он на скамейку.

Дронов сел, вытащил мятую пачку «Беломора», запалил... Прошел в комнату, мельком глянув на Дронова, молодой сотрудник в синеньком шевиотовом пиджаке, потом открыл дверь и, улыбаясь, пригласил Дронова в комнату.

— Здорово, Сева, — протянул сотрудник руку, не убирая улыбку с лица. — Садись... Поговорим... Как жизнь идет? Чем занимаешься?

Дронов начал было говорить, что работает по договорам с издательствами внештатным художником, но сотрудник вдруг резко выдвинул ящик своего стола и прервал вопросом:

— Смотри... Какой у тебя?

Дронов взглянул — ящик полон был пистолетами разных марок: и ТТ (их всего больше), и «наганы», и «браунинги», и «люгеры» немецкие. Тут до него и дошло — зачем вызвали. От сердца отлегло, а выпитая кружка пива толкнула на розыгрыш. Он лениво откинулся и, усмехаясь, протянул:

— Это все барахло... У меня «вальтер ПП», калибра 9 мм. Машина мировая.

— Привез-таки? — живо спросил сотрудник. — Эх вы, вояки, никак от этой гадости не избавитесь.

— Так трофей же... Память. Меня этим «вальтером» чуть фрицевский офицер не застрелил. Опередил я его малость, ну и взял... пистолетик-то... На память.

— Все это, Сева, прекрасно. И воспоминания, и прочее, но на-ка тебе листок и пиши: я, такой-то, проживающий там-то, сдаю добровольно привезенное мною с фронта трофейное оружие, ну и так далее... Понял?

— Нет... Жаль расставаться. Память же... — продолжал «ваньку ваять» Дронов.

— А законы ты знаешь? Тут получили сигнал, что имеется у одного инженера пистолет. Вызвали, попросили по-хорошему: сдай добровольно, и ничего тебе не будет, а он — нет у меня пистолета и все... Ну и что? Пошли с обыском. Нашли. Заржавленный весь. Хоть в масляную тряпку завернул бы. Ну и что? Сидит сейчас как миленький, отбывает два годика... Давай без дураков, Сева. Пиши. Обещаю, ничего не будет.

Решил Дронов еще пошутить:

— А чего вы боитесь, что пистолеты у нас? Ведь фронтовики мы, не преступники... Что мы с этими пистолетами, сберкассы грабить пойдем?

— Хватит, Сева! Закон есть закон. Ну а насчет того, что вы фронтовики, так и они разные бывают. Пиши давай. Хватит резину тянуть. Не для шуточек вас вызвали, — перешел на «вы» и посерьезнел сотрудник 89-го отделения.

— Нет у меня пистолета... Не знаю, откуда сигнал у вас...

— Нету. Хорошо, — сотрудник пододвинул телефон, набрал номер. — Подойди, Боря.

Через минуту-две вошел тот, кто приходил к Дронову утром.

— Отрицает твой дружок. Придется с обыском идти, — кинул ему хозяин кабинета.

— Что же ты, Сева. Я за тебя поручился, сказал, что парень приличный, не шпана какая — художник. Сдаст без разговоров, а ты? Нехорошо, Сева.

Тут Дронов и вспомнил!

— Ребята, — воскликнул он. — Есть у меня пистолет, но игрушечный. Он, кстати, на тумбочке лежал, когда вы заходили. Это я для сына своей знакомой купил, фрицев из картона вырезал, ну и тренаж стрелковый у себя в комнате проводил. Значит, кто-то в окно видел и капнул. Он палочкой с резинкой стреляет. Поняли?

— Настоящий у тебя видали, — пробурчал тот, что приходил к Дронову.

— Какой настоящий! Не заметили вы. На тумбочке лежит.

— Пошли, — поднялся из-за стола сотрудник.

— Что ж, пошли, — пожал плечами Дронов.

По дороге он попросил не брать понятых, не позорить его на весь дом.

— Ладно. Если найдем сразу твой «детский» — не будем.

Когда вошли в Севкину комнату и он показал операм лежавший на тумбочке игрушечный пистолет, те засмеялись, потом взяли его рассматривать.

— Похоже делают. Надо бы сообщить об этом, — буркнул старший и сел за стол, вытащив бланк протокола обыска.

Второй, для блезиру больше, открыл тумбочку, посмотрел, потом прошелся взглядом по полкам с книгами и покачал головой.

— Здесь, конечно, «вальтера» настоящего нет. Где хранишь?

Дронов уже всерьез начал божиться, что никакого «вальтера» у него нет, что еще в госпитале отобрали, но тот все недоверчиво покачивал головой. Первый же закончил писать протокол и дал Дронову подписать. Там было: «Искали — пистолет «вальтер», нашли — игрушечный пистолет». Дронов подписал... Разошлись хорошо. Проводил он их до двери, пожали на прощанье друг другу руки...

— Ты хорошую квартиру получил? — спросил Юрка, прервав его воспоминания.

— Я не получил, кооператив взял.

— Слышишь, мент? А ты — сберкассы...

— У меня имя есть, между прочим, — Борис, — обиделся оперативник на «мента». — Выходит, хорошие гроши молотишь? — спросил он Севку.

— Когда как. Волка ноги кормят: побегаешь, наберешь заказов, повкалываешь по четырнадцать часов в сутки — есть деньги...

— Это хорошо, что потолка нет. Я хоть сутки проработаю — все та же зарплата, — заметил Борис.

— Не загибай! — воскликнул Юрка. — Левак у вас всегда бывает. Меня сколько раз в милиции, когда пьяного брали, обчищали до нитки. Утром отпускают, документы отдают, а насчет денежек — «не было у вас ни копейки», будто я не помню, сколько у меня было. Что, не так, что ли?

— Я этим не занимаюсь, у меня оперативная работа. Кстати, я сейчас на пенсии.

— Ты ж молодой еще! — удивился Юрка.

— Ты тоже не старый.

— Так я же пораненный, я ж инвалид войны.

— Мне тоже легкое двумя пулями прострелили. У нас же по-глупому все делается, сперва — покажите документики, а он вместо документиков, бандюга, пистолет из бокового кармана и... в меня. Они же, гады, предупредительного выстрела не делают, это нам канитель разводить приходится: стой, стрелять буду, потом вверх бухнешь, раз, а то и второй, потому как, ежели поранишь или убьешь, затаскают...

— Ну, Боря, я думал ты по мелочовке работаешь, а раз пульку получил — мое тебе с почтением, — Юрка протянул свою лапищу и так сжал руку оперативника, что тот скривился и пробормотал:

— Тише, бугай ты этакий...

Тем временем к Симуле, пышной крашеной блондинке с лицом красивым, но порочным, подошел ее муж, атлетически сложенный мужик, бывший спортсмен, то ли футболист, то ли боксер, пердило здоровый, лихо управляющийся с забуянившими посетителями «деревяшки». Подошел не один, а с каким-то типом, дрожащим с похмелья, со свертком в руке.

— Посмотри, Симуля. Может, подойдет? — спросил Симулин муж и, взяв сверток из рук типа, протянул жене.

Она быстро развернула, оказался там приличный шерстяной свитер, быстро обглядела его и бросила:

— Сколько?

— Сороковку дашь? — спросил похмельный.

— Тридцатку, — коротко и безапелляционно заявила Симуля.

— Ладно, давай...

Все произошло минутно. Деньги из рук продававшего сразу же перекочевали снова в Симулины ручки, и она уже разливала им водку и пиво, а на тарелочке выдала четыре бутерброда.

Оперативник равнодушно, краем глаза проследил всю эту операцию и неторопливо подошел к столику, где уже и Симулин муж, и продавший свитер хлопнули по стакану.

— С тебя причитается, Боб, — сказал он мужу буфетчицы, не поздоровавшись.

— Айн момент, — засуетился Боб и бросился к стойке.

— Видал, Севка? — сказал Юрка, кивнув на столик. — Он, гад, кроме зарплаты, ничего не имеет. Кусошники! Давить таких. Ладно, хрен с ними! Я тебе лучше расскажу, какую мировую квартиру мы получили...

И начал Юрка подробно, сколько комнат, какая ванна, какой сортир. Как Терезка его радуется, ведь всю жизнь в полуподвале прожили, а сейчас трехкомнатная!..

Женат был Юрка на испанке, из тех, что приехали в Союз во время войны в Испании. И выпало ей на долю в полной мере все то, что и русским бабам: с войны вернулся Юрка инвалидом второй группы, пенсия — гроши, загуливать он начал сразу, часто и подолгу, специальности гражданской — никакой, работал по разным местам с зарплатой низкой, да и увольняли его часто, а «наработали» они троих детей, так что хватила Тереза до края и сейчас, конечно, радовалась и квартире, и тому, что ребята подросли, сын институт заканчивает, второй на третьем курсе, а дочь в десятом... И женой она оказалась верной, под стать русским бабам, терпеливой, Юрку не бросала, а тянула семью изо всех сил.

— Теперь, — продолжал Юрка, — в такой фатере жить можно. Надобно мне только с этим делом завязать да на подходящую работу устроиться.

— Боюсь, не завяжете, Юра, — подошел к их столику старик.

— Почему? Я же волевой...

— Стержня у вас нет.

— Как это нет? Я же с тридцать девятого член партии, Иван Иванович. Это вам не хухры-мухры. Я же — идейный, — шутливо ударил себя в грудь Юрка.

— Идейный? Это и плохо, — усмехнулся старик, покачав головой.

— Даете, Иван Иванович! — засмеялся Юрка.

— Идея эта, Юра, все чувства у вас вытравила. Жену не любите, детей тоже...

— Как это не люблю? — возмутился тот, перебив.

— А так... Ежели бы любили, давно бы пить бросили. А может, и не начали бы. Без любви в жизни ничего не построишь. А ваша партия на ненависти все строила. А что построили?

— Я фашистов ненавижу! А своих я люблю. Всех. Я понимаю вас, Иван Иванович, несправедливо вы обижены советской властью, отсюда и разговорчики антисоветские, но я на них не клюну. Я за советскую власть кровь трижды проливал.

— Эх, Юрий, посидел бы хотя бы годков пяток, вся шелуха из мозгов бы ушла. Про какую советскую власть говорите? Нет ее и не было никогда...

— Во дает! Слышишь, Севка? Ладно, прощаю я вам вашу антисоветчину. — Подумав, Юрка добавил: — Вот вы тоже «завязать» не можете.

— Я — один, Юра... Ни жены, ни детей, ни родных... Жизнь моя прошла. И зря. И не по моей вине, как вы понимаете. Мне забыться иногда надо...

— А нам после войны не надо было забыться? — воскликнул Юрка. — Верно, Севка?

— Наверное, надо было... — вздохнул Дронов.

— «Забыться» — да, но не забываться, а вы, друзья, забылись, —

печально сказал старик, допил пиво, попрощался и поковылял из пивной.

Тут подошел к их столику новый посетитель и тоже знакомец, Колька-Нос, живший на Мещанской и составлявший в послевоенные годы их компанию бывших фронтовиков. Его тоже переселили в новый микрорайон, и Дронов встречал его уже в этой «гайке», построенной вскорости, раньше магазинов и кинотеатра, около овощного, еще деревенского магазина. На закуску принес он в газетке кислой капуста и пару соленых огурцов, как раз оттудова.

— Друзья встречаются вновь! — пробасил Юрка и приобнял Колюню. — Мы здесь с Севкой насчет «завязать» рассуждали. Квартиры получили, по-человечески зажить можно...

— Чего завязывать-то? — спросил Колька.

— А вот это самое, — показал Юрка на стол.

— А-а... — махнул Колька рукой. — Я, к примеру, не собираюсь. Все равно помирать...

— Ты что это второй раз о смерти толкуешь? — удивился Дронов.

— Чахотка у меня... — тихим, но обычным голосом ответил он.

— Теперь лечут туберкулез, это тебе не девятнадцатый век, — бодро заявил Юрка. — И чтоб больше я от тебя этого нытья не слышал. Понял? — командирским тоном закончил Юрка.

— Ладно, не буду... А мне все равно, братки. А чего? Один я... Рожа и так была невеста какая, а опосля ранения и вообще страшная... Я ведь каких баб имел? Помните, сикуха была одна на Божедомке, пьяня последняя. Вот она только в мою каморку и приходила иной раз. Ну и еще две-три такие же алкашки. Помню, Таняху тисовскую уговаривал, так не пошла, сука...

— Это ты брось, Колюня! После войны можно было любую бабу оторвать. Подумаешь, физика наперекосяк! Не таких брали. И безногих, и безруких, с лица не воду пить... А меня какого Терезка приняла? И припадки после контузии, и запивы постоянные... Уж, честно сказать, намучилась она со мной...

— Да, влипла испаночка. Осталась бы в своей Испании, небось на такого бы не нарвалась, — хмуро усмехнулся Колька. — Они, испанцы, говорят, гордые, пьяниц там нет.

— Так я до войны тоже был парень хоть куда. Это война нас поломала. Ежели бы меня по инвалидности из армии не уволили, я сейчас бы в полковниках ходил. Академию наверняка окончил бы. Дураком был, не жалел себя на войне, ни от одного задания не отвертывался, а мог бы, сколько из наших перекрывались, то заболел, то еще что-нибудь. А я, помню, на захват ходил еще в повязках, еще с раной незажившей. Как же так, без меня же не обойдутся! Вот и довоевался... — с горечью и со вздохом закончил Юрка.

— Все мы были дураки, — заметил Колька. — Ну чего мы с тобой, Севка, рапорты с Дальнего Востока писали, чего на фронт рвались, будто там пряники раздают? А?

— Нет, тут ты не прав, Колюня. Родину надо было защищать... Так вот, я о Терезке своей говорил, что намучилась она со мной,

прощала мне все, но один раз фортель все-таки выкинула. Не рассказывал я?

— Нет...

— Могу рассказать, ежели вы не против... Значит, так было.

Гулял я целую неделю, ну и припадочки через день, скандалы, конечно. Так вот, Терезка решила меня от выпивки оторвать, но такое надумала... Короче, лежим мы с ней в постели, ребят к бабке отпраздники, лежим, и любовь тут у нас такая получилась, как давно не бывало. И она не колодой, и я словно молодой. И тут вдруг звонки в дверь, а потом и стук в нашу комнату. Кого леший принес? Я и открывать не хочу, провались сейчас все к черту, но она неожиданно в лице изменилась, будто вспомнила что: «Открой, говорит, Юра». Я, как дурак, портки натягиваю и иду открывать. Открыл, а в дверях два лба: «Вы Бахаев?» «Я, — отвечаю. — А чего вам?» «С нами, — говорят, — вам надо».

Я ни хрена не понимаю. Опера, что ли? Натворил, может, что? Кабы трезвый был, сообразил бы, а тут пьяный, да от Терезки сомлевший, соглашаюсь. Надел рубаху, ботинки, выхожу с ними, смотрю — «чумовозка» стоит у подъезда! Тут я мигом все и понял, а они, гады, под ручки меня уже берут. Я вертанулсЯ и рву по Мещанке наверх, там, думаю, в Троицкий заверну и в проходной. Бегу, как мне кажется, быстро, не должны догнать. Но догнали, падлы, молодые же и трезвые, подножку дали, я по асфальту мордой и коленками. Навалились, сонную артерию зажали, чую, сознание теряю, ну и замер. Отпустили, довели до «чумовоза», запихнули, а там — пилюли! Бьют, гады, жестоко, тренированные, видать... Ну и куда же, вы думаете? На Канатчикову, в Кашенко, значит... Привезли, к врачу провели. Я ему жалуюсь, что избили меня суки, штанину поднимаю, ссадины на коленках показываю, ну а на морде и так видно, он — ноль внимания, в ванну, говорит, и в палату... А какие там палаты?! Народу тьма, все коридоры койками уставлены, в столовке на столах постели накрыты для чумовых, меня, значит, туда, на стол... В шесть утра подъем, со столов всех согнали, деваться некуда, прилечь негде, башка трещит, по коридорам болтаюсь, чумовых рассматриваю, курить страсть охота. У какого-то психа стрельнул папироску, закурил, ну и чуть ли не в слезы меня потянуло — куда же ты меня, Терезка, запятила?! В Кашенко, мать ее в душу! Нет, этого я тебе, родная, не прошу! Сижу, курю, про себя матюкаюсь, а что делать? Деру отсюда не дашь, окна в решетках, все двери на запорах, тюрьма настоящая, и никаких гвоздей. Не убежишь. Никому из вас не приходилось?

— Я на улице Радио один раз был. Там лафа, — ответил Колька, а Дронов только отрицательно покачал головой.

— То-то... Так продолжаешь?..

Однако продолжать помешал Боб, Симкин муж или хахаль, кто его знает. Подошел он со стаканом в руке и — к Севке:

— Долг платежом красен. Вы меня на днях опохмелили, когда моя Симка заартачилась, не налила мне. Прошу, — и поставил полный стакан на их стол.

Дронов поблагодарил, сказав, правда, что пить сегодня не хотел, так как работа...

— Работа не волк... — улыбнулся Боб и отошел своей спортивной, в раскачку, походкой.

— Ничего себе кобла Симуля выбрала, — буркнул Колька.

— Да, видный мужик, — заметил Юрка. — Ну так вот, ребята, докурил я папироску, колотун меня бьет, злость на Терезку не проходит, а, наоборот, еще пуще накапает. Здесь проходит мимо меня врачиха, ничего себе фря, все при ней, в общем, хороша сзади на мордочку. Я к ней — разрешите мне немедленно жене позвонить. Почему так срочно, спрашивает она и ко мне приглядывается. Да вы не смотрите, не псих я, говорю ей, а срочно потому, что если она меня через час не заберет отсюда, то я не знаю, что я тут у вас натворю, а уж с нею — развод полный и окончательный! И обжалованию не подлежит.

Врачиха еще раз оглядела меня, спросила, когда прибыл, и повела в кабинет. Я сразу к телефону, звоню Терезке на работу. Берет она трубку, у меня чуть мат не вырвался, но сдержался при врачихе, взял себя в руки и так тихонько ей и трезво: «Тереза, если ты меня через час отсюда не заберешь, даю слово — развод. Не веришь? Могу детьми поклясться. Ты знаешь, мое слово — закон». Она помолчала недолго и тоже тихо отвечает: «Хорошо. Я сейчас приеду».

— Приехала? — спросил Колюня.

— Как штык. Оказывается, она, чтоб меня забрали, что-то про пистолет наговорила, что грозился я ей. Так пришлось ей тут признаться, что посоветовала ей одна баба так сказать, а то не приедет «чумовозка»... Идем мы с ней с Канатки, злоба моя что-то прошла, я больше думаю, как к ней подъехать насчет опохмелки, ну а перед этим начинаю ей вкручивать, какая у нас ночь сладкая была и как не стыдно ей, что из-за нее все так кончилось глупо, что любовь нашу прервали; так я ее растрогал, что она даже слезу пустила, ну а когда в трамвай садились — она на работу, я домой, — так и без моей просьбы пятерку мне выложила... Ночью хотел было я к ней опять привалиться, да что-то никаких чувств, не получилось ничего, ну и укорил ее, что нельзя любовь таким макаром прерывать, на всю жизнь импотентом можно остаться...

— Напился, наверно, к ночи, вот и не вышло, — равнодушно заметил Колюня.

— Конечно, бутылку за день вытянул.

Дронов разлил из своего стакана всем, оставив себе малость, но подумал, что пришел-то выпить пивка, а в результате все же набрался и никакой работы у него не получится. И так случается довольно часто. И не прошедшая война тому виной, а неперестанное неудовлетворение самим собой, потому как превратился он в ремесленника, берется за любую работу, лишь бы заплатили, что уже давно нет у него никаких порывов к творчеству, нет сверхзадачи, а потому жизнь как-то беспросветна, скучна и бесперспективна. Не обвинял он в этом и время, потому что многие его товарищи... нет, не многие, а некоторые, пробились как-то к настоящему искусству, ну, может, и к не

особо настоящему, но сами-то так воображают, потому что выстав-
ляются, кого-то из них поминают иной раз в печати, а он, Дронов,
уже несколько лет не может закончить задуманную картину и не
закончит, по-видимому, потому, что кажется она ему сейчас зряш-
ной по замыслу. Короче, порох весь вышел, запал пропал, и валяется
сейчас полотно в подвале...

Юрка и Николай о чем-то болтали, Дронов не прислушивался,
вспомнив телефонный звонок Муратика, товарища по институту,
которому все преподаватели прочили блестящее будущее, а одно-
курсники восхищались его этюдами, сделанными широкими мазка-
ми, в которых передано было и состояние природы, и настроение...
Но Мурат вкалывает сейчас на ВДНХ, делая какие-то панно и на-
глядные пособия, а зимой бегаёт по издательствам, хватается за все,
что дают, даже за плакаты по технике безопасности. Так вот, по-
звонил Мурат, малость подвыпивший, и сказал:

«Знаешь, Севка, расставил я сейчас свои студенческие работы,
гляжу на них с высоты лет, так сказать, и могу заявить не хвалясь —
здорово сделаны. Так здорово, будто и не я делал. Ты только меня
не подковыривай, хорошо?»

«И не собираюсь, те твои работы действительно хороши».

«Признаешь, значит? — обрадовался он. — Все же я, Сева, худ-
ожник. Понимаешь, может, и не с заглавной буквы, но и не со
строчной, — он приумолк на минуту. — А чем сейчас занимаюсь? Гад-
ством занимаюсь, халтурой для хлеба насущного. И на водяру не
хватает все равно. Ну и что делать?»

«Не знаю», — промямлил тогда Дронов.

«Бросить надо все! Сесть на хлеб да воду и начать настоящую
работу. И замысел есть. Но засесть надо не на год, не на два, а год-
ков на пять... Однако семья... Нурзя мне говорит: давай начинай,
как-нибудь проживем на мою зарплату. Но я же не «кот», не суте-
нер, чтоб на женину зарплату жить. Понимаешь?»

«Чего тут понимать, ясненько все...»

«Но это, Сева, как второй раз Днепр форсировать. Переплыл же
я тогда под пулями и снарядами, зацепился за тот берег. Разве не
труднее это было? Кстати, знаешь, я недавно за этот Днепр чертов
орден Отечественной I степени в военкомате получил?»

«Не знал. Поздравляю».

«Чего поздравлять. Дорого яичко к Христову дню. Мне бы орден
этот в те годы, тогда бы грудь вперед, рот до ушей, все бабы мои,
а сейчас?.. Сейчас, понимаешь, этот орден — лишь напоминание,
что был ты, Муратик, парнем хоть куда. И до плацдарма добрался,
и удерживал его с горсткой таких же крепких ребят почти сутки... —
он опять помолчал немного. — А знаешь, может, на том форсиро-
вании и на том бою все силенки и потратил? А? Больше ни на что
уже пороуху не осталось? Как думаешь?»

«Все может быть. А я вот про себя думаю: а был ли мальчик?»

«Не понял».

«Недавно «Клима Самгина» перечел, там рефреном эта фраза
проходит».

«Ясно. Был ли талант у нас? — сказал Мурат. — Погоди минутку...»

Дронов слышал в трубке шаги Мурата, шелестение листов, покашливание, потом звук наливаемой жидкости, водяры, разумеется, а потом Мурат, взяв трубку, решительно заявил:

«Посмотрел еще раз свои работы, Сева...»

«Ну и что?»

«Был, черт возьми, талант, был, мать его так! В общем, друг, уходи в подполье. Не звони, не заходи. Буду работать».

«Ни пуха, ни пера», — пожелал Дронов.

После этого разговора Дронов не встречал Мурата в издательствах, а когда спрашивал там, куда он подевался, отвечали, что пропал, не заходит и заказов не берет. Хотелось Дронову верить, что получится у Муратика, что выскочит он из того беличьего колеса, в котором они все крутятся... И если выйдет что у Мурата, то и ему, Дронову, пожалуй, надо плюнуть на всю эту халтуру и засесть за настоящее. Но что настоящее?... Ведь те полотна, что висят на всесоюзных и прочих выставках, разве уж такое настоящее? Вряд ли. И сюжеты избитые, и исполнение довольно посредственное, сероватенькое. Разве это та живопись, о которой мечталось в институте? И ведь что-то рассудком он понимает, только никак не ухватит настоящего, какова же должна быть современная живопись...

Прервал размышления приход бывшего участкового. Он подошел к столику с кружкой пива и поздоровался со всеми, и по тому, как оглядел всех и находящееся на столике, понял Дронов: без денег Мишка-мент и жаждет опохмелки, и сейчас непременно заведет разговор, как уберет он Дронова от тюрьмы. Так и оказалось.

— Помнишь, Сева?..

— Помню, помню.

— То-то... Спас я тебя тогда. А ты же мне по носу заехал, когда тебя брали. Силен ты был в то время, еле вчетвером с тобой управились. Вот ты мне по носу и врезал до крови.

— Я не помню этого.

— Куда тебе помнить? Ты и начальника нашего матом послал. Если бы не это, не отправил бы он тебя под суд. Ну а если бы я капнул, что оказал ты сопротивление власти, то годом бы не отделался...

— Хватит, Михаил... По гроб жизни я твой должник, а потому — сколько брать-то?

— Ежели при деньгах, возьми полтора ста, — деликатно попросил бывший участковый.

Дронов пошел к стойке... Симуля стрельнула в него глазами и спросила:

— Вы как будто в доме напротив нашего живете? «Москвич», по-моему, у вас?

— Да...

— Будем знакомы, соседи, выходит, — и она протянула полную руку с кольцами на пальцах. Дронов вяло пожал и заказал сто пятьдесят.

— Ты извини, Сева, что напросился я... Когда буду при деньгах, я всегда тебе с удовольствием поставлю. Соседи же мы теперича. Да и парень ты неплохой, бывший фронтовик, что ни говори. Вот я тогда и пожалел тебя, хотя и знакомы-то не были. За твоё здоровье, — он поднял стакан, чокнулся с дроновской кружкой и медленно, маленькими глотками, осушил. — Ну, я пойду, на дежурство мне, я теперь во вневедомственной охране работаю. Ну её, эту милицию, очертенела она мне.

Когда Мишка-мент ушел, Юрка со смехом сказал:

— Правильная русская пословица: «От тюрьмы и сумы не зарекайся». Сколько раз могли мы все в тюрьму угодить? А? И ни за что же.

— Ни за что не забирают. А вот по пьянке, за мат или драку — запросто могут, — мрачно заявил Колька-Нос, добавив: — Про дурдом ты, Юрка, забыл.

— Я же по пословице... В дурдом тоже могут моментом. То, что на Канатке увидел, наверно, похуже тюрьмы.

— Не говори, в лагере работа лошадиная, а в психушке припухаловка, — возразил Колька и стал прощаться.

Вдвоем они остались у столика, а посетители все приходили и уходили. Вглядывался в них Дронов: раз почти весь их Дзержинский район сюда переселили, обязательно кто-то из знакомых появиться здесь должен, куда людям деваться? Кино еще не построили, магазинов тоже, вот и стала эта «шайба» или «гайка» притягивающим всех магнитом.

Настроение у Дронова испортилось... Всегда получалось нескладно — приходишь кружку пива выпить, а там... Он даже ругнулся про себя, потому что работы набрал много, надо было отдавать долги за кооператив, а он не любил, когда над ним висели какие-нибудь обязательства, и эти долги малость омрачали радость обретения — наконец-то! — собственной отдельной квартиры из двух, небольших, правда, комнаток, но зато с просторной кухней и вообще — отдельной! Да, на сорок четвертом году жизни начнет он жить по-человечески, а не в малюсенькой комнатухе при кухне, в которой прожил всю жизнь, комнатухе, которую его друзья называли «ущельем Аламасов», так как была она шириной всего в полтора метра, а длиною в три... Но и это казалось в те времена чуть ли не счастьем, все-таки отдельная комната, а не с родителями в одной, куда не приведешь ни приятелей, не говоря уж о приятельницах...

И тут вошли в «деревяшку» двое. Одного, Володьку-Штампа, он знал, но уже после службы того в органах, из которых его уволили в конце пятидесятых. Служил он мелким уличным агентушкой, а потому и прозвали его «штампом», как звали их всех — одетых в одинаковые пальтишки, кепочки и в хромовые сапоги. На Арбате таких было навалом, да и по другим улицам они сразу бросались в глаза. «Наштамповано» их было много. Но был с Володькой человек, лицо которого показалось Дронову знакомым, но припомнить сразу, где и как с ним встречался, он не мог.

Пришедшие выбрали свободный столик, взяли водки, пива и на-

чали тихий, полупрошпный разговор. Лица их при этом были значительны и даже таинственны. Ну, Володька всегда важничал, намекая, что в органах он остался, что знакомых у него там порядком, а они все могут. Видимо, врал, но порой появлялись у него большие деньги... Одно время работал он официантом при ресторане в парке ЦДКА, но и в этой должности сохранял важный и таинственный вид, будто не просто он тут работает, а выполняет секретное задание. Ребята, кто верил ему, кто не верил, но все же откровенничать перед ним опасались, про политику при нем не говорили, больше про выпивку и баб, ну и про войну, конечно...

Подходить к нему Дронов не стал, пусть посекретничают, потом спросит, что за тип был с ним, но пока поглядывал порой на Володькиного собеседника — вспомнил. А как вспомнил, холодком отозвался низ живота... Да, приключилась с ним одна история, которая могла окончиться очень плохо, но чудом пронесло несчастье мимо... Поколебавшись немного, Дронов направился к их столику. Поздоровавшись с Володькой-Штаппом, он обратился к бывшему знакомцу.

— Мы с вами когда-то, по-моему, встречались?

Тот бросил на Дронова быстрый, но внимательный взгляд, но не узнал.

— Не помню. Я со столькими в своей жизни встречался, что всех не упомнишь. Напомните.

— На Лубянке... Канадское посольство... Сорок шестой, кажется, год...

— Нет, вы ошиблись...

— А ваша фамилия не Мишин?

— Мишин, — удивился он. — Расскажите поподробнее.

И он уставился на Дронова.

— Валя, — сказал Володька, — это Севка Дронов, художник. Тебя что, вызывали к нам?

— Да.

— Погодите, погодите... Что-то начинаю вспоминать. Вы — фронтовик? В разведке служили?

— Ага, — кивнул Дронов.

— Ясенько... Ну что, пожалел я тогда вас. Потому что сам фронтовиком был. Я же случайно в органы попал. Перед войной артиллерийское училище окончил, ну и с первых дней войны на фронте. В сорок четвертом по какому-то там набору, что ли, вызвали и предложили перейти... Понимаешь, — перешел Мишин на «ты», — война вроде кончается, до этого везло, не убило. Подумал я, не хватит ли судьбу испытывать? Кровашку пролил, долг выполнял свой неплохо... Короче, живым остаться захотелось, ну и согласился.

— Вас в кабинете двое было.

— Да. Второй кадровый был, он-то и хотел из тебя канадского шпиона сделать. Сыр-бор тогда из-за тебя такой разгорелся...

— Что же ты мне об этом не рассказывал? — хлопнул Дронова по плечу Володька. — Друзья же, нехорошо.

— Я никому не рассказывал.

— Правильно делал... Кстати сказать, ты тогда правильно дурочку валял: как это я, бывший разведчик, мог отказаться, когда меня иностранец приглашает к себе, должен же я узнать — зачем, для чего? Вы бы мне сами сказали, что ж ты, разведчик хренов, забоялся. Я-то понимал, по пьянке и по дури в посольство пошел, но отвечал правильно, — засмеялся Мишин.

— Ну что ж, — заспешил Дронов, — сегодня две встречи у меня с людьми, которым обязан. Сколько брать?

— По сто пятьдесят, Сева, — ухмыльнулся Володька. — Не разорим?

— Нет, — уже на ходу бросил Дронов, направляясь к Симуле.

— Все так и было, Валя? — спросил Володька, когда Дронов отошел.

— Так... Только ты про меня ему не рассказывай, а то ты последнее время язык распускаешь. Понял?

— Понял, товарищ майор! — вытянулся Володька-Штамп не без некоего ломанья.

Хотя Дронов себе взял только сто граммов, но, выпив, понял уже окончательно, что день пропал, что работать не сможет, и чувство недовольства собой, которое почти постоянно присутствовало в его послевоенной жизни, то наваливаясь, то отпуская немного, охватило его. Он стоял, допивая пиво, и не прислушивался к разговору, погрузившись в свои нерадостные и хмурые мысли... Сорок четыре года, больше половины жизни, намного больше, скорей уже три четверти, а он до сих пор как мальчишка носится по издательствам, хватая любую работу, все время торопится, потому что для жизни надо сделать три-четыре плаката в месяц, а это просто невымыслимо и ведет к самой настоящей халтуре. Как-то беседовал он с крупным художником-плакатистом, который сказал, что если в год ему удастся сделать один-два настоящих плаката, то он счастлив, значит, год прошел не зря. А тут три-четыре в месяц! Конечно, и у Дронова есть несколько работ, которых можно не стыдиться, но ведь это же за шестнадцать лет работы! Вот задуман и сделан эскиз плаката к 20-летию Победы, задуман вроде неплохо, но сделает ли он его в этой суете очередных работ?..

А тем временем Володька с Мишиным о чем-то шептались, и краем уха слышал Дронов какие-то отрывки из их разговора:

— Василию Ивановичу необходимо позвонить, он поможет, — говорил Мишин. — Не забудь, Володька.

— Будет сделано, Валя... Значит, буду говорить, как договорились?

— Да. Не перепутай только, — предупредил Мишин, после чего протянул руку Дронову. — Ну, бывай. Спасибо за угощение.

— Спасибо вам. За прошлое...

— Чего там, — махнул рукой Мишин. — Знай только, что никогда ты так близко к тюрьме не был, как тогда. Десятка была обеспечена. Здорово дрейфил, когда к нам вызвали?

— Почему-то не очень. Как-то не представлял, что за такую глупость могли посадить.

— Глупость-то глупость, конечно, но тогда и не за такое сажали. Ну, пока...

Мишин ушел, а Володька, уже порядком охмелевший, попросил Дронова поставить ему еще выпивки. Дронов вынул кошелек, денег оставалось мало, но хватит вроде, и протянул трешку. Захотелось порасспросить кое-что об этом Мишине.

— Как же ты в канадское посольство попал? — спросил Володька, когда возвратился к столику.

— Долго рассказывать, — отмахнулся Дронов. — Ты мне лучше скажи, кто этот Мишин-то?

— Ба-ба-льшим человеком был. Еврейское дело, кстати, вел. Помнишь?

— Так липа ж была.

— Не совсем... И признания были, и связи с границей обнаружили. Насчет отравителей — это, конечно, ерунда, а организация существовала. Мне Валентин подробно рассказывал.

— Ну, а сейчас, уволен он из органов-то?

— Уволен не уволен, а мы всегда чекистами остаемся, — шепотком и важно ответил Володька. — Учти это.

— Брось, Володька, меня на понт не возьмешь.

— Я тебе дело говорю, а не с понта... Валентин сейчас только с лагеря вернулся, а связи уже наладил.

— Из лагеря? — удивился Дронов.

— Только никому. Ясно?

— Кому мне говорить? А за что в лагере-то был?

— Этого я тебе не скажу. Ну, за твое здоровье, — поднял Володька стакан и лихо плеснул себе в горло.

И тут увидел Дронов вошедшего бодрой походкой, но с помятым лицом Мурата. Он остановился в дверях и стал оглядывать столики пустыми, тоскливыми глазами. Увидев Дронова, облегченно вздохнул и направился к нему.

— Заходил к тебе, никто не открывает. Вышел, увидел вашу «шайбу», подумал: может, здесь ты, пивком балуешься, ну и угадал. Ты при деньгах? Понимаешь, перебрал вчера, займы дай немного.

— Ты же... бросил вроде. Говорил, на хлеб и воду перешел.

— Я полгода вкалывал. И ни грамма. Знаешь, сколько сделал... А вчера пришел ко мне мой учитель, ты знаешь, кто это, расставил я ему свои работы, а он... — Мурат замолк.

Дронов все понял и пошел опять к Симале.

— Сколько друзей у вас, — кинула она ему, наливая водку. — Так и разориться можно. И Боба моего угощали. Что, денег много? — улыбнулась она.

— Откуда, Сима...

— А зачем оперативник к вам подходил? И вот этот, который ушел от вашего столика, тоже на опера похож.

— Этот — держи выше, — усмехнулся Дронов.

Мурат жадно выпил принесенную Дроновым водку, потом схватился за кружку с пивом. Руки у него подрагивали.

— Ну, и что твой учитель? — спросил Дронов.

— А то, что я вчера в петлю чуть не полез.

— Ну, Муратик, это зря... Испортили тебя, раньше времени в гении произвели, вот и мучаешься.

— Гения я из себя никогда не воображал, не думай. Но что-то же я должен сделать в жизни!

— Честолюбие?

— Нет, — решительно отрубил Мурат. — Для чего-то я же остался в живых на войне.

— Вот это и мне знакомо, — с грустью заметил Дронов, вынимая «беломорину» из пачки.

Володька тоже потянулся за папиросой, закурил и отвалил от столика, почуяв, видно, что пить больше тут не будут, а разговоры эти ему ни к чему.

— А может, Муратик, остались мы в живых просто для того, чтоб жить. И нечего ставить перед собой какие-то сверхцели. Жить, работать и не мучить ни себя, ни своих близких. Как у тебя с женой?

— Плохо. Я же за полгода ни гроша не заработал, — он задумался, потом сказал: — Знаешь, возможно, ты и прав, но есть во мне силенки, есть... Вот и хотелось создать что-то большое, не зря прожить жизнь.

— Не очень-то подходящее время для большого искусства, Мурат.

— Знаю. Но настоящий художник может и в неподходящее время сотворить что-то... Ты снова скажешь: а «был ли мальчик»? Да, был и есть, но что-то со мной случилось, вот сказал тебе, что есть силенки, а в то же время что-то надорвано, — в голосе тоска и боль, и Дронов понял, что все это у Мурата настоящее, истинное.

Он положил руку на все еще подрагивающую кисть Мурата и сказал тихо:

— Ладно, Муратик, переживем и это, не то доводилось... Пойдем домой, я тебе денег дам. Много нужно?

— Да на кой мне много, двадцатка найдется — и хватит. А сейчас купи еще полтора ста.

Когда Мурат выпил вторую порцию, они вышли из «деревяхи» и направились к дроновскому дому. Он маячил недалеко — серая унылая девятиэтажная башня, стоящая среди других, таких же серых коробок, перемежающихся с пятиэтажками, «хрущобами», как их сразу же называли. Чего-чего, а красотой их микрорайон не отличался, как, впрочем, и остальные микрорайоны на других окраинах Москвы. Здесь хоть оживляла пейзаж небольшая церковка на берегу грязной Яузы... Мурат пока жил в старом доме на Коптельском, близком и для Дронова переулке, потому как жила там его первая любовь, и до армии крутился он там на велосипеде как раз около дома Мурата и дома своей любви, который находился напротив. Однако и Мурату, видимо, скоро придется переехать куда-нибудь на окраину, куда разъехались многие дроновские знакомые и друзья,

чем и порушены были все связи — одно дело добежать до друга два-три квартала, другое — переть из одного района Москвы в другой.

Дома показал Дронов свой эскиз плаката к 20-летию Победы, Мурат похвалил задумку, сделав, правда, несколько толковых замечаний, а потом спросил:

— Не тоскливо здесь жить, Сева?

— Тоскливо, словно в ссылке. Но зато, видишь, вроде бы своя квартира...

— Ты только постарайся к выставке закончить работу, она того стоит, — посоветовал Мурат серьезно.

Мебели у Дронова еще не было, и они примостились в кухне и задымили. Мурат малость пришел в себя, руки уже не подрагивали, щеки порозовели, да и голос стал увереннее.

— Так сказать, что мне мой учитель резанул?

— Конечно.

— «Роста я у вас не вижу. Не выросли вы как художник за это время. Халтурили, наверно?» «Халтурил, — ответил я, — жить-то надо». «Жить надо, а халтурить нельзя», — сказал он холодно и резко... Неужто испортили мы руки халтурой? А?

— Не только руки, но и головы, наверное. А может, и души, — тоскливо заметил Дронов, вздохнув.

— А вечный огонь в виде голубка ты здорово придумал, — сказал Мурат, продолжавший и во время разговора рассматривать эскиз. — Добей обязательно к выставке...

— Я халтуры набрал на полгода, долги надо отдавать.

— Пошли всех... Работа важнее.

Затем зашел разговор об общих знакомых, кто где и чем занимается, посетовали на то, что почти все из бывших вояк крепко закладывают, не они одни, что у многих из-за этого семейные неурядицы, то одного жена бросила, то другого, а оставшиеся без жениного надзора закладывать стали еще больше... Такие разговоры облегчали совесть, у всех, дескать, неблагополучие, и немного успокаивали душу... Затем, вспомнив встречу в «деревяшке», Дронов решил рассказать Мурату о том давнишнем происшествии, воспользовавшись паузой в их беседе.

— До тебя у меня в пивной встреча произошла с одним гэбэшником, который мне дело клеил в сорок шестом.

— Что за дело? Ты как будто никогда не говорил об этом.

— Не говорил... А сейчас расскажу. Сидел я после получки в ресторане «Москва», он тогда до пяти утра работал, я туда около часу ночи забрался. Сажу один за столиком, заказал жратвы, выпить... Подсаживается ко мне какой-то иностранец, на ломаном русском языке заказывает себе что-то, а я, значит, предлагаю ему из своего графина водочки, пока ему не принесли. Он наливает. Разговора у нас не получается, немецкий он не понимает, а на каком он балакает, не пойму. Когда он подходил ко мне, то какую-то арию из оперы напевал, видно, прямо из Большого в ресторан пришел... Хотя был я в кирзашках, но все же пригласил какую-то девицу на танцы, ну и танцевал с ней не раз... Короче, время прошло быстро,

ресторан закрывается, официант заказов больше не принимает. Тогда иностранец мне и говорит, что дома у него есть «русская водка», и приглашает. А я уж набрался к тому времени, мне море по колено. Соглашаюсь. Взяли «эмку», едем, смотрю: какой-то арбатский переулок, особняк, около мента стоит. Тут я малость очнулся — куда иду-то?.. Но хмель еще играет, угощаю мента «казбечиной» и захожим. Прошли анфиладу комнат, нигде никого, пришли в библиотеку вроде, потому как шкафов с книгами навалом. Вытащил этот иностранец бутылку «московской», достал два фужера, закуски нет. Хлопнули. Он ко мне на диван подсаживается, руку на колено кладет и таким сладеньким голоском говорит: «Ви мужчина, я женщина...», и руку мне с колена выше, понимаешь, куда... Я его руку отстраняю, все стало ясно...

— Педик?

— Конечно... Ладно, думаю, водяру допью и рвать надо отсюда. Допил, прихватил пачку сигарет американских, вышел, опять небрежно мента куревом угостил... До Арбата метров двести, переулок — Старо-Конюшенный. Ну, думаю, надо умненько уходить, без «хвоста». Вышел на Арбат к остановке троллейбуса, вскочил в него уже на ходу, самым последним. Радуюсь: если и был «хвост», то отрезал я его на остановке...

На другой день — похмелье страшное, все кажется гадким и мерзким, ну и страх навалился... Начал я мозговать: в ресторане, разумеется, всегда двое обязательно сидят, один из МУРа, второй с Лубянки. Конечно, там они это мое сидение с иностранцем за одним столиком засекли, тем более он как-то решительно сразу ко мне направился. То, что я в посольстве был, мент доложил. Если «хвост» мой на остановке остался, то вычислить меня трудно... Немного успокоился, но под ложечкой все равно подсасывает...

— Еще бы... Ну и дурило же ты...

— Еще какой... Прошла неделя, вторая, а потом соседка по лестничной клетке ко мне заходит, ну и преподносит: «Что натворил, Сева, приходили ко мне, справлялись...» Тут я и понял — влип, да еще как! Теперь ареста ждать надо. Что делать, с кем посоветоваться — ума не приложу. Главное, знаешь, не столько за себя переживаю, сколько за мать. Думаю, ждала она меня с войны, намучилась донельзя за четыре года, а тут и года после победы не прошло, как загремлю на «десятку»... Тут вспомнил, что в одной компании познакомили меня с девицей, довольно интеллигентной, английский знала, которая — лейтенант КГБ. Засиделись мы тогда допоздна, квартира большая, ну и решили заночевать, меня и ее на одну тахту уложили. Ничего у нас не было, провалялись целую ночь с поцелуйчиками да обниманиями, девица строгая оказалась. Потом раза два я ее после получки, конечно, в кафе водил, на «ты» перешли... Потом ее в командировку долгую отправили, ну и как-то все расстроилось. Решил ей позвонить, встретиться и рассказать все начистоту. Что она посоветует. Встретились на Колхозной, повел я ее в «кафе-мороженое», выпили немного, ну я и выложил все... Она бровки нахмурила, губки поджала, посерьезнела, личико холодное сде-

лалось. «Ну как вы пошли на это? Неужто не понимали, чем это может закончиться?» На «вы» перешла. Ну, думаю, плохо, наверно, мое дело... Правда, я ей тут ответил, что пришло мне в голову после ее «как вы пошли на это» и что, надо сказать, может, и помогло мне потом. «А как же я, бывший разведчик, мог не пойти? Я же должен был узнать, зачем меня иностранец позвал. Может, он меня вербовать задумал или еще что?»

— А она?

— По-моему, ей это понравилось. В общем, обещала узнать и мне позвонить. Дня через три позвонила, чтоб особо не волновался. Я спросил, а не стоит ли мне в приемную сходить, рассказать? Она подумала и сказала, что не надо, она же сообщила... Ну, не надо, так не надо. Живу. От звонков, особо вечерних, вздрагиваю. Бессонницей начал страдать. Пришлось на ночь стаканчик принимать... Но здесь вдруг из домоуправления подружка приходит, прямо не говорит, но намекает, что приходили, расспрашивали. Конечно, не только обо мне — о многих, но она догадалась, что именно моей особой интересуются. Снова на душе мразь, страшно и противно от того, что страшно. Унизительное это чувство, сам знаешь... Ну и решил я — на Кузнецкий, в приемную. Рассказывал какому-то полковнику, тот попросил вежливо изложить все на бумажке. Изложил, подал ему, спрашиваю: что дальше? Да ничего, ждите, может, вызовут, может, нет... Проходит месяца полтора, и получаю я приглашение к товарищу Мишину, встреча в бюро пропусков... Выйду ли обратно или не выйду — одна мыслишка в голове...

Пока Дронов закуривал, Мурат с виноватой улыбкой сказал:

— Извини, Севка, меня что-то опять ломать стало. Дай мне денег, сбегаю принесу... Хорошо?

Дронов дал двадцатку, рассказал, где магазин ближайший, и стал ждать Муратика. Конечно, в коротком рассказе вся история выглядит не такой уж драматичной и неприятной, какой была на самом деле. Не рассказал Дронов, как мучился ночами, как устал от постоянного ожидания, что вот-вот придут, как клял себя за легкомыслие и дурость, что поперся в посольство ради глотка-двух «русской водки», словно бы не понимал, чем все это грозит... А получилось-то как в плохом детективном фильме: встреча в ресторане, поездка на машине, арбатский переулок, особняк, анфилада комнат, богатая библиотека, американские сигареты на столе и... Короче, целая шпионская история, если бы не идиотское: «Ви мужчина, я...» Бог ты мой, каким же дураком и идиотом был! И из-за такой вот глупости могла быть порушена жизнь, десять лет лагерей, а потом ссылка и остальные прочие прелести... Ну остальное-то, может быть, и не пришлось, но до 55-го девять лет отрубил бы как миленький... Да, как жили, сейчас и подумать страшно. Хотя и теперь, после того, как послал Дронов несколько писем одному писателю, из которых — тот написал — три не дошло, да еще похвастался своей смелостью одному худареду в издательстве: хороший вроде парень, выпивали не раз, а он после этого прилип к нему, стал заходить с бутылкой, а тут недавно приперся какой-то мент (не участковый),

зашел, начал какой-то глупый разговор, а потом неожиданно: «Что-то вами КГБ интересуется...» Дронов ответил, что им за это деньги платят, чтоб интересоваться, но мент еще раз и еще в разговоре этот вопросик задавал и глядел внимательно, как Дронов на это реагирует. А Дронов тогда не среагировал, ему и в голову не пришло, что из-за писем это, а других «грехов» за ним не водилось. Только когда ушел милиционер, до него дошло, и стало гнусно на душе из-за такой подлянки...

А они с Муратом еще жаждут совершить что-то, суетятся, мучаются, словно не понимая, что творится вокруг и как выбиваются наверх художники и писатели. Он и написал появившемуся недавно писателю как единственному, сказавшему правду о времени, о том, что было в стране, написал от чистого сердца, приветствуя и восхищаясь человеком посмевающимся... Написал, а вскоре — переодетый милиционером кагэбэшник с «что-то вами КГБ интересуется».

Мурат вернулся скоро с бутылкой портвейна. Хорошо, что не водка, подумал Дронов, которого и так уже разморило от возлияний, и он только отпил из стакана, а остальное выпил Мурат, уже совсем очнувшийся от вчерашнего стресса...

— Знаешь, Севка, ты будешь слабак, если не сделаешь к выставке плакат...

— Хватит, — остановил его Дронов. — Ты сам-то думаешь что-нибудь сделать?

— Я не плакат, я картину должен дописать, — уже важновато произнес он.

Дронову показалось, что Мурат уже стесняется своей откровенности, с которой рассказал о словах учителя, а потому будет сейчас фанфаронить, а может, и нахальничать... Так и вышло, потому что следующими его словами было:

— Понимаешь, минутная слабость, конечно... Чего я слюни распустил? Кстати сказать, учитель-то последние годы молчит, ни одной картины новой. Зачем же безоговорочно верить его словам? Может, у него настроение дрянное было, вот и ляпнул — «не выросли вы». Может быть так? Может. А я все за чистую монету и — в минор. Вот и сорвался из-за него с выпивкой. Нельзя такие вещи людям ляпать с ходу, не подумавши. Верно же?

Дронов подтвердил кивком, и стало ему вдруг чертовски тоскливо и скучно, вспомнилась почему-то интеллигентная Тася, студентка филфака МГУ, с которой познакомился в конце сорок пятого на каком-то университетском вечере, куда привел его школьный товарищ. Тася — высокая, тоненькая, хорошенькая, но почему-то оставившая его равнодушным, но вроде бы влюбившаяся в него, Дронова, неизвестно что в нем нашедшая, потому как был он тогда в полном душевном разладе, сильно пьющим, старающимся этим продлить эйфорию и от победы, и от того, что остался живым. А она — эта эйфория — стремительно выдыхалась от неустroенностей и сложностей послевоенной жизни, скудной, серой и полуголодной, и от несбывшихся надежд, питаемых всеми ими, о каком-то изменении жизни после войны. Тогда Тася, по-видимому, загорелась жела-

нием его спасти, так как не раз говорила, что если бы она была его женой, то увезла бы его из Москвы, от друзей и товарищей, которые, по ее мнению, и губят Дронова... Все, что было связано с ней, запомнилось навсегда, потому что приблизительно через год после их знакомства она умерла от опухоли мозга, и эта скоропостижная смерть юной девушки произвела на Дронова тяжкое впечатление, к тому же его мучили угрызения совести, что был с этой девочкой холоден, порой отнекивался под разными предложениями от встреч, и сейчас ему думалось, что если бы она осталась жива и стали бы они вместе, то его жизнь пошла бы как-то осмысленнее, лучше и чище...

Мурат допил портвейн и стал собираться. Дронов решил его проводить. Неподалеку от Яузы горбатилась церковка, оживляющая унылый район. Около нее лепились ухоженные дома деревеньки. Увидев церковь, Мурат решительно заявил:

— Зайдем туда.

— Зачем?

— Я знаю, зачем.

Они повернули, прошли немного по деревенской улочке и остановились около церкви, где рядом стоял свежепокрашенный домик священника. Церковь оказалась на замке, Мурат шагнул к дому священника и постучал в дверь. Дверь открылась не сразу, Дронов уже тронул Мурата за локоть, чтоб уйти, но тот застучал еще раз, и через некоторое время дверь открыл старенький священник с седой бородой. Вначале он ласково улыбнулся и спросил:

— Чем могу служить?

Но потом, когда учуял винный запах от гостей, глаза священника потрожили.

— Мы — художники... Не нужно ли вам что-нибудь отреставрировать? И иконы можем, и вообще... — сказал Мурат и чуть шатнулся.

Священник смотрел на них сокрушенно, затем покачал головой:

— Души вам нужно реставрировать, молодые люди... Свои души, — сказал и прикрыл дверь.

— Ну что? Получили?! — Дронов потянул Мурата за рукав пиджака в сторону от дома священника.

Но, повернувшись обратно, они столкнулись с тем стариком, бывшим зэк, с которым стоял Юрка, когда Дронов вошел в «деревяшку». Он, наверно, слышал их разговор со священником, а потому глядел на них с откровенной усмешкой. Дронов хотел пройти мимо, но старик остановил их словами:

— Ну и что думаете, дорогие, насчет совета батюшки? Он, кстати, ко всем нам относится. Всем нам души надо реставрировать. Если только остались они у нас, души-то.

— Остались, отец, остались, не беспокойся, — недовольно буркнул Мурат, обескураженный, вероятно, словами священника. — Я пойду, Сева... — и он, махнув рукой, направился к автобусной остановке.

Дронов остался: и неудобно уйти от старика было, и заинтересовал его бывший зэк еще в пивной.

— Что ж, ежели не возражаете, покурим и поговорим? — спросил старик и пригласил жестом присесть на завалинку.

Они присели, вытащили по «беломорине», засмолили...

— И сколько же вы оттрубили в лагерях?

— Много... Семнадцать годков...

— Да... Есть что порассказать. А может, и написать?

— Насчет написать, не рекомендовали нам особо распространяться, даже подписочку взяли. А я пишу. Только нечто религиозно-философское. Знаете ли, там о Боге многие призадумались. Я рад, что церковка в нашем районе оказалась, похаживаю, и со священником знаком, он тоже там побывал. Правда, он хоть за веру пострадал, а я сам не знаю — за что... Был бы коммунистом, тут все ясно: Бог наказал, — старик усмехнулся.

— Вы, конечно, читали «Один день...» Солженицына? Там — правда?

— Правда, — как-то неохотно ответил он. — Но не вся. Страшнее все было... Особо страшными северные лагеря были... — старик вытащил новую папиросу и прикурил от старой и глубоко затянулся, сразу закашляв. Откашлявшись, спросил: — А вы в церкви-то были?

— В детстве. Отец с матерью на пасхальную заутреню брали...

— Крещеный, выходит? Советую похаживать иногда. Могу и со священником познакомить, чистейшей души человек... Насчет того, что душу надо реставрировать, — глубокие слова. Прислушайтесь.

Дронов ничего не ответил и тоже закурил вторую «беломорину». Старик сидел прямо, только немного опустив голову с седым коротким ежиком, положив большие кисти рук на колени. На нем был надет старый пиджак, но рубашка была чистой и выглаженной... Дронов поднялся, протянул руку.

— Так что, подумаем о душе? — спросил старик и тоже приподнялся.

— Не до того мне...

И правда, возвращаясь домой, не думал он о душе, а клял себя, что бессмысленно прошел день, что придется сейчас малость поспать, а потом засесть до ночи за работу, а может, и прихватить ночь, как бывает часто, ведь, чтобы существовать, не хватает дня для работы, а теперь с этой квартирой и долгами надо вкалывать еще больше, а те «разрядки», которые он допускает иной раз, и не только в дни получки, оставляют противный осадок, делают его на день-два после этого больным, разбитым, и что вообще жизнь проходит зазря, ничего он серьезного не сделал и, видимо, уже не делает... И когда ему думать о душе?..

Мертвый аул

Былой очаг цветком засохшим
лежит, как в книге, в складках гор,
и я опять взволнован прошлым,
во мне живущим с давних пор.
Судьбою тех изранен снова,
чьих здесь не слышу голосов,
чей навсегда умолкнул говор,
так схожий с клекотом орлов.
Иссякли древние преданья,
я скорбный след их отыскал
лишь в непонятных мне названьях
лесных высот и голых скал.
Шиповник зарослью колючей
жилищу старому не впрок
прикрыть старается получше
ступени в винный погребок.
Окошко вдаль глядит уныло,
все те же стены — и не те,
а ведь когда-то людно было
на этой мертвой высоте!
Сюда с живых лугов долины
я мог бы и не заглянуть,
и без того тяжел и длинен
мой горный оказался путь.
От горькой правды, горькой боли
я отрешиться не могу,
как буйволы от слитков соли,
для них лежащих на лугу.

1979 год

Гезлев*

Асфальт стал вязким от нагрева,
и зноем тягостным нагрет
оставшийся с времен Гезлева
остроконечный минарет.
Как будто здесь он по старинке
поставлен людям на беду,
и я к невольничьему рынку
по узкой улочке бреду.
Бреду и думаю невольно,
под крымским солнцем разомлев:
кто я, по сути? Раб. Невольник.

* Древнее название Евпатории, где находился невольничий рынок.

Хоть и ушел во тьму Гезлев.
Схожу к воде. Выхожу по трапу.
Свобода: катер, отдых, Крым!
Я так хитро запродан в рабство,
что даже... восхищаюсь им.

1955 год

Мария

Печально,
как день из-под век облаков,
глаза твои смотрят нередко.
Ты истомилась
томленьем веков,
устала
усталостью предков.
Мария!
Вражда наша — прах, маета,
история всех нас пинала,
нас породнили страдания Христа,
которого ты пеленала.

1986 год

В мокром поле

Помнится:
в поле, над речкою мгlistою,
хмуру катившей в дожде облака,
мне повстречались искатели истины,
два хлебобоба,
два мужика.
Все у них было до нитки отобрано,
хлеба не стало, не стало земли,
все же они по-святому, по-доброму
в поле с котомками нищими шли.
Тайно смущенная общими бедами
и сокрушась их крестьянской бедой,
тихо душа моя думу поведала:
«Вот что наделал отец наш родной».
Странники вскинули бороды мокрые:
— Ладно! Почто мы о нем говорим! —
Лошадь стегнул он лишь яростно до крови,
а запрягал тот, кто был перед ним...
Странники шли, унося свою жгучую
боль, чтобы скрыться во мгле навсегда.
Вынырнув между холодными тучами,
падала быстро над полем звезда.

*Киев,
1989 год*

Любовь и секс в эпоху перестройки

Если бы эту командировку предложила ему не Флора Ивановна, а сам господь бог, — пожалуй, даже и в таком случае он не знал бы, чего еще попросить. Уже года три хотел именно в Прибалтику, причем именно зимой, в малолюдьё, — и вот на тебе, пожалуйста! Почти бесснежный февраль, чистый и ровный длиннющий пляж, чистые сосны на дюнах, игрушечные улочки взморья, редкие прохожие, милые пустующие кафешки на десяток столиков — входи и выбирай любой...

Он еще покривлялся немножко, боясь вспугнуть удачу, попривередничал, покапризничал.

— В Ригу, значит? — скучно переспросил, будто ему предлагалась Чита или Актюбинск.

— Вы что, не хотите? — обиженно удивилась Флора Ивановна, давно уже к нему благоволившая, и за дело: в конторе он считался одним из лучших лекторов, если не лучшим. Флора как-то съездила с ним в окраинный Дворец культуры, сидела рядом за столиком, разбирала записки, была счастлива и горда. — Я-то ду-мала...

— Ну что вы, — успокоил он, — кто же не хочет в Ригу? В Ригу все хотят. А что там, в Риге?

— Две недели, — сказала она, — шестнадцать лекций, три публичные. Может, там еще добавят — вам обычно добавляют.

— Ну, что ж, — сказал он, — добавят так добавят, они хозяева.

Ему обычно добавляли. Две-три встречи, афишная лекция — и полз приятный слушок, торопливо возникали новые заявки... Он не отказывался, тем более что условия, как правило, создавали: машинной туда, машиной обратно, антракт на обед и отдых, не так уж и трудно.

Шестнадцать лекций, три публичные, еще подкинут. Рублей четыреста, подумал он. Зимняя Прибалтика, тишина, отдых — да еще и деньги. Живут же люди!

В принципе ту же самую Ригу он мог бы и сам попросить, Флора сделала бы — она вот уже лет десять делала все, о чем бы он ни просил. Но — не любил одалживаться без крайности. Зачем попадать в зависимость? Сегодня попросит он, завтра — его. И вообще — надо уметь ждать. Ведь анекдот: вполне мог вчера прийти кланяться из-за

Риги. Не пришел — и сегодня из-за той же Риги кланяются ему. Удача, бог ты мой, какая же удача...

— А в институте отпустят? — больше для порядка поинтересовалась Флора.

— Должны, — сказал он весело, — зря, что ли, на них жилы рву? Если не отпустят, будет просто свинство...

Пустят. Всегда пускали, кроме тех случаев, когда сам не хотел, чтобы пускали. Тогда делал вид, что рад бы, да человек подневольный; Флора звонила начальству, а подученное начальство — приятель, общая «пулька» по субботам — сурово отвечало, что понимает, но никак не может, ибо в ближайшие две недели без Олега Никитича, к сожалению... И приятно было, что даже и с этой безобидной стороны он тоже защищен.

И дома он сказал про Прибалтику зимой и про деньги. Про работу не говорил, да, в общем-то, и не думал. Чего о ней думать? Двадцать лекций за две недели — было бы о чем печалиться. Цену себе как лектору он знал, и цена эта была не низкой. Топилин был умен, мыслил широко, говорить умел и любил, резких вопросов не боялся и даже их провоцировал: чем острее полемика, тем интересней и слушателям, и самому. Что за лектор, который боится аудитории!

— Рига, — мечтательно повторила жена, — живут же люди. Тут бы кто хоть в Рязань послал.

Она и сама жила неплохо, на службе преуспевала, недавно за казенный счет скатала в Венгрию, и ворчание ее было просто вечерней домашней игрой.

— Живут же люди! — взвизгнула и дочка, долговязая третьекурсница. — Пап, возьми в Ригу, а? В чемоданчике!

Красавицей она не была, но недостающее добирала молодостью и нахальством, жила свободно, взросло, в каникулы ночевала дома через раз, но с отцом по традиции держалась маленькой: так было и веселей, и удобней обоим.

В «Вечорке» оказался кроссворд. Уже лежа, при низком свете, Топилин расщелкал его, как горсть орехов, все, кроме монгольского космонавта, помнить которого Олег Никитич обязательным не считал. Не засыпалось, и Топилин, прокрававшись в дочкину берлогу, утянул со стола журнал с детективом. Чтиво оказалось вполне пристойным: терпимый язык и три трупа в первой главе. Живут же люди!

* * *

Гостиница стояла среди сосен, их зеленые верхушки легко дотягивались до его окон на шестом этаже. Утрами, встав, когда захочется, он в шерстяном тренировочном костюме выходил на балкон и на холодке делал нечто вроде зарядки: махал руками, приседал, энергично вертел шеей. Зачем? А кто его знает! Пожалуй, хотелось не столько встряхнуться, сколько не спеша поздороваться с чистым, свежим и тихим окружающим миром. Электричка время от времени,

конечно, слышалась, да и на шоссе, в отдалении, шуршало — но разве это шум после московского грохота! Сквозь сосны смутно виднелся залив, темно-серый под светло-серым небом. Иногда везло: среди корявости крон глаз улавливал летящую белку.

Приняв душ, он спускался вниз за газетами, а уж потом шел в буфет на этаже, пил кофе с ватрушкой — привык завтракать с печатным словом перед глазами. Надев легкую и теплую японскую куртку, он хорошим шагом проходил километра три по нешироким, в масштаб человека, улицам курортного пригорода и радовался, что гостиницу ему заказали именно здесь. Рига — хороший город, но город. А жить человек должен именно так: сосны, дюны, море и белки с ветки на ветку.

Перед обедом его везли на первое выступление, перед ужином — на второе. Уже прошло публичное выступление в Доме культуры мест на шестьсот — зал был полон, потому что на афише значилось «Любовь и семья в эпоху СПИДа» — по названиям он вообще был умелец. График лекций в первые дни Топилин уплотнил сам, потому что в середине срока ему нужен был совершенно свободный, небольшой, но свой, и только свой, лоскуток. И связанная с ним завтрашняя радость бросала теплый отсвет на сегодняшнюю, в общем-то, и без того хорошую жизнь.

В середине срока должна была приехать Власта.

* * *

Эта история началась не так чтобы очень давно — однако года четыре уже минуло. Тоже, кстати, была командировка, на Волгу, в старинный город, ныне промышленный, еще красивый, но уже печальный от множества обветшалых церквей. Что-то реставрировали, что-то разрушалось, в знаменитых некогда гостиних рядах торговали ширпотребом местных фабрик, зато картинная галерея на набережной изумила Коровиным, Кустодиевым и ранним Грабарем.

В тот год они как раз взяли машину, первую в его жизни, дочка с минимальными по нынешним временам усилиями прошла в институт, и как-то все сразу устоялось и стабилизировалось — если проблемы возникали, то несшиеся и решаемые. Наконец-то возникла так давно желанная возможность просто пожить. Остановись, мгновенье...

Работал он тогда в охотку, две лекции в день, читал три темы, в основном опять-таки про любовь, только афиша была иная. СПИД тогда мало кого волновал — американская болезнь, замешано ЦРУ, вот пусть они и беспокоятся. Но название было тоже неслабое: «Уцелеет ли семья в XXI веке?» Местные товарищи опасались, просили назвать поспокойнее, скажем: «Проблемы семьи в обществе развитого социализма». Топилин вежливо стоял на своем, он не любил пустых залов. Устроителей успокоила пачка привезенных им казенных афиш: чего нельзя, в типографии печатать не станут.

Одна лекция выпала в прекрасном месте — областной библиотеке, встречу интеллигентно назвали беседой. Впрочем, беседа и вы-

шла: на тридцать минут выступление, потом час — вопросы. Тема была обкатана, вопросы повторялись. Топилин отвечал не задумываясь, легко и остроумно. Один раз только запнулся. Записка была: «Что делать, когда тебя хотят бросить?» Он развел руками, подумал немного.

— Ну, как сказать... Тут важны обстоятельства. В принципе лучше спокойно отойти в сторону. Силой все равно не удержишь, только озлобишь и избавишь от угрызений совести. Пусть сам — или сама — решает, бросать или не бросать. О гордости я не говорю, гордость по сути чувство мелкое... просто бороться в таких случаях смысла не имеет. Нет, бороться не надо.

Тут же какая-то дама профкомовского вида громко спросила с места, как можно называть мелким такое возвышенное чувство, как гордость. Выходит, девичья гордость тоже мелкое чувство?

Он что-то ответил, она возразила вновь, разговор ушел в эту сторону.

После лекции его попросили остаться с активом, в особом читальном зальчике пили чай — интеллигентная российская компания, которую ничем не заменить. Было человек двадцать, разговор растекался по столу, Топилин слушал, изредка спрашивал, отдыхал. Милостивая девушка, сидевшая рядом и подливавшая ему чай, сказала тихо, почти на ухо:

— Можно вас спросить?

Они отошли к стеллажу с энциклопедией и справочниками.

— Это я написала ту записку, — сказала она.

— Какую — ту? — переспросил Топилин, но тут же понял: — А, ну да. А кто он?

— Он старше, — сказала девушка, — ему тридцать два. Врач на «скорой помощи».

— А почему думаешь, что хочет бросить?

— Он уже три месяца не звонит. Встретимся случайно — два слова и «пока», будто ничего не было.

— Так это не «хочет бросить», а уже бросил.

Она немного подумала:

— Да, наверное.

Было странно, что о ситуации неприятной, даже унижительной, она говорила без злости, без обиды — скорее с недоумением.

— Любишь его?

Помедлила:

— Теперь даже не знаю.

— Ну-ка погоди, — сказал Топилин, взял ее за плечо и посмотрел в лицо, — он у тебя, случайно, не первый?

Она кивнула, чуть покраснев.

Что-то все же оставалось неясным. Он спросил:

— Ты была в него влюблена? Вот так, до озверения?

Она чуть улыбнулась:

— До озверения — нет.

— Зачем он тебе понадобился?

Девушка замялась — искала формулировку.

— Ну... Все-таки близкий человек. Советовал, иногда помогал.

— Сколько тебе?

— Девятнадцать.

Топилин вспомнил:

— Да, извини, как тебя зовут?

— Власта.

— Власта?

Русые волосы, серые глаза...

— У тебя что, в роду поляки?

— Нет, — сказала она, — просто у мамы когда-то была подруга Власта. Даже не в подруге дело, имя понравилось.

— Хорошее имя, — успокоил Топилин, — красивое и оригинальное. Я думаю, сегодня в зале второй Власты не было.

Девушка улыбнулась заметней.

А ведь хороша, даже красива, пожалуй, подумал Топилин. Черт возьми, кому же тогда везет?

— Знаешь, — сказал он, — забудь. Отключись. Как будто его и нет. Живи своей жизнью. А он пусть живет своей. Захочет — сам придет. От тебя все равно ничего не зависит: будешь суетиться, нет — никакой разницы. Захочет — придет, не захочет...

Она слушала внимательно и с полным доверием, как больная — платного врача, и это воодушевляло Топилина.

— Понимаешь, вы в неравном положении. Он уже знает, что жизнь многовариантна — не ты, так другая, не другая, так третья. И ты тоже, увы, должна это понять. То есть не то что направо и налево с кем придется — это не дай бог, это не по твоей части, но... Вот ты уперлась в стену и бьешься об нее головой. Крайне неблагоприятное занятие! И нерациональное. Ибо в жизни практически нет тупиков. Ты вот бьешься в стену — а где-то рядом наверняка существует нормальная дверь...

За столом чему-то засмеялись, и Топилин вспомнил, что они в компании, кругом народ. Затянувшаяся беседа на двоих, пожалуй, начала выходить из рамок общепринятого и даже становиться смешноватой.

— Ладно, — сказал он, — пошли к человечеству, а то конец твоей репутации. Потом поговорим. Сможешь проводить до гостиницы?

Она с готовностью кивнула.

В общем-то, разговор из ряда не вышел — сколько таких после-лекционных консультаций приходилось ему давать! И все же Топилину подумалось, что сегодня вечером он будет не одинок.

Так и получилось. Проводила до гостиницы, зашла на кофе — пришлось обманывать стражей и блюстителей, что обоих оживило и сделало как бы сообщниками. Топилин так и сказал: «Теперь по одному делу будем проходить». Оставив ее осваиваться, спустился в ресторан за сухим и не сухим пайком...

Тянули кофе, под плохонькие бутерброды пили плохое вино — ему не хотелось, ей не хотелось, но у откупоренной бутылки свои традиционные правила. Топилин, столичный человек разъездной

профессии, любивший и понимавший женщин, конечно же, знал не столь уж сложные приемы и методы современной лирической предигры. Что-то рассказывал, смешил, похваливал провинциальную тягу к духовности в пику столичному равнодушию (можно было бы и наоборот, но хотелось сказать девочке приятное). «Слинявшего» возлюбленного больше не вспоминали.

Соблазнял молоденькую? Да нет, пожалуй, любовь как спорт вообще была не для него. За пошлейшей гостиничной ситуацией он ясно ощущал человеческое. Ей плохо, ему никак. А тут возникло что-то, взгляд зажегся от взгляда, голоса звучали глуше и теплей. Два путника на горной дороге помогут друг другу, вместе одолеют подъем, и, что бы ни случилось потом, обоим станет легче...

Ему не хотелось, чтобы она ушла, — но ведь и ей явно не хотелось уходить. И Топилин облегчал задачу обоим: говорил и говорил, перескакивая с темы на тему, почти без пауз. Ведь сейчас важен был не столько уровень разговора, сколько продолжительность, важно было дотянуть до момента, когда последние автобусы разбредутся, наконец, по своим спальням...

— Да, действительно, заболтались, — как бы удивился он, и оба поднялись. — Ну, ничего, машину поймаем. Хотя в такое время... Слушай, а тебе сегодня обязательно домой?

Она чуть замаялась, и этой заминки Топилину хватило, чтобы погладить ее по волосам, легонько прижать к себе, тронуть губами висок и сказать:

— Ты хорошая девочка. Я рад, что ты со мной.

Она ничего не сказала, только безропотно отдала ему уже снятый было с вешалки плащик.

Власта вообще мало говорила, в ней была какая-то заторможенность, словно решала что-то и не могла решить, какие-то весы все покачивались... Топилин не торопил, он примерно понимал ее состояние: берег, мостик, туда можно, а обратно уже никогда. И хоть знаешь, что надо, все равно придется, — но страшно, знобко от этого «никогда». Конечно же, первый мужчина — рубеж. Но и второй — рубеж, дальше пойдут остальные, многие, без порядковых номеров. Мужчина-то второй, а измена первая. Пусть бросившему, даже обманувшему — все равно измена, тяжкое решение, бесповоротный отказ от одной на всю жизнь любви. В Пловдиве, на симпозиуме по современной семье, женщина-психиатр рассказывала, что большинство болгарских алкоголиков толкнула к спиртному именно первая измена мужу: болезненный переход в статус неверной жены требует мощной анестезии...

— Ну, что, — сказал он, — разделим обязанности? Ты моешь посуду, я стелю? Или наоборот?

Власта чуть пожала плечами и, не дождавшись однозначного указания, собрала тарелки и стаканы. Она и дальше все делала по его слову — нет, не из покорности, просто уступала ему бремя решения так же естественно, как при посадке на поезд женщина оставляет мужчине более тяжелую вещь. И когда Топилин спросил, не хочет ли она принять душ, не сразу, но встала и медленно пошла в ванную.

Имя, в котором, как далекий гром, погромыхивала власть, ей не шло, уместней было бы что-нибудь помягче.

— Не запирайся, — сказал он вслед, и она не заперлась.

Не мальчик, не дурачок, бывалый мужик, прекрасно понимающий, что к чему, — сколько же раз попадался Топилин в сладкую ловушку первоначальной женской послушности! И сейчас попался — нежность закрутила, смяла, сжала веки, выдавив влагу. Бог ты мой, много ли надо человеку для счастливого часа? Всего-то и нужен другой человек, дающий возможность себя любить, нуждающийся в тебе, и чем острее эта нужда, тем острее счастье. Когда-то студентом в Крыму вытащил из моря захлебнувшегося мальчишку и неумело, бестолково, но откачал. Где теперь тот мальчишка — а ведь помнится! И не он, пожалуй, должен Топилину, а Топилин — ему... И эта девочка — теплый грустный человечек. Вином ее зачем-то поил — чушь, убожество! Тут не вино, а цветы... хотя, с другой стороны, какие цветы в городе, где безвкусная вареная колбаса по талонам...

Душ, ровно шуршавший за дверью ванной, стих. Топилин негромко постучал и, выждав паузу, толкнул дверь в ванную. Власта стояла, завернувшись в полотенце. Он бережно вытер ее и бросил полотенце на крючок.

В тот момент он не мог понять, хороша она или нет. Хороша, конечно же, хороша. Совсем своя. Родная душа, родное тело. Вот он ездит, читает лекции, дружба, товарищество, любовь, семья со всеми ее нерешимыми проблемами... Сколько слов, сколько формул придумано! А единственная истина — вот эта девочка, опустившая голову, скованная, кожа в мурашках.

Первый, взрывной период любви французы называют слепой неделей. Топилин вспыхивал быстро, знал это за собой, любил слепнуть, и каждый раз казалось, что эта неделя будет долгой, на годы, и каждый раз мозжечком, что ли, помнил, что в неделе всего-то семь дней. Ну, десять. Ну, пятнадцать. Как раз командировка. Бог с ним, он не математик. Лишь бы дольше держалась счастливая способность внезапной слепоты.

Он осторожно обнял напряженное влажное тело и снова коснулся губами виска. Страсти не было, только нежность. И слова рвались нелепые, сентиментальные, как у неумных родителей над годовалым потомком. Как же было здорово, как сладко было в тот момент!

А потом получилась глупость. Топилин шлепнул ее легонько — просто хотелось прикоснуться к нежной молодой коже:

— Прямо персик, — сказал он, да еще приторно-ласковым голосом.

Откуда выскочило дурацкое слово, пылившееся в памяти то ли со студенческих, то ли даже со школьных лет? Тогда персиками называли девочек, и звучало это чем-то вроде комплимента. Но у каждого времени свой жаргон.

Топилин и подумать не мог, что одно дурацкое словцо сработает так непоправимо. Увы, сработало.

Он увидел, как девочка мгновенно съежилась и напряглась — послушное, доверчивое существо ошетинилось всеми своими иголками и неприязненно зафырчало, будто кошка, загнанная в угол. Власта завернулась в полотенце и сразу стала чужой, взгляд настороженный, даже враждебный. Теперь между ними была словно бы слюдяная стена.

— Ну, чего ты? — виновато сказал Топилин. — Все это ерунда.

В общем-то, он понимал: права девочка. Сама пришла, сама хотела остаться — но не так. То, что едва возникло между ними, грубо покалечила его плотоядная похвала — ей не хотелось стать десертным блюдом умного командированного, да и ему этого не хотелось... Но вылетевшее слово, как обломившийся болт в работающем двигателе, уже вершило свою разрушительную работу.

Опытный человек, он, конечно, сгладил бестактность, мягко увел разговор в сторону от опасной грани, вспомнил что-то посторонне-печальное, даже прочел, подойдя к ним как бы случайно, красивые и горькие стихи: «Мы — плененные звери, скулим, как умеем, крепко заперты двери, мы открыть их не смеем...»

— Чье это? — спросила она.

— Федор Соллогуб, десятые годы, серебряный век русской поэзии, — вздохнул Топилин, и видимость мира была восстановлена, хотя он по-прежнему чувствовал: того, что могло бы быть, не будет.

Того и не было. Правда, девочка осталась: время было позднее, третий час, да и смешно современной молодой горожанке явиться ночью к мужчине, принять душ и уйти. Девочка осталась и выполнила свои женские обязанности, но именно что выполнила, вяло, как школьница нелюбимый урок. Обоим было неловко, и это не отпустило их в сон: Топилин снова приласкал ее, и она постаралась, показала все, что умела, но и на этот раз души их не обнялись, все вышло буднично, словно она сдала экзамен на разряд, а он вписал ей в зачетку проходной балл. Да, женщина. Взрослая. Молодец.

Через день она пришла к нему снова, и они попытались переписать набело первую, с пометками, ночь. Вышло лучше, но не намного. Не сошлось, думал Топилин. Или вообще она не по этой части?

Еще удалось перед отъездом вкусно ее накормить, и эта радость от общения была, пожалуй, самая большая. На вокзале он чмокнул ее в щеку, она тоже потянулась к нему губами... Простились хорошо, но больше по-дружески. Она спросила, можно ли ему писать, и он дал домашний адрес, объяснив, что у них в доме не в обычае цензурировать чужую переписку.

Потом от нее пришло два письма, он ответил. Письма не были необходимые — просто обоим было жаль рвать тонкую ниточку, неизвестно зачем связавшую их в случайный час. Некоторое время спустя пришло третье письмо, Топилин замотался и не ответил — собственно, к этому моменту он уже вовсе не знал, о чем писать и зачем писать. Иногда, вспоминая Власту, Топилин пытался понять: а девочке-то зачем понадобился этот беглый неловкий роман? Зачем пошла с ним в гостиницу? Зачем осталась? Зачем еще раз пришла? Страсть? Куда там. Была бы страсть — и вопросов бы не возникало...

Потом он как будто понял. Девочка просто была порядочной — по-сегодняшнему порядочной. За все в жизни надо платить, ведь так нынче принято. А чем ей было платить за совет, который Топилин, как равнодушный адвокат, бросил ей мимоходом, между двумя стаканами плохого вина. Нехорошо вышло, словно бы остался в долгу, а оставаться в долгу он не любил — это противоречило его скромному кодексу чести. Не одалживаться, не зависеть, не угождать. Не так уж много, да. Но достаточно, чтобы уважать себя по минимуму. А на максимум Топилин давно уже не претендовал.

Тем не менее воспоминание о встрече осталось приятное — розовый лоскуток, из каких впоследствии наша память выклеивает образ прошлого, может быть, и иллюзию, но позволяющую спокойно доживать, не жалея о несостоявшемся, не коря судьбу, что обделила. У всех было, и меня не обошло, я тоже жил...

Года три спустя пришло письмо, он не вспомнил фамилию на конверте. Но редкое имя в конце листка узналось сразу и потянуло за собой все остальное. Она писала: «Ездил недавно в Кострому и на заборе увидела афишу с Вашей фамилией — к сожалению, старую. На какие-то три недели не совпали. Жаль — хотелось бы увидеться и поговорить. Вы, наверное, изменились, я тем более, кое-что в жизни стала понимать. Поняла и то, насколько тогда Вы были правы. Вообще та встреча мне довольно сильно помогла. Вам было не до моих проблем, я это поняла быстро и немного обиделась. Но потом поняла и другое: умный человек, даже если он к твоим делам равнодушен, все равно скажет что-нибудь умное, просто по инерции».

Дальше шли малоинтересные местные новости: экспериментальный театр-студия, митинг «зеленых», неформальный клуб политических проблем — все, как везде. Видно было, что Власту эти новшества волнуют средне, Топилина они не волновали совсем. А в конце просила, если вдруг окажется в их краях...

Номер телефона дала рабочий.

В их края Топилин не собирался, но на письмо ответил, попросив подробней о себе — было любопытно, во что превратила жизнь начинающую женщину. Месяц спустя пришло еще письмо, но о себе опять было мало, практически ничего — что читала, что смотрела, какого начальника к ним прислали (она работала в НИИ техником, на сто тридцать). Не хотела о себе? Не умела? Не знала, что в теперешней ее жизни интересно ему?

Топилин снова ответил. Он валялся с гриппом, голова тупая, свет не мил — а тут еще не ко времени, перед самой зимой, пошли дожди... Написал по настроению, все письмо из жалоб — на грипп, на голову, на погоду, на поездку в Болгарию, которая сорвалась... Поплакался, заклеил конверт — и вдруг почувствовал, что ниточка между ними, когда-то оборванная, опять протянулась.

Когда выяснилось с Ригой, он позвонил по тому телефону и позвал приехать. Она согласилась сразу. Голос был негромкий, скрыванный — впрочем, особых эмоций с рабочего места Топилин и не ждал: у техников на сто тридцать отдельных кабинетов не бывает.

В день, назначенный телеграммой, Топилин с утра отчитал лек-

цию, потом легко, без супа, пообедал, взял такси и поехал встречать. Аэропорт был недалеко, можно бы и автобусом, но Топилину хотелось, чтобы весь этот день вышел праздником. Пока так и получалось: лихо прочитанная лекция, легкий обед, такси... Да и сам он, отоспавшийся за неделю, моложавый, удачливый, едущий встречать ради него прилетевшую молодую женщину, вполне соответствовал заданному настроению дня. Самолет бы не опоздал, думал Топилин, — ему не раз приходилось сидеть в аэропортах, и он знал, что эта процедура любую радость способна превратить в кошмар. Но и тут повезло — о прибытии объявили минут за десять до положенного часа.

Еще была задача узнать Власту; за минувшие четыре года лицо в памяти стусебалось. Но когда пошел народ с самолета, выяснилось, что выбор невелик: мужчины и старушки в счет не шли, по летам и облику подходили три-четыре кандидатуры, да еще и Власта сама помогла улыбкой и взмахом руки.

Они поцеловались — клюнулись губами. Теплая дружеская встреча — он определил бы это так. У Власты была только сумка. Топилин подхватил это элегантное изделие ближних границ, и они успели к стоянке такси в числе первых, ждать не пришлось.

Изменилась ли Власта? Да, изменилась. Оформилась. Яркая молодая женщина в своей самой победной поре. Модная куртка, голубая в снежных разводах, рейтузы в обтяжку на длинных ногах забраны в короткие сапожки, на голове как символ самобытности и независимости фасонистая кепка с гербом неясных кровей. Техник на сто тридцать? М-да...

Они сидели на заднем сиденье, Топилин обнимал ее за плечи и думал, что, если бы какая-нибудь мистическая сила выдала ему на разграбление только что прилетевший самолет, он бы взял именно Власту. Здорово, что к нему прилетела как раз она. И грабить не надо.

— А ты изменилась, — сказал он.

— В какую сторону?

— Была симпатичным гадким утенком, а теперь...

Этот не слишком изобретательный комплимент гостя приняла как должное. Она вообще была холодно-невозмутима, словно все происходящее — чужой город, такси, мужская рука на плече — было органичной частью жизни, которой она теперь жила. И опять Топилин подумал: техник на сто тридцать...

Номер для нее Топилин не заказывал и теперь чувствовал от этого некоторую неловкость — ему вовсе не хотелось, чтобы она ощутила как бы ловушку, обязанность лечь в постель с мужчиной просто потому, что иной койки нет.

— Насчет комнаты пока неясность, — соврал он, — к вечеру, возможно, будет, завтра уж наверняка. В крайнем случае у меня в номере вполне пристойный диван...

Она и тут не среагировала: похоже, вопрос, имевший для него некоторое значение, ее не волновал никак.

В гостинице, когда поднялись в номер, она подошла к окну и

спокойно, почти равнодушно, оценила сосновые верхушки под серым небом:

— Хорошее место. Красиво.

Потом отошла и села на диван. Меньше всего она походила на женщину, прилетевшую к мужчине.

Топилин слегка растерялся. Повторялась давняя ситуация: как тогда, он не знал, зачем она пришла, так теперь не знал, зачем прилетела.

Он задал вопрос, уместный при всех обстоятельствах:

— Есть хочешь?

Она чуть поколебалась:

— Можно.

— Как предпочитаешь — плотно или своеобразно?

— Своеобразно, — улыбнулась она.

— Тогда пойдем в кафе. Тут штук десять маленьких кафешек, и в каждом что-то свое. Фирменное блюдо. Хотя мелочь, да по-своему. Когда я приехал сюда в первый раз — вообще... Даже в столовках была лососина, угря давали...

— А это что?

— Угорь? Рыба, но похожая на змею.

— Вкусная?

— Может, даже самая вкусная.

— А куда она девалась?

— Куда все, туда и она, — вздохнул Топилин. Он уже жалел, что пустился в воспоминания. Тоже еще король жизни! Наболтал про лососину, а теперь пойдет кормить девушку котлетой или сосисками... — Может, все-таки плотно? — переспросил он. — Тут внизу ресторан...

— Нет, — сказала Власта, — лучше своеобразно. Я столько слышала про здешние кафе. Но, вообще-то, как вы хотите.

Местоимение возникло в ее речи случайно, она, наверное, ему и значения не придавала, но Топилин подумал, что отношения определились. Два поколения, отцы и дети, «ты», но «вы». А то, что было, было давно и вообще не имеет значения. Конечно, он понимал, что на фразу не молятся — сейчас сказала так, через час иначе, — но он решил, что молотить кулаками в запертую дверь не станет. Пусть решает сама. «Вы» так «вы».

Ужин получился скромный: кофе, ватрушка, мороженое и какая-то сладкая мелочь. Но девушка осталась довольна. Ей понравилось все: и кофе, и ватрушка, и глухие шторы, зелено-желтые с нежными переходами из цвета в цвет, и живопись на стенах из жизни рыцарей, и вежливый официант-латыш. Понравилась и улица, которой шли туда и обратно, закрытая для машин, аккуратно выложенная плиткой, с мягкими фонарями и маленькими магазинчиками по сторонам. Миниатюрные витрины привлекали, но Власта не останавливалась ни у одной.

В номере включили телевизор. Хотели узнать погоду, но по инерции проглотили и следующую передачу, киножурнал, двадцать ми-

нут новостей, из которых самой волнующей оказалась та, что в сельских районах Пермской области нет мыла.

— У нас в городе тоже нет, — сказала Власта.

— Здесь есть, — успокоил Топилин, — можешь воспользоваться случаем.

Она улыбнулась и пошла в ванную, прихватив с собой сумку. Он разобрал постель и лег. Диван застилать не стал, но вытащил из шкафа второй комплект белья и положил на кресло рядом. Страстями он не пылал. «Ты», «вы» — какая разница. Пусть решает.

Она вышла из ванной в тонком халатике и, остановившись у зеркала, поправила волосы. Халатик был красивый, явно не отечественный, порода чувствовалась. И опять Топилин подумал: техник, сто тридцать рублей... Власта обернулась и посмотрела на него. Ни вызова, ни вопроса — посмотрела, и все. Он подвинулся к стене, вновь передав ей очередь хода. Она села на край кровати, сбросила халатик и легла.

— Я рад, что ты приехала, — сказал он, потому что другой фразы не нашлось.

— И я рада тебя видеть.

Значит, все-таки «ты»...

...Потом она спросила, можно ли будет посмотреть Домский собор. Он ответил — конечно, посмотрим, все посмотрим, что захочешь. В Сигулду можно съездить, в Тукумс, в Елгаву, в Кемери. Он понимал, конечно, что всюду не успеть, да и зачем — зима, но приятно было порадовать девочку обилием возможностей и приятно было побаловать слух экзотикой иноязычных названий.

Застилать диван Власта не стала, так и уснула рядом с ним. Топилин мог только позавидовать ее способности мгновенно отключиться.

Обычно на ночь он читал, пробегал глазами всю периодику, что попадалась под руку, хоть свежую, хоть ветхую: во-первых, легче засыпалось, во-вторых, что-то занятное все же застревало в памяти, заполняло какую-то клеточку в мозгу, а потом в нужный момент вдруг выталкивалось на поверхность, чаще всего на лекции, неожиданностью ассоциаций поражая аудиторию, — казалось, человек, способный связать столь разнородные вещи, знает вообще все. Эрудиция только выглядит универсальным магазином с аккуратными полками — на самом деле это тележка старьевщика, плюшкинская куча в захламленном углу памяти... Но сегодня он газетами не запасся, и теперь чувствовал легкую тоску, как курильщик по сигарете.

Власта спала, повернувшись к нему спиной, ровное дыхание создавало ощущение покоя и уюта. Но Топилин не мог избавиться от странного чувства недоумения и — жалости, что ли? Хорошая девка и к нему хорошо относится, это видно, но... Зачем она все-таки прилетела?

Опять все было, как четыре года назад, — она добросовестно отбыла свою постельную повинность. Повзрослела, стала уверенней — это да. Честно постаралась, чтобы он был доволен, ему тоже

пришлось постараться — отработали в паре все что положено. Но — зачем это ей? Ради такого не летают из города в город.

Просто хотела посмотреть Ригу? Не исключено. Что ж, надо будет с ней походить, поездить. Рига — это праздник, именины души, как Париж для Хемингуэя. Город, к сожалению, меняется не к лучшему, шумно, людно, машин полно — но все равно праздник. Внизу теснота, зато там, где шпили, где узкие окна под старинными высокими крышами, — там по-прежнему простор, отрада глазу, и до сих пор, если задерешь голову, дуреешь от бесплатной неогороженной, любому взору открытой красоты...

Она ведь поговорить хотела, посоветоваться, вспомнил Топилин, уже засыпая.

* * *

На следующий день поехали в Ригу. Электричка шла лесом, справа сосны, слева станции, поселочки, но и там зеленое задавало тон: дома и дачки едва виднелись за стволами. Две-три крыши поднимались над кронами — боевые башни цивилизации, санатории престижных и могущественных ведомств.

— Хорошо, что все тут в лесу, — сказала Власта.

— Еще бы! — отозвался Топилин. — И ведь, между прочим, город!

— Город?

— Да. Все эти дюны и сосны — город, курортный город Юрмала. Раньше тут даже дома не разрешали строить выше сосен. Теперь строят.

— Зачем?

— Цивилизация, — вздохнул он, — удобств все больше, а жить все хуже.

Власта приняла это объяснение без особого интереса. Топилин не обиделся, но постарался ее равнодушие понять. Понял так: она о Юрмале не знает практически ничего, и новой информации просто не за что зацепиться. Это как если бы, допустим, он сам узнал, что в Австралии вдвое выросли площади под репой. Выросли — ну и что? Вдвое — много это или мало? Может, сажали грядку, а теперь две? И зачем австралийцам репа? Сами едят или кормят каких-нибудь кенгуру?.. Тут он усмехнулся и подумал, что ему, пожалуй, и эта информация на что-нибудь да пригодилась бы. Скажем, к вопросу о традициях: вон в Австралии и то вдвое увеличили площади, а мы ее, исконную и воспетую...

— Вы что? — спросила Власта.

— Да так, вспомнил...

Опять «вы»...

В Риге было сыро, снег пятнами лежал лишь на газонах, а на тротуарах и мостовых его истоптали и изъездили в слякоть. Но Власта то и дело задирала голову, Топилин вместе с ней, и настроение повышалось само собой: Рига и в слякоть Рига.

Домский собор был закрыт, они обошли его кругом, потоптались

на маленькой, как бы домашней, старинной площади. У стены собора стояли трое с плакатом, две бабуся и парень лет шестнадцати. На плакате было несколько фраз по-латышски.

— Это кто? — спросила Власта.

— Пикетчики. Видимо, протестуют.

— Против чего?

— Не знаю.

— А почему по-латышски?

— Потому что они латыши. Их земля, их язык. Мы ведь у себя тоже пишем по-русски, а не по-китайски.

Власта посмотрела на пикетчиков с осторожным уважением:

— Они националисты?

— Как сказать... Пожалуй, нет. Тут русские всегда жили, и никакой вражды не было. Просто сейчас время такое...

— А чего они хотят? Чтобы все говорили на латышском?

— Да нет. То есть, конечно, на этих плакатах всякое пишут. Но понимаешь — язык только символ. Тут все глубже. Даже не культура — быт разваливается. Вот я сюда впервые приехал студентом... Понимаешь — это была страна. Латвия. Архитектура, люди, манера поведения — все свое. Видела рынок у вокзала?

Она кивнула.

— Так вот, все эти огромные ангары были полны. Масло, творог, сметана, колбас сортов пятнадцать, наверное. Одних грибов четыре ряда. А рыбы...

— Хорошо жили?

— Это не главное. Была какая-то стабильность, уважение к себе. Вот я сказал — сметана. А что такое сметана? Она ведь и сейчас есть. Но тогда стояла баба на рынке с вот таким ведром, и если ложку воткнешь, ложка должна торчать. Торчит — тогда сметана... Мелочь, конечно. Но человек, который везет на рынок такую сметану, уважает и себя, и свое дело, и свою страну. А теперь рынок — одно название: павильоны те же, а внутри госторговля, рыбные консервы.

Топилин увлекся и продолжал, уже не слишком заботясь, слушает она или нет:

— Это был город для жизни. И леса вокруг грибные. И реки чистые. И в заливе купались. И говорили спокойно, никто не орал. И в каждой столовке был хлебный суп со взбитыми сливками.

— Это вкусно?

— Дело даже не в том, что вкусно, — главное, он был... — Топилин вдруг оживился: — Слушай, тут кафешка поблизости, зайдем? Вдруг и сейчас что-нибудь перепадет?

Кафе он нашел довольно легко. Но у входа переминалась с ноги на ногу очереденка человек в десять. Стоять не хотелось, пошли в другое место. Там очереди не было, но не было и хлебного супа. Впрочем, поели неплохо, и официант даже порывался отсчитать мелочь. В кафе было уютно, уходить не хотелось, и Топилин заказал еще кофе, просто чтобы был повод подольше посидеть в покое и тепле.

— Как ты жила эти годы? — спросил он наконец о том, что его, собственно, и интересовало.

Она немного подумала:

— По-разному. Вообще-то ничего. На уровне. Хотя могло быть и лучше.

— Понятно, — кивнул Топилин.

Его всегда раздражала эта современная обтекаемость, фразы пустые, как картонные коробки, сваленные в кучу позади овощного ларька. Раздражали многозначительные разговоры, которые могли означать что угодно и потому не значили ничего. Но приходилось сдерживаться. Он и сейчас сдержался, понимая, что Власту не в чем винить: нормальное дитя времени. Великая эпоха создала свой безликий язык и прекрасно им обходится...

— Замужем была?

Она снова помедлила:

— Частично.

— То есть?

— Было что-то вроде. Но недолго, месяца два.

— Не понравилось?

Она пожала плечами.

— Ты его любила?

— Нет. Пожалуй, нет. Просто так вышло. Парень довольно интересный, во Дворце культуры дискотеку вел. Нравился, конечно, особенно сначала. Как-то остался у него, на следующую ночь пришла снова — так вышло. Ну и...

— А чего разошлись?

— Ему это вообще не было нужно. Просто привык, чтобы кто-то готовил да стирал... До меня девочка была, сейчас новую нашел. Он не пропадет! Король дискотеки, любая будет счастлива.

— А тебе это зачем понадобилось?

— Я же говорю — так вышло. Во второй день засиделись, парень один обещал меня домой отвезти, но напился. Ну, а две ночи побыла — уже вроде так и надо.

— Тебе с ним хоть приятно было?

Она неопределенно поморщилась.

— А потом кто был?

— Никого.

— И как ты это переносила?

— Что?

— Что никого.

— А-а, — сказала она пренебрежительно, — это... Это — спокойно. Я без мужика на стену не лезу.

— И сейчас одна?

— Нет. Сейчас как раз нет. Есть парень.

— Давно?

— Месяца три. Как началось, я тебе написала.

Все-таки «ты»...

— На этот раз повезло?

— Тут сложно, — сказала Власта, — я и хотела с тобой посоветоваться.

Они допили свой кофе, просто сидеть было неудобно, и разговор сам собою отложился до лучших времен.

Они вновь прошлись по центру, по старинным улицам с новыми названиями, одинаковыми для всех городов, — даже сплошной ряд обувных, швейных и галантерейных витрин украшало почему-то имя Суворова.

На углу бульвара продавали цветы — под стеклянными колпаками рядом с зажженными свечками они были сохранны и свежи. Свечи горели, конечно, для тепла, и не более, но все это — цветы, слабое пламя, отблески в стекле — напоминало церковь в праздник и красивой печалью отзывалось в душе.

Впрочем, у Власты ассоциации, вероятно, были иные, потому что она сказала с уважением:

— Смотри, как здорово. Зима, а цветы.

— Это нормально, — отозвался он, в городе и должны быть цветы.

— Может, и должны, но у нас их нет.

Эту разницу — «у нас» и «у них» — Топилин заметил давно, довольно убедительно объяснил себе и не раз объяснял разным аудиториям. Объяснил и девушке, ночью делившей с ним гостиничную кровать.

— Маленький народ, — сказал он, — маленькая страна, нет чувства неограниченного пространства. Мы вот точно знаем: нужны цветы — значит, откуда-нибудь привезут. А им везти неоткуда, вся страна с ладошку. Значит — самим вырастить. И все так. Вот почему у нас где живут, там и свинчат? Все временные, все куда-то «намылились». Сельский начальник — в район, районный — в область, областной — в Москву. А московский начальник тоже ждет, когда наконец угодит послом в какую-нибудь Голландию. Слишком уж страна немерена, и эта немеренность у нас в крови. Волгу загадили — плевать, есть Енисей, да и его чего жалеть, когда Амур в запасе? А Латвия — как деревня с одним колодцем: если испохабят, другого нету, из него же и пить...

Он повернулся к Власте и опять удивился ее безразличному лицу. Она уловила его взгляд, слегка смутилась и отозвалась, не сумев, однако, скрыть равнодушия в интонации:

— Вряд ли у них что-нибудь получится.

— У кого — у них?

— У всех.

— Тогда не у них, а у нас, — жестковато поправил Топилин.

Она то ли согласилась, то ли не сочла нужным возражать. Дождь пошел сильнее, гулять расхотелось, и Топилин поймал такси.

В гостинице его ждала записка: «Вас просили позвонить...» Даже не сняв куртку, он сел к телефону. Смысла в этом не было никакого, просто сказалась московская привычка к спешке. Женский голос долго извинялся — с ним не согласовали, но и с ними тоже не со-

гласовали, так что это не их вина, а теперь они в совершенно безвыходном положении, уже афиша...

— В чем суть проблемы? — с вежливой твердостью прервал он эту невнятицу. Оказалось, вопреки договоренности о трехдневном антракте кто-то напутал, и на сегодняшний вечер назначена его лекция, уже афиша, люди придут, но это близко, в хорошем пансионате, очень уютный зал, разумеется, отвезут-привезут, и если бы он сумел пойти навстречу...

— Когда начало?

— В восемь, — с готовностью отозвался голос, — но если вам неудобно...

— Не надо, — перебил Топилин, — в восемь так в восемь.

Он положил трубку медленно, чтобы успеть нахмуриться:

— Черт знает что. Всегда у них так.

Она подняла светлые глаза:

— Что-то случилось?

Топилин поморщился:

— Обычный бардак. Была договоренность до воскресенья ко мне не лезть, и так у нас с тобой времени... И вот, пожалуйста: какой-то debil все напутал, повесил афиши... А теперь звонят и стонут.

— А что надо сделать?

— Да лекцию прочесть. Дел на два часа — но ведь вечер разбит! Могли бы хоть в кино сходить.

— А где лекция?

— Тут поблизости, в пансионате. — Это прозвучало довольно убого, и Топилин почти автоматически соврал, повышая собственные акции: — Какой-то пансионат привилегированный...

Тут же стало стыдно, но он молча утешил себя тем, что в столь изысканном месте, как Юрмала, все пансионаты привилегированные. Как он и надеялся, Власта спросила:

— А с тобой нельзя?

— Почему же нельзя, — по инерции ворчливо отозвался он, — можно.

Он был рад, что этот вечер проведет с ней, но на людях, рад был случайно свалившейся привычной работе. Надо отдышаться. За полтора дня он мало-то устал от общения с Властой, потому что общения, по сути, не было.

Умный, опытный, легкий в контактах человек, он чувствовал обидную неуверенность с этой, в общем-то, рядовой провинциалочкой. Она не таилась, отвечала на все его вопросы, но чего-то очень существенного в ней он так и не мог разглядеть.

Он давно уже понял, что как существует официальная и теневая экономика, так у каждого есть и две жизни. Топилин знал многих людей с их светом и тенью и уже привык, что тень почти всегда глубже и интересней. Да и сам он, вполне довольный своей открытой жизнью, никогда не смог бы отказаться от ее скрытой изнанки, необходимой, как острая приправа к полезной, но пресной еде.

Про Власту ему было известно многое, почти все, что на свету, плюс еще кое-что — он ведь сам был клочком ее тени. Но остава-

лось нечто неясное, может быть, даже главное в ней, и эта неясность раздражала и злила. Поэтому, наверное, и обрадовался возможности умело и свободно поговорить с незнакомым залом, раз уж не удалось пробиться к незнакомой девочке, так естественно скинувшей халатик у его постели...

Пансионат и в самом деле оказался привилегированным: сплошной модерн, огромные холлы, зеркальные окна на море, зимний бассейн, бар интуристских кондиций... Публика, впрочем, была межсезонная, всякая. Топилин, за два свободных дня слегка соскучившийся по работе, быстро разобрался в аудитории, уловил реакцию и провел лекцию легко, с удовольствием, даже с блеском, все время помня, что в зале ведь еще и Власта.

Потом их кормили, причем не в общей столовой, а в потайной комнате для лучших людей, ужин начался с балыка, а кончился кофе. Жалеть, что поехал, не пришлось.

Дома, в гостинице, Власта простодушно восхитилась:

— А как ты отвечаешь на вопросы? Ведь ты же не знаешь их заранее.

Топилин скромно отвел похвалу:

— Я этим чуть не двадцать лет занимаюсь. Должен был хоть чему-нибудь научиться.

— Ты эрудит?

Слова-то какие знает... Хотя вроде есть такая передача, вспомнил он и отмахнулся:

— Какой там эрудит! Просто не дурак.

— А почему их так много пришло? Из-за тебя?

— При чем тут я? День дождливый, скучно. А главное, афиша интересная. Вот назови лекцию... ну, допустим, «Мораль в социалистическом обществе» — ты придешь? И никто не придет. А если, например... ну вот так, скажем: «Экономические корни проституции» — будет аудитория?

Власта засмеялась:

— Одних шлюх ползала набежит.

— Вот видишь!.. Вообще-то годы впереди тяжелые. Раньше на лекции чего ходили? Газеты врут, ящик врут, начальство врут — авось хоть лектор чего путное скажет. А теперь гласность, правды под завязку. Да еще в кино голые бабы, по видеку порнуха. Конкуренция! Так что над афишами приходится голову поломать.

Дурачась, Топилин стал придумывать завлекательные названия. Власта тоже увлеклась забавой, глаза у нее поблескивали.

— Любовь еще котируется? — спросил он.

— Смотря с какой стороны.

— Ну, скажем... «Любовь в эпоху перестройки» — пойдет?

— Нет, — сказала она, — слабовато. И в перестройку не верят, и в любовь не особенно.

— А если — «Секс в эпоху перестройки»?

— Это ничего. Даже я пошла бы.

— Нельзя, — вздохнул Топилин, — дешево. Это уже рынок. А я человек интеллигентный.

Власта чуть подумала:

— А если и то, и другое?

— И любовь, и секс? — усомнился он. — А впрочем... — Он повертел фразу в мозгу, пока не улеглась поудобней, и лишь тогда попробовал на слух: — «Любовь и секс в эпоху перестройки»... А что? Похоже на истину, а?

— Кайф! — обрадовалась Власта. — То, что надо. Девки за тобой будут стадом ходить.

Топилин отшутился, но подумал, что название и в самом деле любопытное, надо как-нибудь попробовать...

После кофе в привилегированном пансионате сна не было ни в одном глазу. Самое время для разговора. Он поудобней откинулся в кресле и благодушно поинтересовался:

— Ну, так что там у тебя?

Она глянула вопросительно, потом поняла, о чем речь:

— Я сказала, у меня парень теперь...

— Ну и... — поторопил Топилин.

— Он хочет жениться.

— А ты?

— Вот я и хотела посоветоваться.

— Кто он?

— Вообще инженер. Но у него руки хорошие. Аппаратуру ремонтирует, в частности в дискотеке...

— Любишь?

— Любить, может, и не люблю, но если для жизни... У меня карточка есть, показать?

Топилин взял карточку и разглядывал ее минуты три. Черты лица были рядовые. Характер и судьба угадывались довольно легко — парень был откровенен, даже простодушен и тем привлекателен. Некрасив. Усики словно чужие. Брови привычно напряжены. Задумчивые, чуть растерянные глаза человека, которому надо что-то понять. Волосенки редкие, со лба сильно полысел.

— Сколько ему?

— Двадцать семь.

Рановато вроде... Впрочем, в эпоху чернобылей и всеобъемлющей химии можно облысеть и к двадцати...

— Так, — сказал Топилин, — ясно. Тебе все говорить?

— Само собой.

Он положил перед собой фотографию:

— Значит, так. Парень хороший, добрый. Молчаливый. Не слишком умный. Невезучий. Хочет быть, как все, но не получается. Старательный. С людьми сходится медленно. Банк не сорвет, но на жизнь заработает всегда. Родителей любит. С тещей уживется. Отец из него выйдет хороший. Тебя будет любить и прощать станет гораздо больше, чем ты этого заслуживаешь. Вывод? Лучшего мужа у тебя не будет никогда, да и не стоишь. Но, к сожалению, скорей всего разойдетесь — уйдешь ты. А потом будешь локти кусать.

Власта смотрела на него почти с испугом:

— Все точно! Как ты узнал?

Топилин слегка смутился:

— Ерунда. Не так уж трудно. Когда постоянно смотришь на людей... Так в чем проблема?

— Я же сказала: он хочет жениться.

— Так ты чего, благословения, что ли, просишь?

Она хмыкнула.

— Что тебя останавливает?

Ее взгляд ушел в сторону, она молчала долго, потом сказала без выражения:

— Я вообще хотела бы жить не здесь.

Поворот был неожиданный, и Топилин среагировал не сразу, успел вырваться глупый вопрос:

— А где?

— Где-нибудь, — сказала она, — но там.

— В Монголии? — спросил Топилин, осваиваясь в новой ситуации.

Власта снова хмыкнула.

— У тебя что, конкретный план?

— Пока нет. Просто хочу.

— С ним говорила?

— Закидывала удочку. Он не хочет уезжать. У него отец туберкулезный. И вообще это не для него.

Топилин вспомнил лицо на фотографии. Да, тут она права — заграница не для него. Такие в чужой земле не приживаются. Где родился, там и пригодился.

— Ты его не тащи, — сказал он, — путного не будет.

— Я и не тащу.

Она ожидающе посмотрела на Топилина.

— Ясно. Ну, а дальше? Давай уж все.

— А это и есть все.

— Небогато, — вздохнул он. — Значит, хочешь уехать?

Кивок.

— И что там будешь делать?

Пожатие плеч.

— А почему? Причина какая?

— Я же тебе говорила. По-моему, тут ничего не выйдет. Никто ни во что не верит.

— Ясно... Язык знаешь?

— Какой?

— Хоть какой-нибудь?

Она мотнула головой.

— Учишь?

То же движение.

— Евреи или армяне в роду были?

— Нет.

— А немцы?

— Откуда? У меня и отец и мать — рабочий класс.

— Иностранцы знакомые есть?

Она подумала немного:

— Пожалуй, нет. К нам ансамбль приезжал из Индии, встреча в клубе была, но я ни одного имени не запомнила.

Топилин усмехнулся и посмотрел ей в глаза:

— А тогда на что же ты рассчитываешь?

Власта сказала:

— Другие-то уезжают.

— У тебя какая профессия?

— Пока никакой, но...

— Н-да, — вздохнул Топилин.

Она возразила упрямо:

— Другие-то устраиваются.

Он с досадой pokrutil головой:

— Ну, народ! Да откуда ты знаешь, как другие? Устраиваются, да. Но, значит, у них что-то есть. Или квалификация, или язык, или родственники, или друзья... Ну хоть что-нибудь! Евреям и армянам община помогает, немцам государство дает. А такие вот... путешественники... Ты что думаешь, там нищих нет? Точно так же сидят со шляпой. И проституток навалом. И сортиры кто-то драит — кстати, чаще всего эмигранты...

— Слушай, — резко прервала она, — ну чего ты мне лекцию читаешь? Их проститутка живет лучше, чем наш профессор.

Топилин глянул на нее и запнулся — сразил не аргумент, сто раз слышанный, а выражение скуки на ее лице. И в самом деле, занесло, вещает, как на кафедре... Выручило лекторское умение сразу же восстанавливать оборванные контакты.

— Это наверняка, — согласился он, улыбнувшись. И объяснил примирительно: — Я ведь чего злюсь? Ну, решила ты уехать. Решила, и слава богу: твое право, жизнь одна, где нравится, там и живи. А дальше? А дальше, ты только не сердись, дальше Россия-матушка. Сплошное авось. Специальности нет, язык не учишь, валюту не копишь, с иностранцами не знакомишься... Ты не обижайся, ты подумай спокойно. Ну ладно, уехала. Вылезла из самолета в каком-нибудь там Амстердаме. Ну и что? Покрутила задницей — и тут же к тебе «мерседес» подкатил? В Амстердаме, моя радость, задниц своих хватает, тамошние девки на парной телятине растут... Ты права: у них тетка, которая на вокзале туалеты вылизывает, имеет больше, чем я. Но ведь и на такую работу надо устроиться. А как ты устроишься без языка?

Пауза вышла долгая.

— Я ведь как раз и хотела с тобой посоветоваться, — сказала она наконец, — ты же ездил, а я нет.

— Видишь ли, — Топилин пошевелил пальцами. Раздражение у обоих прошло, напряжение в разговоре исчезло, и он принялся спокойно рассуждать: — Ну, допустим, уборщицей устроишься. Или посуду мыть. Но не затем же ты хочешь уехать, чтобы всю жизнь полы скрести! Получать больше будешь, да. Но здесь ты хоть кто-то. Я вот увидел тебя — королева, да и только, сплошная фирма, тряпки советской нет... кстати, на какие шиши? — задал он как бы между прочим давно мучивший вопрос.

— Подрабатываю.

— Как, если не секрет?

Власта неохотно, но все же ответила:

— Я тебе говорила, парень у меня был... ну, из дискотеки. Там целая команда, человек пять, я тоже иногда помогала. С ним мы разошлись, но в команде-то осталась. Когда насчет зала договориться, когда билеты отвезти... Стольник в месяц набегаает... Ты не думай, у меня мало вещей, в основном все на мне. Курточку к Новому году подарили.

К Новому году — значит, уже в эпоху молчаливого парня с усиками. Хороший малый, только не светит ему...

— Вот видишь, — продолжал Топилин, — дома ты в команде, заметный человек, худо-бедно, а в толпе выделяешься, жениться на тебе хотят. А там ты кто будешь? Самая низшая obsлyга. Причем немая: «сeнк ю» — и весь разговор.

— Язык же можно выучить. — Она не столько утверждала, сколько спрашивала.

— Конечно, можно, — сказал он, — выучить все можно. На это как раз жизнь и уйдет.

Власта не ответила, и Топилин вновь уловил в ее лице выражение недоверия и упрямства. Опять заносит, спохватился он. И что это сегодня...

— Там хорошо живут, — сказал Топилин, — просто здорово. Из-за гроша не унижаются, в очередях не стоят. Но это другая жизнь. Вот представь: не в Америку, а, допустим, в Грузию переедешь или сюда, в Латвию, — тоже ведь годы пройдут, пока вживешься. А там не Латвия. И вот этот период живания, чтобы он прошел полегче... Все-таки нужен рядом кто-то свой. Чтобы хоть один человек был близкий. Тогда он тебя из одной жизни в другую за руку и переведет.

— Где же такого возьмешь? — вздохнула Власта.

Он развел руками. Помолчали. Она вдруг поймала его взгляд и спросила настойчиво:

— А тебе никогда не хотелось уехать?

— Мне? Нет, не хотелось.

— Почему?

— Просто так. Не хотелось, и все.

— Здешняя жизнь нравится? — чуть усмехнулась она.

— Кому же она нравится! А вот уехать не хотелось.

— Родину любишь?

— Можно и так сказать. А ты — нет?

— А за что ее любить? — с вызовом спросила Власта. — За талоны на сахар?

— А подбросят сладенького — полюбишь?

— Сладенького подбросят — кисленькое исчезнет. — И добавила убежденно: — Тут ничего не изменится. Совок так и будет совок. — Она с недоумением и укором посмотрела на Топилина. — Ты же умный. И язык, небось, учил?

— Ну, было, — признался он.

— А чего же тогда? У тебя есть там друзья?

— Приятели, — уточнил он. — ужином накормят, бутылку поставят. Но за руку не переведут.

— А сам не смог бы?

Он вскинул брови, как бы прикидывая:

— Да, наверное, смог бы, не дурей других... Ну, не хотел, извини — не хотел.

В нем вновь поднималось раздражение. Топилин не мог его унять и не мог понять его причину. В конце концов, и сам он в компании приятелей не раз говорил нечто подобное, причем теми же словами. Откуда же сейчас эта неприязнь к девчонке? Не оттого ли, что в их кругу ирония всегда обращалась против власти, а ее равнодушное презрительное неверие конкретного адреса не имело, относясь и к стране, и к народу, и ко всем старшим без исключения, а значит, и к нему самому?

— Я вообще не понимаю, — сказала Власта, — как вы все это время жили. Разве это жизнь?

— А чем не жизнь? — возразил Топилин миролюбиво: он умел многое, в том числе и владеть собой.

— Так ведь вранье кругом! Без просвета.

— Ну и что? Не нравится — не ври, вот и будет просвет.

— Я и не вру!

— И умница.

Теперь она тоже злилась, и это успокаивало.

— Ну вот как ты жил все эти годы? Лекции читал?

— Читал.

— Ну и какой результат?

— Не такой уж плохой. С тобой вон познакомился.

Она на шутку не откликнулась:

— И не обидно, что жизнь так прошла? Вот ты говоришь — застой, болото, а сам же в этом болоте всю жизнь пробарахтался.

— Между прочим, — проговорил он ровно и даже по-учительски покачал пальцем, — между прочим, эти самые болотные годы я вспоминаю с большим удовольствием. Совсем не дурная была жизнь. Дай бог, чтобы у тебя не хуже получилась.

— Ага, — сказала она, — значит, все было хорошо, да?

— Ну, не все, конечно, все хорошо вообще не бывает...

— А что хорошего-то?

— Много чего было.

— Вот что ты делал при Брежнев?

— При Брежнев? — переспросил он и с удовольствием ответил: — При Брежнев я, моя радость, главным образом жил. Причем, пожалуй, не хуже, чем сейчас. Всю страну объездил, за границей побывал, кооператив выстроил. Дочку вырастил. Машину купил. Впрочем, машину уже при перестройке...

Власта глянула на него недоверчиво: не могла понять — серьезно или валяет дурака.

— Ну чего смотришь? — усмехнулся Топилин. — Не веришь?

Совершенно зря — все так и было. Ты думаешь, я при нем страдал? Нет, не страдал. Я в волейбол играл, в горы ездил, вино пил в Абхазии — дай тебе бог когда-нибудь такое попробовать. А в основном при лично дорогом товарище я, прости меня, любил женщин. И вот тут я свою норму полностью выполнил. И по количеству, и по качеству. Ты у меня уже сверхплановая.

— Дотрахался, что сахара нет, — бросила она в сердцах.

— Сахара нет, зато ты есть...

От приятного поворота в дискуссии настроение у Топилина совсем поднялось, он притянул Власту к себе, привычным движением распустил «молнию» на джинсах — дальше получилось само собой. Он чувствовал, что ей сейчас ничего не надо, но она выполнила положенное, как хозяйка дома, которой в разгар увлекательной беседы, хочешь не хочешь, приходится ставить на стол ужин. Топилин не отказал себе еще в одном удовольствии: легонько шлепнул недавнюю оппонентку по мягкому месту и сказал, что именно так и надо разрешать конфликт поколений. Когда же она опять завела про минувшие годы, только отмахнулся:

— У нас с бровастым были слишком разные экологические ниши: он правил, а я жил.

— И никогда не хотелось с ним бороться?

— Да при чем тут он! Его под руки водили. Это система, машина. А лезть на бульдозер — занятие бесполезное: он ведь даже не заметит — раздавит, и все.

Власта вновь надолго замолчала, и Топилин понял, что его выводят из равновесия не слова, пусть самые злые, а вот эти паузы в разговоре. Спорить он умел и любил, в самой резкой полемике чувствовал себя прекрасно. Но реплика, оставленная без ответа, была для него оскорбительна, как протянутая и непринятая рука.

Она наконец проговорила:

— Вот поэтому мы ни во что не верим. Если бы вы тогда не молчали, может, и жизнь сейчас была бы не такая.

— Если бы тогда не молчали, — жестко отозвался Топилин, — сейчас в этой койке лежал бы с тобой кто-нибудь другой.

Они слишком заговорились, было поздно, около двух, ему хотелось есть, оказалось, и ей тоже. Все уже закрылось, даже ресторан внизу. Топилин достал кипятильник, и они выпили хорошего чаю с плохими конфетами, иных не водилось ни в местных магазинах, ни в гостиничном буфете. Топилин надел тренировочный костюм, Власта накинула было халатик, но он содрал его: это была не страсть, а мелочная месть — пусть помнит, что она не судья и не исповедник, а всего лишь женщина, приехавшая к мужчине. Но это не подействовало. Власта допила чай, помыла стаканы, помедлив, поняла, что пользоваться ее наготой он не собирается, забралась в постель и вдруг проговорила с вызовом:

— Но ведь некоторые не молчали!

— Кто? — спросил он.

— Сахаров.

Он согласился:

— Сахаров не молчал. А еще?

Подумав, она назвала Солженицына.

— Еще?

Она наморщила лоб, вспоминая. Не вспомнила.

— А были еще?

— Хм! Были... — Топилина передернуло от горечи. — Да сколько их было! До дьявола. В тюрьгу шли, в лагеря, спивались, с крыши бросались... Вот и ложись за вас под бульдозер! А вы потом даже имя не вспомните.

Опять пауза вышла долгой, но она не раздражала, потому что лицо у Власты было виноватое. Потом она спросила:

— А ты таких знал?

Он вновь усмехнулся:

— Знал... Да как же я мог их не знать? Наше поколение. Я же не на облаке жил. И приятели, и однокашники — кто только в эту мясорубку не попадал.

Топилин говорил сущую правду, и все же стало неловко, будто врал, будто присваивал чужие метания и муки. Он сбавил тон и объяснил деловито:

— Понимаешь, было такое движение... оно, в общем-то, и называлось — «Движение»... Не организация, не группа, просто участвовали, кто хотел. Самиздат распространяли, книги на ксероксе печатали — Булгакова, Набокова, сейчас и сказать смешно. Ну и, естественно, на кухнях истину искали, застойная гласность. Власть сперва не трогали, а потом стали давить. Пошли судебные процессы, черные списки, на работу никуда не брали... ну и так далее. Кто упирался, кто ломался, кто в сторону отходил. Мне вот повезло, женщины отвлекли. Ну и — беспартийный, исключать было неоткуда. Словом, пронесло, только краем задело. Всей беды — что карьеры не вышло, да я, в общем, и не особенно хотел... — Топилин не любил вспоминать те годы, да и не был уверен, что ей все это интересно, но и остановиться не мог, все пытался что-то важное объяснить то ли Власте, то ли себе самому: — Понимаешь, этот застой слишком затянулся. История вообще штука медленная, особенно в России: вон крепостное право тоже затянулось... на пятьсот лет. Конечно, у каждого поколения есть какой-то запас оптимизма. Лет на десять, пожалуй, хватает. А дальше? А дальше видишь — стена. И понимаешь, что в этом застое пройдет вся твоя жизнь. Вот и приходится решать задачу: как сохранить в себе человека? В старину говорили — душу спасти.

— Спасли?

— Частично, — ответил Топилин, — хоть на краешке, но удержались.

Больше к его душе Власта интереса не проявила, ее зацепило другое:

— Ну, а те твои знакомые... которых давили... Что с ними теперь?

Он пожал плечами:

— По-разному. Кто как. Кто депутат, кто в эмиграции, кого вовсе нет... Один, кстати, здесь живет, в Латвии.

— А кто он?

— Женька Солдатов. Хороший человек. Пять лет ему дали.

— За что?

— Да чушь всякая. Он инженер был по копировальной технике, ну и тиражировал кое-что. Каяться не стал, ему и пришили подпольную типографию.

— А сейчас что делает?

— Не знаю. Слышал, что здесь, но еще не виделся. Вот провожу тебя — съезжу.

— Он в Риге живет?

— Недалеко. Практически в пригороде.

Снова повисло молчание, и Топилин предложил, опережая ее вопрос:

— Если любопытно, можем вместе сгонять.

— Конечно, любопытно, — сразу отозвалась она. — Ни одного не знаю, чтобы сидел за политику.

Съездить к Женьке Топилин подумал еще в Москве, даже адрес взял. Но без Власты мог бы и не выбраться. Хотелось повидаться, очень хотелось, не по-людски — быть рядом и не заглянуть, но что-то мешало, тормоза какие-то, чувство неловкости, даже вины. Никакого греха за собой Топилин не знал, ничего дурного Солдатову не сделал — однако Женька сидел, а он нет. В одних компаниях кантовались, одни анекдоты травили, одну машинопись читали, пуская по кругу, — словом, шли одной дорожкой, только Солдатов держался ближе к краю. Сам выбрал, никто не заставлял. Но и тогда, когда узнал, что Женьку взяли, и теперь не оставляло ощущение нечистоты — будто гуляли вместе, а заплатил один. Глупость, а мучает.

* * *

Оказалось, действительно глупость.

Правда, Женька не сразу узнал, но, узнав, обрадовался, хлопнул по спине, забормотал bestолково:

— Смотри ты... Надо же... Вот это да!

Солдатов жил в красивом домишке, комнаты всего две, зато одна из них просторная, с большим окном в сад — гостиная. Туда Женька их и потащил.

— А это — девушка, — представил Топилин Власту — шутка из-бавляла от подробностей.

— Верю на слово, — Женька галантно поклонился. Он был в вязаной кофте с карманами, домашней, но годящейся и для гостей. И сад при доме был ухожен, и сам дом прибран вплоть до букетика в вазе. Прибалтика...

Жену Солдатова звали Ингрида, ей было лет тридцать, а может, и больше, попробуй разбери — таким моложавым возраст послушен, словно ручной пес. Худошавая, брючки в обтяжку, стрижка под студентку, легкая улыбка на живом лице...

— Смотри, — сказал ей Женька и кивнул на Власту, — видишь, какие женщины у умных людей?

— Так это же у умных, — ответила она, улыбнувшись Топилину, и он понял, что — все, подружались, притерлись, уже свои, совсем по-московски. Почти сразу же возник и стол, сало ломтями, капуста с клюквой, огурчики, грибы — и, естественно, бутылка, неизбежная при такой закуске.

— Ты прямо помещик, — похвалил Топилин.

— А как же, — согласился Солдатов, — натуральное хозяйство. Помаленьку растаем в капитализм.

Он расспрашивал про общих знакомых, реагировал живо, радуясь успехам и огорчаясь неудачам, но в детали не вникал, похоже, не очень и понимал их, словно Топилин привез новости не из Москвы, а из Марселя или Лиссабона.

— Ты-то как? — допытывался Топилин. — Ты сейчас кто?

— Я теперь большой человек, — ответил Женька, — кустарь-одиночка, независимый хозяин, окно в Европу.

— Фермер, что ли?

— Нет, я городской пролетарий. Вольный мастер по камню. Можешь считать, что ювелир.

— Вот тебе раз! — изумился Топилин. — Это как же тебя занесло?

— Жизнь умнее нас, — сказал Солдатов, — что ни делается, все к лучшему. Я же тогда... перед курортом... здесь работал, на заводе. Квартира была, мотоцикл. Ну, а потом... Уехал женатым, приехал свободным. От всего свободный: ни дома, ни работы, ни денег... Как горный орел! Жить как-то надо. Стал везде ходить — все говорят: не наше дело. Пошел даже к священнику — батюшка, помоги атеисту. А он говорит: сын мой, я всего лишь служащий Управления по делам культов. Ну, думаю, если уж бог не может помочь — кто у нас сильнее бога?.. Делать нечего, пошел в КГБ. Вы, говорю, у меня все отняли, отдайте хоть что-нибудь. Ну, они позвонили на кладбище, и я стал учеником камнереза. А потом мой мастер ушел на комбинат народных промыслов и меня перетасчил...

Водка шла на редкость хорошо, Ингрида почти не отставала от мужчин, только Власта задержалась на первой рюмке. Но и пили по-латышски, никто никого не неволил.

Естественно, не обошлось без политики.

— Ну, как вы тут, не отделитесь? — спрашивал Топилин.

Женька хрустнул огурчиком:

— А мне все равно. Лишь бы Ингрида от меня не отделилась. — И повернулся к жене: — Не отделишься?

— Как же я могу? — сказала та. — Я теперь не могу. Ты же мое партийное поручение.

Топилин не понял, но на всякий случай улыбнулся.

Ингрида объяснила:

— Когда он пришел к нам в мастерскую, позвонил какой-то начальник и сказал, что у нас теперь будет работать опасный человек, диссидент. А мне тогда было двадцать пять, я была парторгом, и мне

поручили за ним присматривать. Ну, я хорошая коммунистка. Велели присматривать — стала присматривать. Сперва днем, а потом и ночью. Когда узнали, что он ко мне переехал, начали меня исключать из партии. Но я приготовила речь с большими цитатами про гуманизм, про доверие к людям. Потом выступила моя подруга, она тоже за ним присматривала, но без поручения и только ночью.

— Когда это было! — защищался Солдатов. — Это же еще до тебя.

— Но все-таки было, — сказала она, — но ничего, тогда это даже помогло, все вместе отбились. А теперь мы работаем дома, сами себе хозяева, сколько сделаем, столько и получим. Хватает.

— А выслать его не могут? — спросил Топилин.

Ингрида вскинула брови:

— Кто?

— Он же все-таки инородец.

Вопрос был несерьезный, Ингрида так его и поняла:

— У нас на кухне есть два длинных ножа, мы встанем тут у двери, а дверь у нас узкая, так что нас оставят в покое. Все, что с нами могли, уже сделали, больше ничего сделать нельзя.

— По-латышски научился? — повернулся Топилин к приятелю.

— А как же! — гордо ответил тот. — Как я иначе пойму, о чем жена по телефону с мужиками треплется?

Приняли еще по рюмашке — за то, чтобы всем хорошим людям жилось хорошо. Эх, если бы тосты сбывались!

— А ты чего сюда? — поинтересовался Солдатов.

— Лекции читаю.

— Хорошее дело. Ничего платят?

— Жить можно, — сказал Топилин, ему не хотелось при Власте о деньгах.

— А девушка? — спросил Женька.

— Девушка? — Топилин обнял Власту за плечи. — Девушка за мной присматривает. Как бы чего лишнего не сказал.

Посмеялись.

— А за что вас посадили? — спросила Власта. Это была ее первая содержательная фраза в чужом доме.

— За дело, — ответил Женька, — тогда время было серьезное, без дела не сажали. Распространение антисоветской литературы! Тогда за сегодняшний «Огонек» червонец бы кинули не глядя. А я был злонамеренный, я Маркса по ночам читал. Мне следовательно так и сказал: кто за советскую власть, тот Маркса днем читает.

— А не жалко, что так случилось? — шутливый тон Власта явно не приняла.

Солдатов зацепил вилкой ломтик сала и сказал добродушно:

— А ничего страшного не случилось. Не взяли бы меня тогда, сейчас бы тут, — он кивнул на Ингриду, — сидела другая баба.

— Еще хуже, — встала та, сверкнув ровными зубами.

— Во! — одобрил он. — В точку!

И опять Власта не улыбнулась:

— Но ведь пять лет из жизни выброшено. Неужели не жалко?

Женька ответил неожиданно серьезно:

— Это вовсе не были выброшенные годы. Это были хорошие годы. Нигде так не узнаешь людей, как на нарах. Тут мы живем среди вещей. А там нет вещей. Люди, и все. И каждый виден, как он есть. Это были очень полезные годы.

— Ну а нынче-то как? — спросил Топилин. — На митинги не ходишь? Сейчас ведь твое время.

Солдатов засмеялся:

— Хватит, я свое отработал. Приходили тут ребята куда-то выдвигать, — нет, говорю, парни, вы уж валяйте сами. Я только и умею запрещенную литературу распространять, а сейчас запрещенной нет... Распили бутылочку, и на том моя политическая карьера кончилась.

Власта слегка пошевелила плечом, и Топилин, не дожидаясь, пока оно уйдет из-под ладони, сам снял руку. Никто не уловил этот мини-бунт, Топилин же сделал выводы. Хочет независимости? Что ж, пусть будет независимой. В конце концов каждый имеет право на настроение, и глупо ломать волну, когда она встает на дыбы, надо просто дожидаться, пока сама опадет. Побеждает тот, кто не борется.

Налили по новой, и он заметил, что Власта выпила со всеми, хотя и скривилась потом.

— Так что ты все-таки делаешь? — спросил он Женьку.

— Все то же, — ответил тот, — камушки. В основном янтарщик. С агатом тоже работаю, с яшмой, если красивая, иногда малахит. С камнем сейчас проблемы, но жить можно.

— Кормит?

— Как видишь, — улыбнулся Солдатов, и улыбка задержалась на лице. Пьян он не был, нет, но уже обозначилась благодушная расслабленность человека, не зря севшего за накрытый стол.

Он повел их с Властой в подвал, в мастерскую, включил маленький станочек и на глазах у них из тусклого, как перестоявший чай, камня минут за десять выточил блестящий янтарный перстень. Глянул на свет, проверяя, показал Топилину и надел Власте на палец.

— Королевский подарок! — восхитился Топилин, разбиравшийся в янтаре.

— Ты же не каждый день ко мне приезжаешь...

Простились совсем по-братски, клялись заезжать, звонить, писать... Вторую бутылку добили уже стоя.

В такси выяснилось, что выпито не так уж и мало. Власта дремала, прислонившись к дверце. Топилин прикрыл глаза, пытаясь остановить колеблющийся мир, потом передумал — пусть качается. Он был рад, что у Женьки все сложилось, не сломался, не спился, жена хорошая, дело в руках. А больше всего был рад, что опасения напрасны и ничто между ними не стоит. Друзья. Двадцать лет знакомы, даже больше. Конечно, друзья.

Гостиница уже спала, швейцара пришлось ждать долго, но десять минут на легком морозце пошли только на пользу, оба оклемались. Швейцар спросонья был злой и сквозь стеклянную дверь тре-

бывал показать гостиничные карточки. Топилин показал пятерку, и все обошлось.

В номере, когда Власта стаскивала сапоги, Топилин спросил: — Ну, как тебе живой диссидент?

— Мне бы такого, — буркнула Власта, не подняв головы.

Фраза была не без вызова, но Топилин решил его не замечать:

— Что ж, попытай счастья.

— Не выйдет, он жену любит.

И это было произнесено как бы в укор Топилину.

— Так ведь и жена того стоит.

— Жена — просто идеал, — завистливо вздохнула Власта.

— Когда-нибудь и ты такой станешь, — щедро пообещал Топилин. Для серьезного разговора было поздно, да и состояние не располагало. Она вдруг спросила:

— А ты жену любишь?

— Свою? — глупо переспросил он.

— Чужих все любят.

От этого вопроса отбалтываться не хотелось, и Топилин собрался с мыслями:

— Конечно, люблю. Кого и любить, как не жену. У человека обязательно должно быть что-то прочное. Жизнь у нас — бардак, каждый тянет к себе. А с хорошей женой — как два солдата в одном окопе. — Он назидательно потыкал пальцем ей в грудь. — Мой тебе совет — найди якорь понадежнее, вцепись зубами и держись.

Власта с горечью отозвалась:

— Было бы за кого держаться...

За день оба так умотались, что уснули почти сразу, каждый на своем боку, спина к спине. Если и было что выяснять, сил на это, слава богу, не хватило.

* * *

За завтраком Власта сказала, что хочет съездить в город, походить по магазинам. Топилин вежливо предложил составить компанию. Она так же вежливо отказалась. Предлагал он и денег на покупки, но и тут ответом был мягкий, но неизменный отказ. Пожелала ему хорошего дня и уехала. Договорились встретиться вечером и сходить наконец в ресторан — не уезжать же без отвалной, как сформулировал Топилин.

День он провел прекрасно: спустился к берегу и по влажному упругому песку пружинисто прошагал до Булдури, а потом, уже просто гуляя, назад, но лесом, балуя глаз разнообразием. Обедать не стал, вместо этого прошелся по кафешкам, в одном месте взял серый горох со шкварками, в другом выпил кофе, а в третьем, завершая программу, вытянул через соломинку молочный коктейль. По сравнению с последним его приездом в Латвию гастрономических роскошеств заметно поубавилось, но обаяние полу-Европы осталось.

Перед вечером Топилин еще раз вышел просто поглядеть на

залив. Поднялся ветер, он налетал с моря короткими мощными порывами, и любопытно было глядеть на чаек, как они старались пробиться к воде, а ветер отшвыривал их к дюнам.

Топилин думал о разном, но мысли возникали беглые, несущественные, и это тоже было приятно, словно и мозг после московской напряженки получил возможность вольно прогуляться по пляжу. Как же здорово вышло, думал Топилин, и в себя пришел, и друга встретил, и с девочкой повидался. Впереди были еще сутки с Властой, какими окажутся, неизвестно — но, в общем, и не так уж важно: ведь то, что произошло, уже произошло, и при любом продолжении будет помниться и греть долго.

Топилин вернулся в номер, сел в кресло с газетой и стал ждать Власту. Надо будет накормить ее получше, думал он, так, чтобы запомнила. А то вышло — глупее не придумаешь: девчонка все бросила, прилетела на три дня, и на тебе — сцепились на скользкой почве патриотизма. Что она — идеолог, дипломат? Она к нему прилетела! Вот и пусть увезет ощущение праздника...

Власта позвонила около восьми и сказала торопливо, что задержалась, но постарается вырваться побыстрее.

— Давай, давай, — успокоил Топилин, — я дома, жду.

Он почувствовал, что голоден, и решил перехватить что-нибудь в буфете на этаже. Пока она доберется до Риги, пока примут заказ и подадут... Кстати, откуда ей надо вырваться?

Перекусив, он вернулся в номер и принялся смотреть телевизор. Передачи были довольно любопытные, время шло незаметно, и даже волны на экране не слишком действовали на нервы. Телевизор казенный, ничей — откуда же взяться качеству...

Часам к десяти стало ясно, что идея ужина-праздника себя изжила. Топилин воспринял потерю философски: значит, не судьба. Он вновь сбежал в буфет и купил десяток пирожных: на случай, если явится голодная.

Новый звонок раздался уже после двенадцати.

— Прости, так вышло, вот видишь, — услышал он ее сбивчивый голос, — думала, быстрее...

— Да что случилось-то? — почти крикнул он. — Я же беспокоюсь!

— Ты не беспокойся, все в порядке. Ты ложись. Я вот задержалась и... Ты не беспокойся, ложись, я, наверное...

Разговор прервался. Топилин подождал повторного звонка, пожал плечами и стал разбирать постель. В конце концов, не невеста и не жена. Жива, и слава богу.

* * *

Она появилась лишь утром, около десяти, Топилин уже успел выпить кофе в буфете и сходить вниз за газетами.

— Ты прости, — заговорила она, — ну, вышло так, ничего не могла...

— Есть хочешь?

Власта взглянула на него удивленно:

— А?.. Нет, потом... Ну, понимаешь, не могла...

— Что случилось-то? — спросил он больше для поддержания разговора, не слишком нуждаясь в ответе, — догадаться было легко. Она повесила куртку на вешалку и села в кресло.

— Понимаешь, пошла вчера по магазинам. А потом на улице какой-то иностранец спрашивает — где тут ресторан? Ну, слово за слово, пошли вместе искать.

— Он что, русский знает?

— Десять слов, больше на пальцах. Но понять можно.

— Ну, и дальше?

— Нашли ресторан, пойдем, говорит, вместе. Пообедали, проводила до гостиницы, чтобы не заблудился. Ну и...

Она развела руками и улыбнулась.

— Что за иностранец-то? — нейтрально поинтересовался Топилин.

— Финн. По-моему, финн. Он сюда приплыл на финском пароходе, а назад самолетом, я только не поняла, куда. Он ничего мужик, только понять трудно... Знаешь, ты прав, обязательно надо учить язык.

— Он кто?

— Бизнесмен. По-моему, бизнесмен. Он говорил, как его фирма называется... Ты прав, без языка никуда, я ему даже адрес по-русски написала, попробовала английскими буквами — не выходит.

— Адрес сам попросил?

— Ну, не попросил, но... Вдруг у нас окажется, сейчас связи больше...

— А свой дал?

— Конечно.

Она достала из сумочки и развернула довольно большой красивый листок. На гладкой бумаге были изображены в цвете четыре грузовика, один другого привлекательней, ниже шли технические характеристики. Обычная реклама.

— А зовут его как? — спросил Топилин.

— Миша. Это по-русски Миша. А по-ихнему он там написал. Вон, внизу.

Топилин взгляделся — да, действительно, написано ручкой.

— Это не по-ихнему, — сказал он, — это по-нашему. «Миша», только латинскими буквами. Правда, транскрипция странная. Он не итальянец?

Власта недоуменно оттопырила губы:

— Итальянец? Не знаю. Может быть. Он сказал, у него пятиэтажная вилла на море. Нет, по-моему, все-таки финн. А ты адрес посмотри, он сказал — там адрес. Даже писать просил, только я не знаю, на каком. Не на русском же.

Дура. Несчастная дура. Употребили и отшвырнули, сунув в руку вместо вежливой визитной карточки издевательский цветной листок.

— Это реклама, — сказал Топилин, — реклама грузовиков. Надумаешь самосвал покупать, пригодится.

— А адреса нет? — спросила она растерянно.

— Почему же нет? Лондон, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес.

— Он не понял, наверное, — сказала Власта, — он по-русски совсем плохо...

Топилин безлико поинтересовался:

— Деньги дал?

Она посмотрела с испугом:

— Ты что? Конечно, нет!.. Слушай, может, на обороте?

Он перевернул листок:

— Смотри. То же самое: Лондон, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес.

В Буэнос-Айресе десять миллионов, Мишу могут и не найти.

Власта сказала неуверенно:

— Вообще-то, говорят, финны честные...

— Вполне возможно, — отозвался Топилин. — Только не все.

И не со всеми.

Она возразила задумчиво:

— Если бы ему просто трахнуть надо было, снял бы путану, и все.

Топилина резанул манерный иноязычный синоним, и он, никогда не любивший похабщины, на сей раз предпочел отечественный термин:

— А откуда он знал, что ты не блядь? Денег не дал? Так ведь ты и не просила. Попросила бы — дал. А навязываться... Они ведь тоже деньги считают... Вот он повел тебя в гостиницу — он хоть как-то это объяснил?

Власта ответила неохотно:

— Сказал, что нравятся русские девушки.

— Бесплатные всегда нравятся, — автоматически съязвил Топилин, сразу об этом пожалев — так мелко и ненужно прозвучала едкая фраза.

Видно, и Власта это почувствовала:

— А чего ты злишься?

— С чего ты взяла?

— Я же вижу. Злишься и... вообще.

— Что? Ну что — вообще?

Она сказала холодно:

— Лапшу на уши вешаешь.

За время их знакомства это, пожалуй, была первая прямая грубость. Топилин сдержался и спокойно кивнул:

— Ну что же, значит, вешаю. Давай считать — влюбился с первого взгляда. Адрес ты ему дала, через месяц придет и женится. Вот только паркет начистит в пятиэтажной вилле.

Она молчала довольно долго. Потом сказала:

— Ну и что? Подумаешь! Ну, трахнулась с финном. По крайней мере, интересно. Все в жизни надо попробовать. Тебе бы финка попалась — пропустил бы?

Он замаялся. Что ответишь? Конечно, не пропустил бы. Ни финку, ни шведку, ни японку. Все что-то не попадаются. Как-то болгарка попалась — не пропустил...

Власта сказала примирительно:

— Сам же говорил, надо знакомиться с иностранцами.

— Ну не так же...

— А как? Языка-то не знаю.

Он подавленно молчал, и она утешила пренебрежительно:

— Ну чего ты переживаешь? Финн, не финн — какая разница? Все люди братья.

— Это само собой, — согласился Топилин, но беззаботная улыбка не получилась. Слишком уж было стыдно, стыдно и горько. Стыдно, что девчонка, прилетевшая к нему, так легко переспала со случайным мужиком и что мужик этот иностранец, именно иностранец, в этом как раз все дело, иначе не перепрыгнула бы, даже ночной халатик не взяв, из одной койки в другую. Была бы шлюха — ладно, у тех ремесло такое. Но ведь не шлюха! Заграница поманила, вот и все. Не сам даже мужик, не тряпки, не деньги в его бумажнике, настоящие деньги, с которых ей все равно ничего не обломится, не дадут, да и не возьмет. Заграничность сама по себе, зыбкая тень чужого благополучия, которой хочется заразиться, как корью или гриппом... Бог ты мой, как же стыдно было! И — что себя обманывать! — не столько за нее, сколько за себя, за жалкую свою удачливость, за положение, нарабатывающееся годами, достойное, прочное положение, которое рассыпалось в мусор от одного столкновения с иностранным мужиком, столкновения, которого тот даже не заметил. Приглянулась девчонка — и взял, как взял бы икру, или икону, или пейзаж с видом Кремля, или билет в Большой, куда за рубли не суйся, или томик Булгакова, который нам из-под полы за четвертной, а им в «Березке» без хлопот и с поклоном. Стыдно, бог ты мой, как же стыдно...

Топилин вспомнил, как давно, он еще в школу бегал, во время молодежного фестиваля, когда Москва словно бы захмелела от многолюдства и яркости, девчонок, гулявших с иностранцами, ловили и стригли наголо. Впоследствии в лекциях он не раз высмеивал этот парикмахерский метод воспитания. А сейчас чувствовал, как поднимается в нем мстительная злоба: вот если бы сотню-другую таких выловить и остричь... И за эту убогую провинциальную оголтелость тоже было стыдно.

— Есть хочешь? — спросил он вновь, чтобы прорвать круг унижающей его злобы.

И опять она мотнула головой. Конечно же, поела. Может, им и в номер подадут...

— Какие планы на день?

— Хочу в Ригу съездить: самолет вечером, так что...

Ну да, магазины, вчера же не успела.

— Через час за мной приедут, подвезу.

— Ничего, я электричкой.

— Подвезу, — повторил он твердо, — нетрудно, машина казенная...

Казенная машина подвезла до центра. Дорогой не разговаривали — и шофер мешал, и что тут скажешь? Все сказано. Лицо у

нее было хмурое, лобик наморщен. Наверное, уже дошло, что «Миша» латинскими буквами не объявится никогда, эта партия проиграна вчистую, перспективное знакомство как началось, так и кончилось, адреса потеряны, и телефоны отключены. А на новый случай шансы ничтожны: в глубинную Россию финские пароходы не заплывают...

Топилину стало жалко ее. В конце концов, не она же во всем виновата. Она, что ли, довела государство до нищеты, согнула в полконе перед неспесивыми странами, у которых нет ракет, зато прилавки забиты? Она, что ли, продает все, что купят, — лес, нефть, золото? Важные чиновники в загранкомандировках толкают гостиничным горничным водку и икру, именитые режиссеры из кожи лезут, чтобы позвали ставить хоть в сарае, лишь бы в Америке. А у этой девочки ни нефти, ни икры, ни режиссерского образования, всего-то и есть: молодость да тело. Товар, кстати, нестойкий, нынче не продашь, завтра и не посмотрят. Нищая страна, а гордость не для нищих...

В центре он вышел из машины, чтобы выпустить Власту. Постояли неуверенно.

— Ну чего? — спросила она. — Пока?

— Почему «пока», — возразил он, — вечером провожу.

— Зачем тебе день ломать?

— Да ладно, — оборвал он, — тоже еще проблема.

Выбрали приметное место, у башни с часами, назначили время, и Топилин поехал на лекцию. Обернувшись, он увидел сквозь заднее стекло, что Власта словно подалась вслед машине, рот приоткрыт. Он махнул ладонью, она тоже помахала, и это ритуальное действие окончательно примирило его с ней. Разве винят щепку, что мотается в потоке?

На повороте их придержал светофор, и Топилин еще раз оглянулся. Власта стояла на том же месте, сумка была уже на плече. Она медленно оглядывалась, словно выбирая, на что потратить последний день в красивом городе.

Лекция на этот раз была в заводском клубике, приехали загодя, и Топилина повели смотреть цеха. Работали в основном женщины. Заводик был маленький, выпускал какую-то химию, когда зашли в цех, затошнило от едкого запаха.

— Как же они тут? — посочувствовал Топилин.

— Привыкли. Химическое производство, платят хорошо, и пенсия на десять лет раньше. Лет пять поработают, а там уж тянут до конца, вредного стажа жалко...

Топилин думал, что после удушливой смены слушать его не придет никто. Но народу собралось неожиданно много. Причина стала ясна по первым же вопросам. Аудитория была почти вся русская, и сейчас ее интересовала не столько любовь, сколько что с ними будет, если республика отделится? Оставаться? Но не станет ли давить новое местное начальство? Уезжать? Но куда, где их ждут, где примут? И — как с жильем, с вредным стажем, с детьми от смешанных браков?

Топилин, как всегда в таких случаях, отвечал рассудительно и

подробно, он знал, что нудная детальность успокаивает сама по себе, она, как песок в костре, подрезает и гасит пламя. Смотреть в будущее лучше спокойно, это наверняка, а уж каким оно получится, все равно не угадает никто.

Разговор получился, Топилина провожали до выхода. Немолодая латышка сказала застенчиво:

— Мы хотим независимость, но такую независимость, чтобы никому не было плохо, чтобы всем было хорошо.

— Дай-то бог, — вздохнул Топилин, — я вообще считаю...

Но изложить свое понимание независимости в современных условиях ему не удалось, перебил долговязый малый лет тридцати, жестко поинтересовавшийся, почему нынешние московские власти всегда предают братьев по крови и религии, и у себя в державе, и за границей — вот даже в Ливане, вопреки российской традиции, поддерживают не христиан, а мусульман. Вопрос был любопытный, Топилин такие любил. Но уж очень неприятно смотрелся собеседник: манерная, надвое расчесанная борода, длинные волосы стянуты бабской тесьмой, черная рубаша распахнута, и нательный крест открыт, словно вывешен на продажу. И Топилин сдержанно ответил, что московские власти пекутся не о христианах или мусульманах, а о том, чтобы никто никого не убивал.

— Не выйдет, — убежденно возразил малый, — без этого не бывает.

— Вы имеете в виду Ливан? — холодно уточнил Топилин.

— Везде одинаково!

В голосе была не только угроза, но и азарт, почти удовольствие. Откуда у малого такая уверенность, что убивать будут не его? Оптимист. Сколько же крови на земле льется из-за оптимистов...

На обратном пути попали в пробку, так что к башне с часами опоздал минут на двадцать. Власта ждала. Топилин стал извиняться, она махнула рукой:

— Я уж решила — обиделся. Ты не обижайся. Я ведь дура. Сделаю, а потом начинаю соображать.

— Да ладно, — смутился он, — все мы... Сейчас-то хоть голодна?

— Ну...

Время еще было, и он все же сводил ее в хороший дорогой ресторан, где когда-то работал знакомый замдиректора. Кадры с тех пор сменились, но имя бывшего зама все-таки обеспечило некоторую привилегию: покормили вкусно и быстро, как своих. Правда, и на чай пришлось дать, как своим.

На улице Топилин вдруг завелся и стал горячо объяснять, что никто ни в чем не виноват, просто жизнь тяжелая, страна отстала, и не на годы, а на два-три поколения, люди же устали, раздражены и хотят уже сегодня жить, как в Европе, вот и кидаются друг на друга, ищут виноватых, срывают злость...

— Я сука, — вдруг перебила его Власта, — просто мразь. Я же к тебе приехала...

— Да ты что? — опешил он. — Ты-то как раз ни при чем...

Но она продолжала, не слушая:

— Так тебя видеть хотела, так этого ждала... Ты же для меня... Другие — так, с ними не поговоришь, а с тобой... Мне иногда кажется, ты у меня на свете единственный близкий человек...

Близкий... У него перехватило горло от жалости и вновь — стыда. Близкий! Если он близкий, каковы же другие, дальние?

Все вдруг стало ясно: и чего летела сюда, и чего писала все эти годы. Одиночество — вот и весь секрет. Глухое, непроглядное душевное одиночество, когда для минимально приемлемой жизни нужно если не иметь, так хоть придумать кого-нибудь, понимающего без слов. Самый близкий — вот он ей кто. А близкому только и надо — завалить ее на спину или поставить на коленки носом в подушку...

По инерции они так и шли какой-то длинной улицей, типично рижской, хорошей уже тем, что каждый из старых темных домов был на свой лад. Сырой резкий ветер сбивал дыхание, Власта то и дело отворачивала лицо. Топилин обнял ее, прикрыв спиной от ветра, — и вдруг, теряя голову, потащил в широкий, с тяжелой дверью подъезд. А там, на площадке между этажами с большим окном и щербатым мраморным подоконником, стал целовать ее и тискать, расстегивая пуговицы, добираясь до тела. Из любой двери могли выйти — но сейчас это было все равно.

Ее сапожки отлетели куда-то, колготки валялись на пыльном полу — нашли же место! Безумие, дикость... Что это было — страсть, прощание, прощение?..

— Не сердись, — сказал он после, — голову потерял. К самолету не опоздать бы.

Повернувшись спиной, она натягивала колготки.

Топилин растерянно усмехнулся:

— Вот теперь вижу, что моя. А то не поймешь что.

Она отозвалась:

— Так получилось.

— Странно, — удивился он, — вроде столько знакомы, а только сейчас... Я тебя, наверное, люблю. Можно?

Она на секунду прижалась щекой к его подбородку:

— Если сумеешь, приезжай.

Топилин отвез ее в аэропорт, проводил до казенной двери, и только тут Власта сказала:

— Я тебя тоже люблю.

Он грустно покивал. Все точно, любит. Вот такая современная любовь: если сумеешь, приезжай. Приедет. Если сумеет.

Обнялись напоследок, и она ушла, помахав левой, свободной от сумки рукой.

...У оставшееся время Топилину пришлось наверстывать упущенное. Уже на следующий день он прочел две лекции до обеда, а вечером еще одну. Называлась она «Любовь и секс в эпоху перестройки», длилась полтора часа и имела успех.

Свободлаг

Город назвали Свободный,
Весь — от подвалов до стрех.
Он от реки полноводной
Лезет бараками вверх.

Сам я в том городе не был,
Только и знал, что над ним
Дальневосточное небо
Светит огнем ледяным.

Что там, наверное, голод —
Так объясняла мне мать,
И что посылки в тот город
Надо раз в год собирать.

Помню я письма оттуда:
Строчки бегут наискось,
Все в ожидании чуда,
Чуда, что правдой звалось.

Адрес на сером конверте
Писан нетвердой рукой...
Все в ожидании смерти,
Видной под каждой строкой.

Как им жилось там, голодным,
Чьи были дни сочтены,
В городе этом Свободном
Самой свободной страны?..

* * *

...И звук замолк и повторился.
Настороженно у окна
Я замер. Мир преобразился,
И проступили письмена,

Начертанные этим звуком
На всем, что видел я вокруг:
На странном облаке безруком,
Над городом, застывшим вдруг,

На почернелом саде сиром,
На речке, стиснутой льдом, —
На всем, что было Божьим миром
И человеческим трудом.

И я услышал голос Бога...
Я догадался — это Бог.
Он говорил негромко, строго,
Но слов я разобрать не мог...

Сентенция

В природе нет добра и зла,
Нет красоты и нет уродства.
В полете мошки и орла
Ни суеты, ни благородства.
А только то, что должно быть:
Кормиться, двигаться, любить.

* * *

Зачем, какому злу в угоду —
Дознаться помощи нам, Бог, —
Внушают русскому народу:
«Оплеван ты и одинок».

Какой же нелюди неймется,
На очи нагоняя тьму,
Сознание малого народца
Привить народу своему?

Как будто бы народ наш русский
Не сильный и большой народ,
А подъясачный род тунгусский,
Которого любой согнет.

Как будто в том, что гибнут реки,
Что больше пища нежирна,
Виновны «чурки» и «чучмеки»,
«Жи́ды», армяне и «чухна»...

* * *

Аутка аукнется, Стрельна стрельнет,
Придумают бесы словечко «бестселлер».
Так звуками к смыслу фонетика льнет,
Почти незаметная в тихой беседе.
Но слово в стихе не стихая вопит —
Где вождь, там и вошь,
Где казна, там и казни.
Червь, чернь, черепа — и следит следопыт
За этой цепочкою не без боязни.

И видит, что в совести спрятана «весть»,
Что «род» проступает сквозь толщу народа,
И можно хоть все словари перечесть,
Одно первозданное слово и есть,
Ничто не скрывающее, — Свобода.

Лимита

Записки командировочного

Долгий день в июльской Москве выжал из меня все жизненные соки, вредные и полезные, и сорок минут ожидания на Ярославском вокзале я провел в «нирване»: ни отблеска мыслей, ни намек на чувства, а только сладкая греза о большом кувшине с холодной водой, который опрокидывается на меня и льет, и льет, бездонный, прохладную влагу на раскаленную мою голову и огнедышащую грудь...

В купе вагона, когда состав уже подали, греза моя приобретает более реалистические черты: вот придет проводник, принесет постель, я приоткрою окно и вознесу свое тело на верхнюю полку — боже, до чего благодатный ветер в подмосковных лесах!

В купе я не один. Напротив смирно сидит девочка лет пяти и потихоньку разглядывает меня. Я знаю, что она видит. Полный лысоватый дядя сорока лет, без туфель и в расстегнутой рубашке, капельки пота на лбу и висках, седоватая щетина на подбородке. Я трогаю подбородок рукой: оброс, конечно, брился вчера вечером в киевском поезде.

— Как тебя зовут, матреша? — заставляю я себя улыбнуться.

Ребенок мне нравится. Серые смысленные глазки выражают независимость и спокойствие — никакой паники от того, что без мамы, никакой суеты; личико худенькое с острым подбородком и аккуратным прямым носиком, красные пятнышки диатеза на щеках несколько не портят его; о таких детских лицах принято говорить — «милая мордашка».

— Кр-ристина, — после небольшой паузы старательно грассирует девочка.

— Вот это да-а! — не удерживаюсь я. — Стало быть, Крестьяна... А я — дядя Александр-р.

Сюсюкать нельзя. Лучше шутить. Моя жена двадцать лет работает в детском саду и знает о детях почти все; она утверждает, что сюсюкают только от глупости да оттого, что нечего сказать.

— Не Кр-рестьяна, а Кр-ристина! — поправляет меня девочка и одергивает платице. — Мама на перроне тетю Олю провожает, а я вещи следю.

— Это правильно, — согласно киваю я. — Я, вот, тоже следю. Наверное, домой едете, из отпуска?

— Нет, в Иркутск. К бабе Тане. — Кристина прыгивает с пол-

ки, подходит к двери и пытается закрыть ее, чтобы зеркало выплыло полностью.

— В — Иркутск, — поправляю я. — Едем — в — Иркутск.

— Ну вот, уже познакомилась! — В дверях купе появилась молодая высокая женщина. В том, что это мама Кристины, нет ни малейшего сомнения: тот же острый подбородок и те же быстрые серые глаза.

— Так почти до Иркутска вместе едем! — бодро среагировал я и начал потихоньку застегивать пуговицы на рубашке.

— Ой, не трудитесь, — заметила мое движение женщина. — Сейчас сама стриптиз устрою — такая жара! — Она улыбнулась, одним движением стянула платице с Кристины, подхватила ее на руки и уселась к окну. — Здесь окно открывается? — спросила быстро.

Я привстал над столом и рванул ручку окна вниз. Подалось. Немного, но подалось.

Напротив окна стояла девушка в джинсах и голубой рубашке.

— Ого! Мужчина! — хохотнула девушка. — Везет же вам! Может, там и помоложе есть?

— Нет пока, — в тон ей ответила Кристинина мама. — В Ярославле посадят. Или в Калинин. Они на-туда бронируют. Ты иди, что ли. Долгие проводы — долгие слезы.

Я глупо улыбался. Обе они годились мне в дочери, а все равно было приятно: в конце концов, мужчиной назвали, а не дедом...

Меня часто носит по командировкам, и попутчиков я оцениваю в баллах. Пять баллов — мужчины любого возраста, играющие в преферанс. Два балла — алкаши-отпускники. На сколько баллов потянут симпатичный ребенок с мамой?.. Нет, симпатичная мама с ребенком?

Я глупо улыбался. Седина в бороду — ну и так далее.

Усталость понемногу отпускала меня. Возвращались нормальные человеческие желания: побриться, переодеться, поужинать, наконец. Почему не устроить маленький семейный ужин? Я, к примеру, достану пиво с кальмарами, она — курицу; дитя пьет «фанту», болтает ножками, а мы чинно беседуем... Она не москвичка, это ясно: обыкновенный урало-сибирский говорок, без всякого «аканья» («не-ет, н'ка-анечна же не ма-асквичка, н'неужели не я-асна?»). Скорее, откуда-нибудь из Омска-Томска-Иркутска. Баба Таня — это ведь ее мать?..

— В общем, скажи Петруше, чтобы раньше чем через месяц не ждал, все равно бюллетень привезу! — мама Кристины смеется чуть нервным коротким смешком и быстро взглядывает на меня.

— Заколеба-ал Петру-уша! — старательно проговаривает Кристина и смешно поводит головой туда-сюда. Тетя Оля весело хохочет:

— Так, так, рыба моя, заколебал такой-сякой!.. Это наш мастер, — поясняет она мне.

— Вот лимита! — вздыхает мама Кристины и опять быстро косится в мою сторону. — Ну прямо на лету все хватает, слова не скажи!

Поезд наконец трогается. Веселая тетя Оля идет за вагоном, машет рукой и кричит мне, чтобы я «это самое, не давал в обиду!».

Я, конечно, не дам. Я простой, заботливый и в высшей степени деликатный мужчина. Настолько деликатный, что сейчас же пойду в тамбур и буду курить там минут десять — пусть устроятся, переоденутся... Я еду из Чернобыля, и я устал от мужских компаний. От всех этих «партизан», шоферов, химинспекторов и «дозиков». Если бы у меня была пижама, я бы надел ее и бегал на станциях за картошкой с огурцами, играл бы с соседкой в подкидного дурачка да декламировал ребенку «жил-был у бабушки». Я не хочу больше слышать глубокомысленных цитат про третьего Ангела и звезду Полюнь — от Киева до Припяти все как повредились на ней. Не хочу душной, суетливой Москвы, ее забитого метро и обалделой озабоченности — «где что дают»!

...Курить я тоже не хочу. В тамбуре еще жарче, чем в купе. Наш «Байкал» уже набрал скорость, и теперь из окошка наверняка дует благостный прохладный ветерок.

Когда я возвращаюсь, на моем месте сидит сутулый человек в фуражке и исподлобья смотрит на маму Кристины. Проводник. Пришел за билетами. Я лезу в пиджак за бумажником, попутно делаю «козу» Кристине, сажусь рядом с проводником. И только тут замечаю, что в купе нашем неладно. Мама Кристины, едва взглянув на меня и отвернувшись к окну, нервно постукивает пальцами по столу: Кристина, насупившись, смотрит на дядю, дядя — на маму Кристины.

— Я все-таки прошу показать паспорт, — сурово говорит проводник и, не глядя на меня, берет протянутый мною билет.

— А я вам сказала: отстаньте! Нет у меня паспорта!

— Тогда придется пройти к бригадиру. — Проводник встает и приглашающе дотрагивается до плеча Кристининой мамы.

— А-а! — панически вскрикивает Кристина. Я быстро оглядываюсь и ничего не могу понять: в глазах ребенка страх и истерика. Из-за чего?

— В чем дело? — резко спросил я и тоже поднялся.

— Гражданка не имеет билета на ребенка. — Проводник пустоватым каким-то взглядом смотрит на меня и не снимает руки с плеча женщины. Та резко встряхивает плечом.

— Я сказала: ей четыре года, и никаких билетов я покупать не буду! Я ее что, на отдельную полку кладу, что ли? Она со мной будет спать, вот здесь. И все, и хватит! Нет у меня паспорта. И метрики тоже нет. Если бригадиру надо — пусть сам идет!

Проводнику лет пятьдесят; глаза у него «бледные», если так можно говорить о глазах: или родился заторможенным, или «огненную воду» обильно принимал — гадать трудно. Даже после грубого выпада Кристининой мамы тон его не меняется:

— Вот, пожалуйста, товарищ свидетелем будет, как вы разговариваете.

И ни тени чувства в лице.

— Ну-ка, Кристюша, покажи этому... — мама Кристины резко оборачивается к ребенку, — покажи этому... сколько тебе лет? Ну, покажи, сколько?

Кристина неуверенно протягивает вперед ладошку со всеми растопыренными пальцами, но тут же быстро прячет один. Итого четыре, без большого. Она испуганно смотрит на маму.

— И еще ребенка врать учите, — наставительно нудит проводник. — Вначале-то пять показала.

— Ну и убирайся отсюда, зануда! Убирайся! — Женщина вскакивает с полки, и теперь уже страшновато не одной Кристине, но и мне тоже: худая, разъяренная молодая волчица — вот кто теперь Кристинына мать.

— Успокойтесь, пожалуйста, — пытаюсь я хоть немного погасить страсти. — Зачем так волноваться из-за пустяков.

Но я просто смешон со своим лепетаньем.

— Пошел вон отсюда, я сказала! Паспорт ему... Много вас, таких начальников! Все начальники! Тут жмешься, жмешься, по копейкам скребешь... Да я бы плакатный купила — а нету! Что теперь — удавиться? Ну чего уставился, хек мороженный? Кого там звать будешь — бригадира, милицию? Давай, зови... Как цепные все. Мне что теперь, в отпуск не ездить? Ага, как же, он у меня и так — аж пятнадцать дней! Кругом начальники! Могли бы — так и жить бы запретили... Вали, я сказала, отсюда, пока без глаз не остался!

Заплакала Кристина. В купе заглянула женщина, за ней мальчик лет двенадцати. Нужно было срочно что-то предпринимать.

— Пойдемте, прошу вас, потом разберетесь, — негромко предложил я проводнику. Но тот стоял на месте и в упор смотрел на Кристиныну маму.

— Я прошу вас, пойдемте. — Я взял его за плечо и легонько подтолкнул к двери.

— Вот пускай с бригадиршей и лается, — тупо сказал проводник. — Такая же крикунья. — И вышел из купе.

Я пошел за ним по коридору. Детский плач и злые женские рыдания провожали нас до конца коридора.

— Не надо бригадира, — примирительно попросил я его в служебном купе. — На первой же остановке я куплю детский билет... Или вот что: вам, наверное, проще...

Бумажник был со мной. Я торопливо достал из него двадцатипятирублевую бумажку и аккуратно вставил ее в нагрудный карман рубашки проводника. Этот отказаться не должен, я чувствовал — не должен.

— А ты-то чего в защитники лезешь, — невыразительно, даже не дав себе труда обозначить вопрос, проскрипел он. — Вдвоем на пару все равно не останетесь. В Калинин, как пить дать, двоих подсажу.

Я молчал. Даже не стал изображать на лице гордое негодование. Кивнул только:

— Договорились, в общем.

И пошел курить.

Соседка моя снова сидела за столом, смотрела в окно. Кристина стояла рядом и теребила складки на ее платье.

— Крестьяна, «фанту» будешь? — позвал я девочку.

— Не будет она ничего, — ответила за ребенка мама.

Ответ был не слишком вежливым, но и грубым не был тоже. Обыкновенная реакция независимого человека на попытку неуклюжего «участия». Я все же достал две бутылки.

— Вся жизнь — борьба, — услышал я вдруг собственный голос, и было в нем столько фальши, что впору было покраснеть. Или хотя бы вздохнуть и крикнуть. — Капли датского короля пейте, кавал-леры, — забубнил я себе под нос и стал искать под столешницей железку для откупоривания бутылок.

— Он к бригадире пошел? — напряженно спросила Кристинина мама и еще ближе наклонилась к окну, что-то рассматривая в придорожном леске.

— Да нет, билеты, кажется, собирает. — Я тоже посмотрел в окно.

— Значит, позже пойдет.

— Вряд ли. Не совсем же он... — Я поискал слово.

— А-а... Все «не совсем»! — Она взглянула на меня, снова отвернулась и вдруг начала оправдываться: — Хотела ведь в плацкартный, мне бы и на детский хватило; а надо еще на обратную дорогу оставить, а я что, миллионерша?..

— Да ничего страшного, обычное ведь дело. Просто шеф слегка вредный попался.

Я все же начал краснеть. Так и почувствовал, как загорелись мочки ушей. Жена утверждает, что способность краснеть — самая большая нелепость в моем характере: эгоист, врун — а надо же, как красна девица!

— Мы тоже своих девчонок лет до шести бесплатно возили, — неизвестно зачем продолжил я и еще сильнее покраснелся. — Союз велик, ехать охота — а не графья... Пей, Кристина, апельсиновую водку!

— Вы, наверное, пытались с ним договориться? — спросила неожиданно моя собеседница и, чуть нагнув голову, внимательно посмотрела на меня.

— Ну вот, сразу и договориться... — Я попытался изобразить улыбку. — Договариваться — ваша забота. Попросил просто, чтобы нервы зря не мотал. Ревизор, говорю, придет — тогда пусть и разбирается... Да, Крестьяна? Зачем нам лишние нервы? И так вся жизнь — борьба, правильно дядя говорит?

Кристина, прижавшись спиной к материным коленям, хмуро поглядывала на меня. Так мы и молчали с минуту.

— А я уже замоталась от всей этой борьбы! — вдруг со злостью проговорила Кристинина мама и резко встала. — Живешь, как не знаю кто... В кои веки в отпуск соберешься — и на тебе, держи! — Она сделала шаг к двери, сняла с вешалки сумку и достала из нее пачку сигарет. — Чуть не весь год деньги копила. Работа — общага, работа — общага... Пр-рвались все!

— Бывает, — согласно киваю я. — Случаются такие желания.

Мне хочется сменить тему. Я пытаюсь найти что-то отвлекаю-

щее, но, словно нарочно, только усиливаю ее стремление выговориться:

— Вы москвичка? — дружелюбно спрашиваю я.

— Ага, москвичка... В пятом колене! — Она резко, как-то даже неприятно, смеется и чиркает зажигалкой. — Аж четыре года. Лимита со стажем!

— «Лимита» — это значит «по лимиту»? — зачем-то переспрашиваю я и тянусь к двери. Она угадывает мое намерение, быстро оборачивается и защелкивает дверь на замок.

— Она самая. Голота — срамота — лимита... Сволота еще. Правда, богатый русский язык?

— Ну, это уж вы слишком...

— Чего там слишком, чего там слишком! Вон, этот... — и то с полвзгляда разглядел. Думаете, к кому другому пристал бы?

— Не знаю, — неуверенно пожимаю я плечами.

— А я знаю! На лбу написано! К нам, вон, даже новенькие приходят — ма-асквички которые, — так и те на второй день губки кривят. А как же! Они же настоящие, с пропиской!

— Вы где работаете? — негромко спрашиваю я и пытаюсь погладить по голове Кристину. Ребенок не дается.

— На строительстве, сортиры отделяю, — зло бросает нервная моя попутчица и выпускает из себя целый кубометр дыма. — Плиточкой, плиточкой, светленькой да с цветочками, чтобы радостно было советскому человеку.

— Ай-яй-яй, — с легкой укоризной посмеиваюсь я. — Кусучая вы женщина!

— Да не кусучей других.

В купе нашем почти уже темно. И совсем не жарко. Поезд вырвался наконец из душных объятий «зоны Москвы» и мчит на Север, к Волге и Вятке. Это хорошо. Чистый прохладный воздух российских равнин наполнит радость сердца советских людей, развеет злость и раздражение, вдохнет в их души смирение и покой. И потечет настоящая жизнь: дети всеми своими нерастраченными чувствами будут постигать ширь родной земли, взрослые — рвать зубами холодных кур и играть в дурачка. Жаль все же, что нет у меня пижамы!

— Тебе, Крестьяна, уши не продует? — озабоченно спрашиваю я и протягиваю руку к голове ребенка.

— Не уши, а ушки, — поправляет меня девочка и берет, наконец, со стола стакан с напитком.

— Вон, еще одна лимита растет, — почти спокойно говорит Кристинина мама и бросает в окно окурков.

Я молча смотрю в окно. Снова вещать чепуху, вроде «это уж вы слишком» или «ну зачем вы так», просто не хочется. Но и молчать неловко.

— Ужинать будем? — бодро предлагаю я и встаю.

— Дело ваше, — спокойно пожимает плечами моя собеседница. Она достает сумку, долго роется в ней, достает детскую одежду, включает свет. — Давай, одевайся! — коротко бросает Кристине.

— А я где спать буду? — спрашивает та.

— У тети Оли на раскладушке, где же еще, — усмехается мама и вдруг чертыхается: — Ч-черт, ведь постель даже не взяла!.. — Она в сердцах хлопает себя по коленям, нерешительно встает, снова садится. — Послушайте, вы не могли бы... — обращается ко мне. Но я даже не даю ей договорить:

— Ну конечно, что за разговор!

И снова иду к «этому».

...Так и продолжается наше странное общение: я ухожу, прихожу, улыбаюсь, с задумчивым видом говорю глубокомысленную чушь («н-да, такие дела-а...»), и, наконец, где-то за Ростовом Великим, я уже свой. Со мной можно нормально разговаривать. Не комплексовать, не вымещать на мне злость за унижение, свидетелем которого я нечаянно оказался, а разговаривать.

За ужином она ведет себя почти спокойно: отвечает на мои вопросы, посмеивается, даже шутит; и так, без натуги, я узнаю ее немудреную историю. Кажется, я уже слышал такие. Она из Иркутска. Когда мать во второй раз вышла замуж («имеет же право, ей ведь тоже пожить хочется!»), квартиры на всех не хватило: отчим занял собой слишком много. («Если б не уехала, так вообще бы черт-те что было: там такой папаша!..») Потом ПТУ в Тайшете, общежитие, флотский парень Андрюша... Да, я слышал такие «лимитные» истории. Обычно в финале их подружка рассказывает героине про МОСКВУ.

— А куда мне было деваться? — словно оправдывается Наташа. (Я наконец узнаю ее имя.) — Куда? Искать еще одного Андрюшку? Ну уж не-ет, лучше я сама как-нибудь! Не я — так хоть ребенок нормальной жизнью поживет... Ничего-о, мне бы только заордероваться!

— Как? — переспрашиваю я. На этот раз я в самом деле не понимаю.

— Как, как... Ордер получить. Ордер на комнату в общежитии. Мне бы только зацепиться! Потом плевала я на них всех, потом пусть попробуют сунуться! И так, вон, дожидая: родное дитя годами прятала. Чтобы только не узнали, что я с ребенком. Хорошо, у Ольги бабка в Одинцове, а то бы давно уже выперли!

— Но какой смысл? — недоумеваю я. — Какой же смысл держаться за эту самую Москву, если она такая неприступная? Чем хуже Сибирь? Туда же сейчас Россия смещается! Или тот же Свердловск, к примеру?

— Ха, Свердловск... А там что, не такая же лимита? Да разуйте глаза, кругом одно и то же! Во вшивом Тайшете люди годами квартиру ждут! Будто я одна такая... Да все — лимита! Вы-то сами — кто? Или у вас папка — академик? Не похоже. Такой, извините, видок, что или вам неделю пить не давали, или после развода... Извините.

Кристина не спит. Пьет «фанту», грызет шоколадку, то и дело подбегает к зеркалу. Когда она скачет к нему в очередной раз, я ловлю ее и усаживаю к себе на колени.

— Ты бай-бай не хочешь, а Крестьяна? — сюсюкаю я и щекочу ей живот.

— Не-а. — Она смотрит на меня своими острыми серыми глазами и вдруг спрашивает: — А дяденька комендант к нам больше не придет?

Я делаю из своих бровей вопросительные знаки и смотрю на маму.

— Это она о проводнике, — смеется Наташа и качает головой: — Я же говорю — лимита!

— А ты его прогонишь, да? — весело смотрит на меня Кристина.

Мне тоже почти смешно.

— Мы его... вот! Туды в качель! — насилую я свое лицо бодрой улыбкой.

Пора спать. Наконец-то пора. Пора вознести истерзанное свое тело на верхнюю полку и забыться где-нибудь до речки Камы. А лучше бы вообще до Урала. Я чувствую, что сильно устал. Раньше я намного легче переносил свои командировки.

«Омск-Томск-Ачинск, Москва-Чита-Челябинск», — баюкаю я себя географической считалочкой и стараюсь расслабиться совершенно, от кончиков пальцев на ногах до самой верхней извилины в мозгу; я даже не прочь, чтобы извилина слегка распрямилась — только бы заснуть... Но что-то не в порядке с вагоном, будь он неладен. Что-то гремит и поскрипывает внизу, что-то позвякивает да позванивает над головой. Решетка вентиляции?.. Я сажусь, достаю из брюк спички и заклиниваю решетку спичкой... Что еще? Не заклиню же я спичкой весь вагон?!!

В тамбуре гремит еще сильнее, но здесь так положено, здесь не должно раздражать. Под стук колес — хоть «Яблочко»! Хоть ту же ЛИМИТУ: «лимитá, лимитá, лимитá» — как, нормально звучит?! «Суета сует и... нет: лимита лимит и всяческая лимита». Так лучше. Да. Ну а я-то при чем? Чего у меня нет? Двухкомнатной квартиры? Есть! Жена, дети?.. Все у меня есть, хоть мне и пить неделю не давали. И на Припять меня насильно никто не посылал, я почти что сам захотел. Я жил там месяц вольной птахой и трижды надирался так, что запросто закусывал яблочками из чернобыльских садов. Когда немножко — даже полезно. Замучили командировками? Выдумки жены. Я помню времена, когда родной завод посылал меня только на сельхозработы. Исключительно. И что ни колхоз — то на Братском море. А я больше всего на свете люблю рыбалку! Какая я, к черту, лимита?! Нынешним летом весь Союз сорвался по командировкам. В Чернобыль, Спитак, Кузбасс, Москву, в Варшаву и Тель-Авив. Такое лето. И никто не бросается на людей!.. Девчонку жалко — это точно... Кстати, почему КРИСТИНА? Мамаша фильмов насмотрелась про красивую жизнь? Имя-мечта?..

Я неприятен себе до омерзения. И, в сущности, я несколько не злюсь на Кристину маму. Она хоть бьется. Как волчица, как в око-

пе, как... А я просто устал. Месяц Чернобыля и день в оглашенной Москве — это для меня много. Сейчас главное — лечь и как следует расслабиться. Как следует, до последней извилины. Так расслабиться, чтобы никакой комендант не растолкал.

Ангарск

Владимир САВЕЛЬЕВ

Июньские богатства

Хороша страна Болгария,
А Россия — лучше всех.
М. Исаковский

* * *

На июньские богатства мы смотрим не без торжества.
Помидорами болгарскими затоварена Москва.
Да не теми, брат, зелеными, что и в руки не возьмешь,
а отборными, ядреными, ярко-огненными сплошь!
Солнцеликими, немятыми и сладчайшими на вкус.
Так восходами-закатами вызревала наша Русь.
Так о девице-красавице в ней судили: мол, красна.
Овощным обильем славится придунайская страна.
Стилем славится не праздности,
а работы с давних пор —
нашей сельской несурзанности не в пример и вперекор.
Славится в благой наследности неприятель крайних мер —
всеколхозной нашей бедности вперекор и не в пример.
И в Москве перед киосками молодежь и старики
замедляют шаг с авоськами, в коих свертки да кульки.
Замедляют шаг приятели, жены, вдовы и вдовцы.
Хороши, брат, покупатели — лучше всех, брат, продавцы.
Продавцы — любой на дело зол, а с того и в деле крут:
налетай — подешевело, мол, расхватили — не берут!
И на ящичной на таре я разбираю между строк:
хороша страна Болгария, а особо — тем, что впрок.
Хороша любой кровлею — что софийской, что иной.
Хороша своей торговлею с нашей скудною страной.
Хороша своими спорами за хозяйские права.
Привозными помидорами нарумянена Москва.
Круглобокими. Мясистыми. Насылающими грех.
Широки края российские, да, увы, беднее всех.
Сроду в них не при товаре я.
Вечно нет в них не шиша.
Пусть не лучше всех Болгария, но, однако, хороша!

* * *

А князю другого коня подвели.

А. Пушкин

Глядит в глаза мне череп лошадиный.
Я здесь ходил когда-то за скотиной,
предельно тощ и беспредельно юн.
В глаза глядят мне мертвые провалы.
Я здесь в ночное выгонял, бывало,
рысящий и теснящийся табун.

Совсем почти одров. Святые мощи.
Тень довоенной деревенской мощи,
колхозно прикоптившей к концу.
В ночном не учинить бы мне потраву:
отец опорой фронту — я по праву
в тылу опорой фронту и отцу.

Внесталинской. Наследственной. Старинной.
Глядит в глаза мне череп лошадиный,
мерцающая, как магический кристалл.
Я знаю: этот череп жутковатый,
и желтоватый, и продолговатый
буланому коню принадлежал.

Тому, на чью исхлестанную спину
взбирался я, сжимая хворостину.
...А время предается куражу.
А были переходят в небылицы.
И жгут мне душу черепа глазницы —
да так, что взгляд от них я отвожу.

* * *

В целом мире и в любой квартире
дали перепутаны и шири.
В каждом из сердец и в целом мире
бьются насмерть истина и ложь.
Бой ведут предел и высь сквозная.
Отчего порой не знаю сна я?
Ничего не знаю — все я знаю,
если ты навстречу мне идешь!

Старое спешит очнуться в новом,
немота мечтает грянуть словом.
В час урочный над машинным ревом
торжествует благостная тишь.
Задевают звездочки за крыши.
Что вокруг меня чего превыше?
Ничего не вижу — все я вижу,
если ты в глаза мои глядишь.

Длятся среди взлетов и крушений
перестройка прежних отношений,
переломка собственных свершений,
переключка Вильнюса с Москвой,
переосмысление итога.
Как должна пролечь моя дорога?
Я, седой безбожник, верю в Бога —
верю, если слышу голос твой.

* * *

Где предсмертная правда смогла б сохраниться?
Не в кургане степном, не на книжной странице,
не под крышей твоей, звуковой аппарат.
Все слова, что грядущему были завещаны,
пережили Бухарина в памяти женщины,
ибо знал он, как «рукописи не горят».

Все горит в катавасии этой вселенской:
и Вавиловы, и Мандельштам, и Флоренский.
Что в столиком столичье, что в сельской глуши —
все горит, занимаясь как будто от спички:
заповедные храмы, отчизны, привычки.
И полотна. И выкладки. И чертежи.

Все горит — и земля, а не только бумага.
И кирпич, а не только бараки ГУЛАГа.
И металл. И семейные узы. И стыд.
И предвиденье подлинного вслед за ложным.
Все горит в этом мире, огромном и сложном.
Даже память горит. Но — горит и горит...

Год за годом горит. За мгновеньем мгновенье.
И от пламени этого нет исцеленья.
Нет убежища верного. Нет забытья
от субстанции той, что горит, не сгорая,
в хате, будь посередке она или с краю...
Лишь на память людскую надежда моя.

Костер на том берегу

Инна Варламова (1923—1990) — автор девяти книг прозы. С середины 70-х годов ее постигла судьба многих «подписантов»: она попала в «черные» списки, и ее полностью прекратили печатать. Зарабатывала на хлеб машинописным и редакторским трудом, переводами с французского — иногда под чужой фамилией. Особенно трудно ей было после выхода в США романа «Мнимая жизнь» (Ардис, 1978 г.). Инна Варламова считается мастером малого жанра. Некоторые ее произведения не раз печатались в переводных антологиях современного русского рассказа. В архиве прозаика лежат до сих пор не опубликованные роман, повести и несколько рассказов.

Написанный во время «оттепели» рассказ «Костер на том берегу» несколько раз изымался цензурой из печати.

На место Парфена Петровича, бессменного председателя колхоза «Красный Октябрь», выбрали молоденького агронома, и против этой кандидатуры он на собрании не нашелся что возразить. Самый обыкновенный парнишка, плохо только, что незнакомый, привезенный Плаховым из района, морда гладкая, розовая, глаза смышленные, не пьет, говорят, не курит, галстучек носит и речь культурная — все, как положено, как нынче требуют. Ударило же Парфена Петровича в самое сердце лишь то, что колхозники не сказали вслед уходящему старому председателю ни худого, ни доброго слова. Молчали, дымили, как паровозы, а при голосовании дружно вскинули руки, будто и не прожиты бок о бок целые десятилетия. Утопили, словно кутенка, и дело с концом.

Парфен Петрович и сам понимал, что тянуть колымагу уже не в силах. То одышка его донимала, то ноги крутило на плохую погоду, а то вдруг отрыгнется ему, да так гадко — будто ржавым железом. Он и сам не знал, какая еда ему не годится: иногда отрыгалось после толченой картохи со шкварками, иногда от крутой пшенной каши или же строганины, но его прошибал пот, он бледнел, хватался за брюхо, сплевывал на пол тягучую слюну и говорил Елисеев с жалобной хоризной:

— Чем опять кормишь-то, старая? Непользительна мне твоя каша-малаша! Сколько учить, ну?

Елисеевна пугалась и, чтобы скрыть от него свой страх, поворачивалась спиной, ворчала:

— Ой, тошно мне-ка! Непользительно ему... Сам-то знат ли, нет — чего надоть?

Словом, чувствовал он себя скверно, понимал, что смерть уже настигает его, а уступать молокососу хозяйство жалел, однако.

Хозяйство, правда, становилось ему в последнее время все более чужим. Подвесная дорога на скотном дворе, электричество, непонятные машины и станки в мастерской — все это, вместе взятое, словно бы намеренно отторгало его от себя, как тело отторгает с гноем занозу.

И чуть не каждую ночь снилось Парфену Петровичу страшное: стоит будто на пустынном сугорке нелепый такой мужичишка, размахивает руками, орет во всю мочь, а что орет человек — не слышать, ветер относит... И будто ясно ему, что это себя самого он видит во сне, но со стороны, издалече, и похож он на покинутый, с дырявыми крыльями ветряк.

Хозяйство свое он любил больше по старой памяти. Таким любил, какое еще целиком подавалось обзору. Парфену Петровичу было дорого знать родословную чуть не каждого общественного коня, помнить, у которого из них трещина в копыте, у которого сбита бабка. Поскольку он сам, своими руками, в тридцатые годы корчевал здесь под началом коменданта бор, палил пни и удобрял этой золой землю, ему нравилось объезжать поля, называя уголья ласково-домашними, почти что семейными именами: «Терехина яма», «Савоськин живец». Любо ему было с фонарем «летучая мышь» обходить на сон грядущий срубленные им и его товарищами амбары, клетки, конюшни, держа в уме, что вон ту матицу тесал плотник Иона, даже имя его вырезано в уголке, а навесные петли, все до одной, ковал Егорка Косых.

Потом появилось много новых построек, и отличались они от первых просторностью и высотой, но двери в них пригнаны были хуже — разбухали, скрипели, оседали колодами, наличники на окнах не красовались резьбой, ворота уже не венчались узорной притолокой. Старые строеньица почернели, обветшали, но все еще сохраняли свое лицо, несли на себе отметину мастера, новые — все были одинаковые, казенные, унылые. Чужие.

Так вроде бы и о чем горевать? Все равно хозяйство давно отлепилось от души Парфена Петровича, зажило самостоятельной, как бы собственным ходом катящей, независимой от его воли жизнью, и все реже случалось, что председатель управлял течением событий или хотя бы соглашался умом и сердцем с навязанным ему предписанием. И все же мнилось ему, что, пока вожжи в его руках, он еще в силах кое-когда поворотить по-своему, а этот равнодушный к их жизни, пришлый агрономишко самое дорогое развеет по ветру... Что дорогое? Парфен Петрович вряд ли сумел бы определить. Но чувствовал: хотя он и сам порой обижал земляков, вывезенных некогда с Урала сюда, на Север, хотя и грызся с ними, точно как пес цепной, отстаивая интересы власти, но ему это можно, он — из своих, а чужак не смей тут встречать, чужаку нельзя.

...После собрания он вышел из конторы, где к полуночи надышано и накурено было до вони, и побрел тропкой к реке. Он, который, казалось, давным-давно позабыл всю свою полную событий — и несчастья и счастья — первую половину жизни, так как с памятью о ней не мог бы существовать, теперь вдруг озлился, что товарищи молодых лет предали его сегодня, отбросили назад, через плечо, как бросают без сожаления истлевшую уздечку. Он посчитал это изменой прошлому — вроде плюнул народ сам себе в душу и растер.

«А-а, с-сукины сыны, забыли? — яростно вопрошал Парфен Петрович. — Все забыли? Подняли руки! Забыли, как ехали на мешках, неведомо в каку даль, на каки муки и, как чуть вылезешь по нужде из вагона, затворы-то со всех сторон — щелк! И уж не помнишь, зачем и присел, а кишка так и свистнет обратно в задницу!.. А детишки пачками умирали от духоты и поноса — забыли? Голосую! А как в трюмах, вповалку, один на одном, да качка проклятая, да сухари в кипятке, тюрьку-то с плесенью жрали — запомывали? И-и... А когда согнали нас на берег — кругом глухомань, деревья, точно татары, так и прут ордой, толкают обратно в воду, и бабы — в голос, а старики опустили на мокрый песок, головы в руки, и давай слезьми умываться... Но после-то сопли утерли и в топоры, ну махать, ну валить — куда денешься, жить-то надо? В палатках спали, комарье, мошкарю отшибали кострами, и первой еще избы не срубил ни один, а уж кресты повскакали рядом меж пенечков, и под свежие холмики кто опять же полег? Да детишки бедные наши... Это как, люди добрые, ну-кось?»

Парфен Петрович слал свои жалобы темной поплескивающей реке, уже шуршащей кое-где зимним салом, топтался тяжеленными сапожищами по скрипучему мокрому песку. Все было влажное на нем — и меховая шапка, и бушлат, и штаны — от висящей в воздухе холодной невидимой мороси, набрякшее, липкое и тоже будто чужое. Идти домой не хотелось, боялся он своей Елисеевны, панихидного, сердобольного ее взгляда. Они со старухой настолько уже превратились в одно существо, что лишь без усталости переливали друг в друга общую для обоих тоску, общий страх.

А река, точно справляя какую-то серьезную работу, текла и текла мимо, и заключенная в самой себе значимости этого простого, вечного движения природы постепенно успокаивала его. Одни лишь людские установления делали Парфена Петровича тем маленьким и суетливым человечком, каким он видел себя во сне. Но стоя наедине с темной рекой, он словно бы медленно возвращался к себе издалека, с того пустынного сугорка, где так бестолково махал руками и страшно и немо кричал.

«За что? — торопливо договаривал он реке про свою обиду. — За что? Я ль не старался для общества, я ли...»

Но жаловаться расхотелось, и он умолк, к чему-то прислушиваясь. Шумели деревья, нависшие над обрывом, скрипели стволы покачивающихся сосен, плескалась у ног река.

Наискосок, на том берегу, у мысочка, мигал бакен. Миганье это напомнило вдруг Парфену Петровичу одну давнюю, военных еще

времен, историю, которую он, верный привычке глушить тяжелые воспоминания, как глушат долбней рыбу, постарался забыть и забыл.

— У-у-у, — промычал он, слыша в висках равномерное, гулкое биение крови и мотая головой. — За что, спрашиваешь? Подсказать тебе, может, или уж сам скумекал? За то! Не нравится, брат? Да ведь было, было!

Неподалеку валялось несколько перевернутых лодок; крутые и гладкие их тела, похожие на уснувших муксунов, чернели на песке. Парфен Петрович пошел к ним, но тотчас остановился, боясь упустить пойманную, но опасно ускользавшую мысль, и опять затоптался на месте.

— На людей рассерчал, а сам?.. Наладился сызнова жизнь-то строить, вот и выстроил. Теперь не кобенясь! И люди так-то. Сызнова любому сподручнее жить. А совесть куда? Да топчи ее, сволочь такую, чтоб не свербила, и все тут!

Поняв, что уже не упустит дорогой мысли, что уже облек ее в слова и теперь припечатано, Парфен Петрович подошел к первой лодке, смахнул с нее ладонью холодную, как лед, воду, подоткнул под себя подол бушлата и уселся на крутой ее бок, упершись крестцом в киль и засунув кулаки в карманы.

— Жил, брат, как велено, ну и терпи, чем обиды перебирать, — говорил он себе вслух. — И народ, он, чай, тоже не дурней тебя: живет, как велят. Сказано: выбирай агронома — голосуют... И ты, бывало, с комендантом дружбу водил, поддакивал каждому слову. Ниче, мол, у нас комендант, добрая душа. И как же не душа, коли дочку твою Настасью выпустил в Тобольск учиться на фельдшера... Душа-а!.. Тереху-то кто пристрелил? А не ходи, гад, в урман, не положено! Ягода, вишь, поспела. Есть, да не про твою честь! И акт состряпали: при попытке к бегству, а я подписал... О, Господи! Да что комендант, он у нас только попервости был. А после разве не кланялся я всем без разбору? Кто сверху ни оборвется в колхоз — полномоченный или техник лова с рыбозавода, не говоря уж про райком, — стою навтыжку, шапку ломаю: точно, мол, точно, мудреющие ваши слова... А как загордился-то, когда похвалили в газетке, назвали передовиком. Чего же им не хвалить? Покорный я был, безотказный. Навалят двойной план — везу. Навалят тройной — опять везу... А то поволок меня к хантам начальник земотдела на инструктаж, опыт передавать по культуре картофеля — тут я и вовсе размяк. Такой почет да бывшему кулаку! Справедливая все же наша власть, глазастая... Усмотрела, однако, в Парфене своего!

Вспомнив ту поездку, сладкую для его самолюбия, он усмехнулся невольно, но тут же и укорил себя за тщеславное это хмыканье: «приятно коту, как поскребут за ушком!» Но отогнать воспоминание не удавалось, и застучал, запостукивал катерок, на котором они тогда в первую военную осень отправились с Плаховым вверх по Атлымке в Новые юрты. Желтели лиственницы среди синей хвои пихт и елей, подступавших к самой воде; они с Плаховым сидели на палубе, уютно бурлила белая пенная волна рядом; и Плахов держался запанибрата, говорил ласково, доверительно. Иногда принимался

накрапывать дождь, громко хлопал по брезентовым капюшонам плащей. Мужчины пластали вяленых чебаков, пили разведенный спирт и разговаривали.

— Боюсь, познобилась у них там картоха, ведь они ее так и не выкопали, — излагал дело Плахов, со смаком разгрызая вяленую рыбешку и отплевываясь кожурой. — Приехал в район один охотник из Новых юрт, докладывает: не годится, мол, для нее север-то наш — не уродила! Как не уродила, пытаем, мало ее, что ли? Да нет, говорит, вовсе не уродила, ни одной то есть штуки! На-а, лешак, беда с ними! Чего получилось, прямо понять нельзя... Вот ты расскажи им, Парфен, какие снимаешь урожаи, поведай свои секреты местному населению. Пусть поучатся ханты хозяйствовать у бывшего кулака.

— Да как так? — удивлялся. Парфен Петрович. — Неужто они картохи не видели?

— Почему не видели? Каждый год завозим полную баржу по большой воде. А сеять заставили впервые этой весной. Как чувствовали, что война грянет. Я сам, лично, приезжал, учил. Все понятно? — спрашиваю. Чего не понятно, бросай в землю, закапывай, потом жди, пока вырастет. Нет, говорю, ее еще окучивать надо, пропалывать сорняки. Показал, как сапкой орудут, и умотал. А больше к ним никто и не ездил целое лето. Поди доберись до них! Заломы на речке, не знаю, как сегодня проскочим.

Однако же проскочили, разобрав упавшие в реку мертвые стволы подмытых деревьев, и, когда причалили к берегу, ханты повысыпали им навстречу.

— Гости к нам, гости! — кричали они. — Гостички дорогие приехали!

И что ж оказалось? — с улыбкой вспоминал Парфен Петрович, как вспоминают милые сердцу проказы любимых детишек. Ханты, никогда не выдавшие картофельных кустов, ожидали, что клубни вырастут на ветвях, как ягоды голубики, и под землю даже не заглянули.

Парфен Петрович выступал на собрании, старался говорить простым языком, без научности, и ханты слушали его со вниманием, сидя, словно окаменевшие идола, прямо на полу колхозной конторы. Отрадно было объяснять очевидные вещи людям, которые их не знали, и чувствовать устремленное на тебя великое молчаливое уважение. Он так давно отвык от того, чтобы его уважали! А для хантов он не был ни высланным кулаком, ни лишенцем, ни представителем истребленного класса — он был просто добрым русским человеком, учителем жизни.

И еще наутро, перед самым отъездом, пришли к нему два ханта в старых засаленных малицах — чудных одеяниях из оленьей шкуры, мездру вверх, — и попросили:

— Рассуди нас, Парфен!

Они не знали счета и не могли вычислить, кто кому должен. Парфен Петрович в момент понял это, выслушав, что один давал другому прошлой зимой ящик водки, да потом три рубля и еще шесть-

десять шесть копеек, а второй отплатился десятком песцовых шкурок и рулонами, которые им служили чем-то вроде заборных книжек, на двадцать два килограмма крупчатки. И когда он сказал свое мнение, оба тотчас поверили ему на слово, протянули маленькие, словно у городских барышень, руки и крепко пожали его тяжелую, корявую, как лопата, ладонь. А потом зазывали его и начальника земотдела выпить с ними пол-литра, но Плахов, уязвленный ревностью к его успеху, хмуро требовал ехать, так что Парфен Петрович отказался от приглашения, испытывая неловкость, что наносит обиду таким простодушным людям.

На катере Плахов отошел — характер был у него незлобивый — и сказал Парфену Петровичу с полной искренностью:

— Молодец! Доложу хозяину про тебя. Умеешь к народу подойти: и растолковал все с умом, и не так уж особенно посрамил.

— Чего же срамить-то их, — задумчиво ответил Парфен Петрович. — Славные они ребята, эти ханты, очень даже прекрасные.

И потом еще долго рвался он в Новые юрты и намекал не раз Плахову, что готов, дескать, взять над этим колхозом шефство, да, видимо, у начальника земотдела осталось в памяти все же досадное впечатление, и больше он Парфена Петровича в поездки с собой не брал.

А так хотелось ему вновь испытать блаженное чувство уверенности в себе! Однако оно, это чувство, отнюдь не было запланировано для Парфена Петровича и ему подобных, и уж не смекнул ли Плахов, вкупе с секретарем райкома, что вредно давать кулаку такую потачку?

...Опоминаясь, Парфен Петрович оглянулся окрест. Бакен своим миганием навел его на прежние мысли, и встала перед глазами давняя картина, как бегают он в сумерках здесь по песку, всматриваясь в левобережные плавни, и ждет, не зажгут ли проклятые сектанты костерик? Но костра не было и не было — ни в тот вечер, ни в следующий...

— У-у-у, — опять закрутил он головой.

Думать про это было больно, резало сердце. Парфен Петрович поднялся с лодки и полез по обрыву. Мокрый песок пластами осыпался из-под его подошв. Деревья на бровке обступили его и зашуршали, засвистели кронами. Теперь он шибко спешил домой, к Елисеевне. Лишь она была его прибежищем на этом свете. Лишь она перельет в себя его печаль и освободит. А хотел ли он, впрочем, свободы от печали своей? «Нет и нет, — удивляясь себе, думал он. — Пополам вот разделим, и то спасибо. Другого ничего не прошу. Дотопаем уж как-нибудь со старухой, немного осталось».

И впервые не содрогнулся он от мысли о близкой смерти, и пот его не прошиб, и мурашки не забежали по хребту.

* * *

Обчистив сапоги о скребелку, он постучал ногами по крыльцу, отчасти чтобы возвестить о своем приходе, отчасти чтобы ссыпать

песок, трахнул шапкой по перильцам, сбивая капли мелкого дождя-ситовника, толкнул дверь и вошел в парное тепло.

— Здорово в избу! — нарочито бодрым голосом сказал он жене.

Елисеевна копошилась у печи, развешивая выстиранные портянки, и обернулась к нему, когда он вошел.

— Полезай на избу! — тотчас ответила она ему в тон, совсем как в молодости.

Лихое это приветствие, некогда распространенное в деревнях под Чердыню, откуда они были родом, издавна служило для них приметой доброго расположения духа и веселой взаимной приязни. Но взгляд, которым Елисеевна окинула мужа, показал ему, что старуха не поддавалась обману. Сострадание, боль прочел он в ее глазах. Обычно он даже досадовал на ее всегдашнюю материнскую жалость к нему — чувствовал, что эта жалость замешена на укор, — а сейчас он был ей благодарен.

Лицо старухи, коричневое, все в морщинах, давно утеряло мягкие очертания, казалось суровым, почти мужским, из-за резких скул и проваленных щек, из-за вытянутого в нитку беззубого рта и глубоких глазниц, затененных крутыми надбровьями. Но взгляд оставался светлым до пронзительного сияния, даже не синий, не голубой, а будто серебряный...

— Проголодался поди? — спросила Елисеевна.

— А как думаешь? — ответил он, садясь к столу и приглаживая на затылке всклокоченные мокрые волосы.

— Я тутот-ка тебе шаньги с творогом... Станешь? И чай горячий, и щи.

— Таскай, — сказал он.

Подперев щеку мохлястым коричневым кулаком, Елисеевна умильно глядела, как он ест.

— Знаешь ли, нет, как меня крутанули? — спросил наконец он.

— Дак знаю, Катюха Удалых забегала.

— И чего думаешь?

— И ладно, думаю.

— Как же ладно-то, как ладно? Обидно ведь! — словно проверяя ее и себя и предугадывая ее ответ, вскричал он. — Сколько лет хребет ломал на людей, сколько ночей недоспал, а они...

Елисеевна пожевала проваленным ртом, подумала и сказала:

— А ты, Парфен, разве на них ломал-то? На себя и ломал. Ну-кошь, припомни!

Вот оно. Неведомо какими путями жена почуяла то, что с ним произошло на реке. Никогда не говорила она ему таких слов, не совалась в его дела, знала — не прошибешь. Пока земное владеет человеком, он неприступен, как крепостная стена. А нынче сказала, поняв, что пришло время.

Парфен Петрович поел и улегся. Елисеевна, которая спала на полатах, еще маленько пошебуршила в избе — миски прибрала на шесток, горшок со щами засунула подальше на под, заботливо подгрестила под него гаснущие угольки — и, тихо подойдя к мужу, присела на краешек кровати.

— Больно тебе, дак, а, милый? — спросила она.

— Больно, — ответил он.

— Брюхо опять?

— Кабы брюхо... Тут, — показал он, подняв руку к вискам. — Стучит, спасу нет.

— Это, милый, порченная кровь тебя мает, — вздохнула старуха.

И снова он удивился, как ловко умеет она подбирать слова. Порченная кровь!.. Будто про одно говорит, а про себя разумеет иное, подспудное.

— Стучит и стучит, — повторил он, жалуясь.

— Кого вспомнил-то? — спросила, помолчав, Елисеевна. И так как он не ответил, подсказала: — Упорщиков, че ли, наших? Сектантов? И-и, милый, то давно прошло, не томись, они и сами забыли.

— Ладно, — сказал он, — спи давай. Поздно.

Елисеевна покорно пошла к печи, но на ходу быстро и будто стесняясь перекрестилась на иконку. За занавеской, в темном закутке висела у них маленькая икона Николы-угодника. Она была в полном забросе — неухожена, засижена мухами, ризы не чищены испокон веков, за треснутую доску засунуты письма дочки Настасьи, фотокарточка внука, старые и ненужные, но благоговейно хранимые квитанции... Елисеевна, хоть никогда не молилась по-настоящему, не преклоняла колен, а между делом нет-нет да и подаст знак святому: помню, мол! Кто его знает, о чем помнила старая? Почему при муже смущалась она, осеняя себя крестным знамением? И сейчас Парфену Петровичу подумалось вдруг, что она это вовсе не о Николе печется, может быть, даже не об Отце небесном, но о своей бесмертной душе.

Старуха погасила свет, поворожилась на полатах и затихла. А Парфену Петровичу не спалось. «Когда это было-то? — припоминал он. — В сорок втором, осенью... Точно, осенью — картоху копали. Привезли их на плашкоуте из района, пятьдесят душ — принимайте! Оборванные все, умученные, с детишками, вроде как мы в тридцатом году. Ну, правду сказать, не в урман хоть их — в деревню с домами, к людям. Смотрели мы на них во все глаза: вот ведь чудные, еще артачатся! Мы уж этого и в уме не держали, артачиться против власти, а тут военное время, немцы у Волги, пол-России в огне... Из нашего колхоза, почитай, всех ребят, несмотря что кулацкое отродье, закосили в армию, и, когда новобранцы отъезжали, никто не орал, не веньгал, тишина стояла на берегу. Стыдно плакать-то было, вроде мы на слезы не имели права, да и ребята были довольны, сравнивали их наконец с остальной молодежью! Одно у нас, помню, было стремление: доказать, что пред общей напастью обиды не держим, и мы, мол, люди, Родина и нам дорогá!»

На сектантов, вывезенных из средней России чуть ли не из-под самого немца, иначе как с брезгливым испугом смотреть он тогда не мог. Каковы, однако, разумники, птички небесные!.. В черную для страны годину отказывались от воинской службы, в колхоз работать не шли, о каких-либо справках и документах лучше не заикайся — они этой пакости даже в руки не брали. Всякую государ-

ственность они вообще считали отмеченной антихристовой печатью. Ну что за дикая вера? Парфен Петрович о такой и не слыхивал. Не укладывалось у него в голове, как можно жить, не признавая законных порядков, не применяясь к ним хотя бы отчасти?

Все это, впрочем, выяснил он позже, а когда причалил плашкоут да двинулись гуськом по трапу бородатые старики, бабы с младенцами, девки и парни, под моросящим дождем, с котомками, и увидел он грязные, серые лица и наполненные страшно-прекрасным блеском, больные глаза, — засосало у него в сердце от жалости.

— О-ой, кто же вы есть-то? — спросил он первого сошедшего на берег старика.

— А люди мы. Забыл ты тут, что ли, в тайге своей, какие люди бывают? — задиристо ответил старик, вскинув редкую бородавку.

— Чего орешь-то, чего ерепенишься? Я тебе поору! — рассердился Парфен Петрович. — Смотри, какой шустрый! Шагай давай!

— А ты сперва пуговицы золотые пришей, потом командовай, я тебя не боюсь! — звонким голосом ответил старик. — Мы-то люди, а ты кто?

— Эй, — крикнул Парфен Петрович стоящему на палубе с винтовкой сопровождающему, — кого привез, что за народ?

— А черт их знает, сектанты какие-то, — ответил парень, сдвинув для важности на затылок форменную фуражку и выпустив на лоб огненно-рыжий чуб. — Сейчас сойдут последние бабы... Ты, кулема! Пошевеливайся, застряла! — напустился он на женщину, которая осторожно переступала по качавшимся сходам, держа на руках грудного ребенка и помогая ухватившемуся за ее юбку мальчишке. — Сойдут, говорю, все, я тебе дам бумагу. Слышь, что ли? В бумаге написано! А ты с ними по закону военного времени! Чтоб завтра как штык на работу, понял?

— Понял он, понял! Как не понять? — ответил рыжему за Парфена Петровича занозистый старикашка.

Наконец все сгрудились на берегу, молчаливо ожидая решения своей участи. И снова пронзил Парфена Петровича вид этой серой толпы, бледных, жавшихся к матерям ребятишек, этих суровых лиц и глаз, горящих непослушанием.

Конвойный сбежал к нему, отдал бумагу.

— Прочел? Ну, покеда! Бывай. В случае какой неувязочки звони прямо в район.

— А ты? Никак уезжаешь? — испугался Парфен Петрович.

— Меня, брат, еще двести душ дожидают, на пристани сидят третий день. Навесили, понимаешь, заботу, голова кругом!

— Вы что, по колхозам их развертали?

— А че с ими делать — в Оби топить? Ну, ты действуй. Пусть вкалывают, заставь их работать. Сам, небось, знаешь, каким макаром. Ученого учить — только портить, — подмигнул Парфену Петровичу рыжий конвойный.

— Нас заставлять не приходилось, — хмуро ответил он. — Мы сроду от труда не отлынивали.

Когда катер развернулся и, таща за собой подпрыгивающий и

хлопающий на волнах плашкоут, ушел вниз по сизой, будто ртутью налитой реке, Парфен Петрович вздохнул и искоса глянул на старика, который наблюдал за ним, не скрывая насмешки.

— Договорились, мучители, слуги антихристовы?

— Ты молчи! — рыкнул Парфен Петрович. — Языкастый выискался! Молчи!.. Куда деть-то вас, ума не приложу. В амбар, что ли? И то — в амбар, — решил он. — Там сухо, тепло. Пошли.

Весь тот день до позднего вечера провозился с приезжими Парфен Петрович. На правлении постановили выписать им хлеба по килограмму на человека, включая грудных детей, принесли и поставили посреди чисто выметенного и еще пахнущего зерном амбара большой бидон молока, набили сеном мешки, так что даже сердитый старик сказал на прощание председателю и помогавшим ему колхозницам:

— Кто милосерд, тот и спасен, тот и Бог. Прости меня, — низко поклонился он Парфену Петровичу. — Спасибо великое, что ошибся в тебе.

— Чудён ты, — покачал головой Парфен Петрович. — Отдыхайте, однако, с дороги, а завтра ждите, приду.

— Приходи, — усмехнулся старик.

Утром Парфен Петрович широко распахнул двери амбара и крикнул с порога:

— Подымайся, народ! Вёдро сегодня. Получайте лопаты и — на картошку. Бабы, которые без детей, туда же. А которые с ребятишками — айда сети чинить.

В ответ ему было молчание. Никто не шелохнулся.

Только один малыш, в шапке, сползающей на глаза, и с голым сиреневым задом, совал щепотку собранного им на земле ячменя в ладонь девочки:

— Няня, — лопотал он, захлебываясь от своего детского счастья, — няня, смотри, сколько собрал, свари, няня, кашу!

— Цыть, братец! — шепотом отвечала она.

— Ну?! — грозно произнес Парфен Петрович, чувствуя, что его уже мутит от тоски.

— Иди, начальник, не засти свет, — сказал все тот же вчерашний старик. — Не таким, как ты, давали от ворот поворот. Не пойдем мы в колхоз, и не грехи зря!

На бледных, почти прозрачных щеках старика вспыхнули факелы, но губы сложились в веселую, язвительную улыбку.

Парфен Петрович насупился, помолчал, потом спросил:

— Как же вы, интересно, жить собираетесь?

— А как Бог даст, — беспечно ответил старик.

— Сдохнете ведь! — заорал Парфен Петрович. — И детишки ваши... — он хотел сказать «сдохнут», да запнулся, встретив строгий взгляд маленькой девочки в длинной серой юбке, из-под которой торчали лишь крохотные босые ступни. — Пропадете, верно говорю, пропадете, — тихо добавил он.

— Значит, так Богу угодно, — ответил старик. — Ты за нас не волнуйся, мы за себя не волнуемся... Катюша, — кликнул он девоч-

ку, которая все так же сурово, не спуская светлых блестящих глаз, смотрела на Парфена Петровича, — иди ко мне, дитятко, иди, поищу у тебя бекасов в головке... Ай, ай, — запричитал он, подтянув к себе девочку, и страшно защелкал вшей между двумя крепкими выпуклыми ногтями.

Живо вспомнил Парфен Петрович то ослепительно-яркое, как подарок среди ненастной осени, утро и вновь увидел солнечный столб, падавший в полутемный амбар через распахнутые двери, с клубящейся в нем радужной пылью, и услышал топотанье босых ножек мальчишки по утрамбованному земляному полу и ликующие его возгласы, когда он находил новое зернышко, и хлопанье рябой курицы, заголошно влетевшей в амбар и бегавшей из угла в угол со встопорщенными от ужаса перьями, и вспомнил, как поразил его смех одноглазой худющей бабы, которая захлопала в ладоши на эту курицу, — но вспомнил и то, как задрожала в нем вся утроба от вида освещенных солнцем безобразных отрепьев, ошметками висящих на плечах простых деревенских людей, которые, он это знал по себе, даже в самой отчаянной бедности желали бы выглядеть пристойно и благолепно... Он и вчера заметил уже их одежду, но вчера было пасмурно, моросил дождь, а сегодня, в пронизанном золотыми лучами, чистом, вкусно пахнущем зерном помещении, смотреть на это копошащееся месиво утильсырья было невыносимо.

Последним впечатлением Парфена Петровича перед тем, как он резко повернулся и зашагал прочь от амбара, была Катюша: неудобно вывернув белобрысую голову на коленях у старика, она закатывала от наслаждения зрачки и почти засыпала.

И началась у него с проклятыми упорщиками война. Истинно войной было то, что последовало за этим утром, которое показалось ему таким нещадно жестоким, а было на самом деле еще вполне мирным. Хоть и кракали вши на головке девочки, но люди настроены были беспечно, смеялась женщина, забавно хлопали птичьи крылья, пахло согретой землей и хлебом...

— Ой, тошнехонько, — застонал Парфен Петрович и, свесив с кровати набрякшие свинцовые ноги, посидел в темноте избы, раскачиваясь из стороны в сторону. «Не испить ли водички студеной?» — уныло подумал он, но пить не хотелось. Однако лечь и вспоминать, что было дальше, тоже стало неважно. Кряхтя, он поднялся, прошлепал к дверям, вышел в сени, зная наверняка, что старуха не спит и страдает с ним вместе. Он скучно, словно кому-то назло, попил ледяной воды, продрог, заколел и вернулся в избу.

— Че ходишь босым ногам, захвораешь ведь, — с полатей сказала ему Елисеевна.

— А ты спи! — грубо прикрикнул он на нее, хоть только того и желал, чтоб она его не бросала.

— И вот мается, и вот мается, — продолжала свое Елисеевна, не обратив никакого внимания на его окрик, а чуя сердцем, что ему надо. — Разве ты виноватый? Не ты ж их неволил мучить Никишку!

А как увидел с обрыва, в момент пресек душегубство. Не так говорю ли, че ли?

— Ты мне голову не дури! — вновь оборвал он ее.

А было вот что.

Погода установилась тогда ветреная, сухая, солнечная, надо было ловить время и быстрее копать картошку, а вместо этого Парфен Петрович только и делал, что разными способами давил на сектантов, стараясь сломить их упорство. То подсылал кого-нибудь из правленцев — агитировать за советскую власть, то сам прибегал в амбар и бранился, то, стараясь задобрить приезжих, выписывал с фермы обрат: «Дети шибко охочи до пахтанья, пусть побалуются!», а то, напротив, лишал их даже и хлеба. В эту борьбу с непонятным ожесточением включилась вся деревня. Ребятишки дразнились и швыряли в своих сверстников камни, бабы ополчались на баб: «По-наехали, захребетницы, объедать нас!», мужики срамили мужиков, обзывая их лодырями... Наконец было решено вовсе снять их с довольствия — может, хоть голод выгонит упорщиков из амбара.

И потянулись по деревне серые тени. Одетые в лохмотья, изнуренные женщины толкались в калитки, кланялись хозяевам в пояс и смиренно просили любой работы за кусок хлеба, или за пару соленых рыбешек, или за миску картохи, или уж «что ваша милость откажет».

— Вам же Бог не велит трудиться, — ехидничали над ними.

— Почему не велит? Неправда ваша. Работы на братьев своих и сестер мы не гнушаемся.

— Чего же в колхоз не идете?

— Там его царство, там клеймо его видно, — потупив глаза, шептали упорщицы.

— Во, лешаки баламутные! Чье клеймо-то?

— А антихристу в услуженье нельзя нам идти, не подобает.

— Вам нельзя, а нам можно? Из другого ли, че ли, теста мы слеплены? — кидались люди в остервенении, неясном им самим.

— Тесто одно, — кланялись им сектантки. — Да только, простите правду, убогие вы... Хвораете слепотой.

Их за эту правду прогоняли со двора, они, крестясь, уходили.

Однажды Парфен Петрович подошел к амбару и услышал стройное пение. «О, Господи, — подумал он. — Еще и поют!»

Приди из мрака заблужденья,

Приди с раскаянной слезой, —

выводил хор, в который вплетались старательные детские голосишки.

Приди — я дам тебе прощенье,

Приди — я дам тебе покой...

Он заглянул в амбар, сектанты тесным кружком сидели на полу, перед ними стоял чугунок картошки, от нее валил пар. Кончив петь, старик, которого, как теперь председателю было известно, звали Федосием, стал оделять всех поровну, и каждому досталось по штуке. В обед Елисеевна призналась мужу, что явилась к ней утречком

баба с дитем на руках, кривая, худющая, поросшая уже мохом, и попросила работы. Картошка на огороде была у них убрана, и Елисеевна затрудненно молчала, жалостливо разглядывая ребенка, малиновая от холода пятка которого выпросталась из окуток. Протянув руку, она взялась за эту пяточку, похожую на спелый стручок горького перца, а дитя улынулось ей во весь свой беззубый рот. «Пошли-ка, милая, — сказала Елисеевна, — поскидаем картоху в подпол, вон сушится на веретье!» И теперь сектанты собирались есть то, что женщина заработала у него в доме.

— С нами снелать! — весело пригласили они Парфена Петровича.

Он промолчал. Тогда подбежал к нему тот мальчонка с голым задком и остановился, закинув голову и глядя из-под нависшей на самый нос шапки.

— Дядя, смотри, какая! — сказал он, перекатывая с ладони на ладонь горячую картофелину. — Да белая-то, да сла-адкая, дядя!

Ком подступил Парфену Петровичу к горлу. Он сопел, не в силах вымолвить слова. И поймав угрюмый, тяжелый, устремленный на его сокровище взгляд гостя, мальчонка быстро завел руки за спину.

— Не бойся, — прохрипел Парфен Петрович.

Мальчик отступил для верности шага на два, откусил картошки, поцокал, зажмурился от удовольствия, но, вдруг устыдившись, отщипнул двумя пальцами крошечку и протянул дяде:

— На, попробуй. Как сахар!

«Все! Все! — думал, торопливо вышагивая по улице, Парфен Петрович. — Раз они гады такие, своих же детей им не жалко, заберу в ясли, пусть они сами хоть пухнут, а маляток в обиду не дам. Все-е!»

Но сектантские выродки есть в яслях не стали. Он не поверил, когда тетка Дарья, заведующая, доложила ему: «Морду воротят, паршивцы!» Пришел на полдник и увидел, что свои, колхозные ребяташки, аккуратно обкусывая по краям морковную шаньгу, время от времени похвалялись друг перед дружкой: «Гля-кося, че получилось, у меня петушок!» — «А у меня белочка!» — и запивали молоком, изловчаясь навести себе усы потолще. А эти чинно сидели, сложив на коленях руки и ни на кого не глядя.

— Вкусное молочко, пей, — ласково сказал Парфен Петрович Катюше.

Девочка помотала головой.

— Что так? — спросил он, присев рядом с нею на корточки.

Катюша повернула к нему лицо, и он содрогнулся: такое ангельское в своей отрешенности от земного было у нее выражение.

Тем же вечером он шел над рекой, у самой кромки обрыва, как вдруг услышал внизу, на плашкоуте, оголтелые крики. Кучка колхозных подростков возилась с кем-то на палубе, ругалась и материлась.

— Будешь, сволочь, работать, мать твою так-перетак? А, дармоед, будешь?

— Умру за Христа! — послышался отчаянно-звонкий возглас.

— А-а, умрешь? Ну и прощай!

Тотчас раздался громкий всплеск. Парфен Петрович остановился. На палубе хохотали, кто-то там бултыхался в холодной воде, макушка выныривала и исчезала.

— Ох, что творится, батюшки-светы! — забормотал председатель и будто прирос к месту. — Никак убийство?

Но тут он заметил, что с палубы в реку тянется и блестит в вечерних лучах мокрая бечева.

— Раз-два, взяли! — горланили, потягивая ее, парни.

Из воды показалась сначала нога с завязанной у лодыжки веревкой, потом все туловище, и вот повисло оно вниз головой за бортом, с раскинутыми, как у пугала огородного, руками.

— Е-ще взяли! — натужно орали на палубе. — Ага! Здесь, голубы! Ну, понравилось тебе? Больше не хочешь? — спрашивали они, перевалив через борт и удерживая стоймя обмякшее тело.

Теперь Парфен Петрович хорошо видел их жертву — это был молодой, лет шестнадцати, парень, Никишка. Он харкал, отплеывался и плакал.

— Скупался, гад? Че! Ну, будешь ли, нет — работать?

— Не-е, — рыдал Никишка.

— А не, так опять в речку. Будешь?

— Ум-ру!.. — лязгая зубами, отвечал тот.

— Не вытащим больше, гляди! Отвечай, зараза, мать твою в бога и в душу!

Никишка взмахнул руками и накрест сложил на груди.

— Топите! — тоненько взвизгнул он. — Умру за Христа!

Сильный удар по спине, он летит, распластавшись, в реку, вздымаются брызги, на палубе уже не хохочут, там тихо, и только слышно скрипенье натянутой и трущейся бечевы.

— Вы что, вражья сила! С ума посходили?! — опомнившись, закричал Парфен Петрович и побежал сломя голову вниз по обрыву. — Тяните обратно! Я вас!!!

Но ребята уже и сами тащили Никишку, споро перехватывая смоленую бечеву, и, когда парень повис за бортом, сразу несколько рук уцепились за его портки, за драный пиджак и подняли на палубу. Никишку рвало, он все еще словно захлебывался, зевал, как рыба, дрожал на ветру, лицо у него было синее.

— Душегу-убы! — бегая по берегу, вопил Парфен Петрович. — Кто вас надоумил? За что вы его?

— Дак дядя Парфен... Они ведь... Дядя Парфен! Ты же сам...

— Что я сам? Что сам? А ну-ка, посмей, скажи! — зарычал он совсем по-звериному.

Никишка всхлипывал, надрывно, с посвистом втягивал в легкие воздух, все молчали. Парфен Петрович не выдержал тишины и ушел...

Крепко бы призадуматься было ему после этого случая, а он мечтал об одном — умыть руки. Пусть решает начальство, им сверху виднее. В конце-то концов не только в «Красный Октябрь» привезли окаянных сектантов, небось, уже опыта поднакопили, ну и спускайте инструкцию, а с него хватит, довольно! И он позвонил в район.

Его выслушали без особого удивления, подышали в трубку, потом сказали:

— Вот что. Поставь ультиматум. Желают работать — добро, дай небольшой аванс. Не желают — вези в плавни.

— Куда? — переспросил он, не веря ушам.

— В плавни... Всем скопом, под открытое небо. Соберутся с духом идти в колхоз — скажи, чтоб зажгли костер. А вы там следите. Ясно?

— Ясно! — ответил Парфен Петрович. — Мудреющие ваши слова!

В глазах у него потемнело.

В плавни? На голый пустынный берег? Осенью, с ребятишками, без одежды, без хлеба?.. Черт его дернул звонить в район!

Делать, однако, нечего, погрузили упорщиков на плашкоут и оттащили рыбозаводским катером в плавни. Парфен Петрович на этот срам даже не вышел смотреть.

А вечером, уповая на лучшее, примчался к реке. Были промозглые осенние сумерки, ни огонька не мерцало, один бакен подслеповато мигал у мыска. Моросил опять дождь, подувал ветер. Парфен Петрович притулился за лодкой и, казалось ему, веки вечные ждал, не вспыхнет ли, не взвоется ли там, вдали, пламя, молился об нем, приговаривая:

— Ай, Господи, грех, ай грех какой!

Назавтра здесь, у обрыва, караулило вместе с ним еще несколько мужиков. И снова не было костра в плавнях.

— Куда это же, Парфен, а? Сгибнут ведь, — сказал старый товарищ, Егорка Косых.

— Ничего не знаю. Ни-че-го я не знаю! — отвечал председатель с обидой, словно его обманули, всматриваясь в ночную тьму.

Мужики курили, сплевывали, затапывали бычки и засмаливали по-новой, а он слонялся мимо них по песку, волна плескалась о берег, шуршал дождик. Постепенно все разбрелись по домам, а он ходил и ходил, вспоминая мальчонку, угощавшего его, кровопийцу, злодея, кусочком картошки: «На, дядя, попробуй!»

Была уже полночь, когда он вошел в избу.

— Зажгли, нет? — робко спросила его Елисеевна.

— Ох, да провались ты! — рявкнул он.

В третий вечер на берегу собралась уже вся деревня — и бабы, и дети. Костра не было, народ молчал. И в этой тягостной тишине Парфен Петрович слышал гулкие удары своего опрокинутого, будто плашмя лежащего в груди сердца.

— Ну, пускай расстреляют! — вдруг вскричал он и, решительно подойдя к лодке, перевернул ее, навалился и рывком столкнул в воду.

Люди поняли его без слов. Все враз зашумели, загомонили, забегали по песку, разбирая и волоча к реке лодки. С десяток рыбацких бударок шлепнулись на воду, поплыли и заскрипели уключинами на всю Обь. А бабы-то, умницы, развели под обрывом огромные кострища, тьму прорвало, и пролегла по Оби золотая переливчатая дорожка.

Парфен Петрович налегал на весла, ему хотелось перевалить реку первым. Он далеко обогнал всех, на стремнине было опять черно, — пожалуй, даже чернее, чем прежде, — и пламя костра казалось отсюда лишь слабым язычком, но все-таки он горел, их костер, и над ним порой взметывались во тьму снопы искр.

Обернувшись через плечо, он различил туманные очертания голых ветел — до плавней уже оставалось рукой подать, и лодка вскоре заскрежетала килем по дну. Он соскочил в воду, начерпал в голенища, ругнулся и побежал, слыша за спиной плеск весел, визг уключин, топот многих сапог.

Они нашли людей в прибрежных кустах. Большинство лежало вповалку на мокрой земле, тесно прижавшись друг к другу. Только Федосий с Никишкой сидели поодаль, рядом с кривой бабой, качавшей на руках младенца. Ребенок был мертв. Тот самый, с пяточкой, похожей на стручок перца.

— Собирайтесь, — тихо сказал председатель. — Поехали, ну.

— А куда повезешь? — спросил ехидный старик. — Теперь уж, поди, в острог прямо?

— Домой, в деревню. Чай, мы не фашисты, Федосий... Вставай-ка, вставай!

Все поднялись и неверными шажками, под руку и в обнимку, потянулись к реке.

— Так чей костер-то горит? — не утерпел съязвить еле передвигавший ноги Федосий. — Оно вроде и славно вышло, как считаешь, Парфен? Ась? Нам зажечь — совесть потерять, вам зажечь — обрести!

Доведя старика до лодки, Никишка с размаху упал на колени в жидкую илистую няшу и истово перекрестился на далекий костер.

— Все не спишь, Парфенушка? — спросила с печи Елисеевна, которая, видать, не покидала мужа в его думах. — Ан пошел же ты супротив власти, послушался сердца-то своего?

— Да одна минута всего и была... Минута — не боле!

* * *

Под утро Парфен Петрович ненадолго забылся, а когда разлил очи, Елисеевны в избе не было. Он выглянул во двор, жена копалась в хлеву, ладила чистую подстилку, таскала солому.

— Стой, Комола, стой, дура Господня, помахивай метелкой своей! — разнеженно бормотала старуха.

Парфен Петрович вернулся в избу и стал по утреннему обыкновению обдумывать очередные дела: соображать насчет Усть-Юганской тони, где рыбачило звено Дятлова и в избушке совсем прохудилась крыша. Значит, надо бы завезти туда толь и позвонить в рыбозавод: пусть выпишут нам капроновой дели, а то мережа гнилая у нас, чуть тронешь — плывет, и отрядить за ней моториста Никишку... Но вспомнил внезапно, что все это больше его не касается, и остолбенел.

— Ай да здорово! — крикнул он. — Турнули человека из жизни — сдыхай, падалы! Ло-овко!

Он нахлобучил шапку и, не сказавшись жене, пошел по деревне. Повстречалась ему тетка Дарья, поклонилась и, не обернувшись, скользнула мимо. Повстречался легкий на помине инвалид войны, однорукий, краснорожий Дятлов. Угрюмо сдвинув густые черные брови, попер было он на Парфена Петровича, как медведь, да споткнулся, кивнул и двинулся дальше. «Чего, мол, из тебя теперича выбьешь?» Заглянул Парфен Петрович и в склад, спросил, сам не зная зачем:

— Хомуты завезли?

Дед Семен, оторвавшись от накладных, глянул на него поверх круглых, на дрожащих проволочных дужках, очков, сказал безразлично:

— Пошто хомуты-то тебе? Коня заимел ли, че ли?

Нет, прежними делами больше ему не жить. Чем же заняться, Господи?

Парфен Петрович вышел за околицу и побрел полевой дорогой. На небе бежали черные по серым тучи, дымно клубясь, сея ситовник на вывороченные картофельные поля с распластанной по земле полусгнившей ботвой.

«Быстро перестроились, — с горечью думал он. — Суток еще не прошло. Эх, лю-юди! И Дятлов этот...»

Вспомнилось ему, как вернулся первым с фронта однорукий солдат, как встречали его всем колхозом, чествовали, выбирали в президиумы и как он сидел за кумачовым столом — натянутый, законченый, с тупым от стыда лицом и выпученными глазами. Болтать с трибуны он не любил, а отгуляв с недельку, явился в контору и попросил дать работу.

— Куда же тебя? Нешто завхозом? — сказал председатель, считая, что заслуженного фронтовика надо, по справедливости, пристроить на тепленькое местечко.

— Еще чего выдумашь? — моментально вскипел Дятлов. — Старик я, че ли? Рыбачить пойду!

Поставили его звеньевым, дали полдюжины здоровенных баб, закрепили тони. И стал он лучшим в деревне мастером стрежевого и подледного лова.

А когда сектантов привезли из плавней обратно, именно он посоветовал председателю распахать молодежь по звеньям, чтобы спасти ее от тлетворного влияния общины.

— Давай и мне двух девчонок, увезу в Усть-Юган, обломаю.

Сколько визгу было во время отправки, сколько проклятий!.. Но Дятлов действовал по-военному, схватил в охапку Дуняшу, потом Лизку, швырнул обеих в бударку, скомандовал: «Разговорчики от-ставить!» — и девки больше не верещали.

Через десять дней Парфен Петрович приплыл на лодке к нему в Усть-Юган и застал в избушке такую картину: Дятлов, наступив на один конец сети и натянув зубами мережу, ловко орудует челноком, вывязывая узелки рваных ячеек, бабы — кто в два ножа чистит кар-

тоху, кто навешивает на невод балберы, кто веревку плетет, а Лизка с Дуняшей — вот чудеса! — точат крючки самолова.

— Здорово в избу! — сказал с порога Парфен Петрович.

— Полеза-ай, — ответил, не разжимая зубов, Дятлов.

Председателю показалось, что его приезд смутил рыбаков, что-то нарушил в их настроении. Дятлов нахмурился, упорщицы низко склонили головы и покраснели. Он и сам оробел и присел на нары, спиной к ним. Наступило молчание. То, что они застыдились, было ему понятно — ну как же, осилили их, выходит, за несколько дней! Но вот и ему почему-то без радости это сейчас, и бабам, и Дятлову.

— Поставили невод? — спросил он, чтобы что-то сказать.

— Ну, — кивнул Дятлов.

— А не рано? Шуги не боитесь? Неровен час, не снесет?

— У нас тут омут, тихое место, — нехотя ответил Дятлов, вытащив изо рта мережу. — Ты, Лизка, тоньше, тоньше точи! Чтобы не только лишь за ладонь, за ноготь ималось!

— А вона этот, вроде, лучше крючок? — еле слышно промолвила Лизка.

— Ну.

— Ладно, у вас, я вижу, порядок, — неловко поднялся Парфен Петрович. — Пойдем, проводишь меня, солдат.

Они вместе спустились к реке. Душа кортела у Парфена Петровича, так желал он дознаться, какими такими уловками обротал Дятлов упорщиц. Но спрашивать было совестно, язык не ворочался.

Дятлов держал лодку за цепь, пока председатель вставлял уключины и не спеша прилаживал гребни.

— Три дня не жрали девки мои, — усмехнувшись, сказал наконец Дятлов, не то сжалившись над Парфеном Петровичем, не то оценив его деликатность. — Оставим их на хозяйстве, накажем: вымыть котел, подмести, насбирать хворост. А вернемся с тони — забьются на нары, глядят, как крысята, работа не роблена. Ну, хрен с вами, молитесь на Федосия своего!.. Да жаль их, однако, пустоголовых, наутро глядишь — не та, так другая бабешка оставит им хлебаца, вроде бы ненароком... И че — приехали как-то, а оно чисто в избе, и котел надраен до блеска. В одиночку разве с обществом совладаешь? И Федосия рядом нет, никто душу не травит. То-то, знашь, радость была, Парфен! Прямо ну!

А через год все и вовсе прошло и забылось, как забывается любая душевная мука. Схоронили Федосия и еще двух-трех стариков, поумирали иные из ребятишек, а вот Лизку взял за себя Дятлов, Дуняша пристроилась санитаркой в медпункт, Никишка выучился на моториста... И начальники хвалили в докладах «Красный Октябрь» за отличную массово-политическую работу.

* * *

Парфен Петрович, дойдя до лощины, где был убит когда-то курносый Тереха, возвращавшийся из бора с туеском за спиной, резко поворотил и почти побежал обратно в деревню.

«А ну, зайду я к Никишке, однако, — думал он. — Антересно, как он живет, чем? Спрошу про Федосия, ведь они шибко любили друг друга!»

Только теперь, на бегу, вдруг пало ему на ум, что мимо их деревни — на этот раз, слава те, Господи, мимо! — провозили, опять же в военные годы, калмыков. Несчастье степного народа, который тащили в тундру, на Север, тогда не затронуло его сердца, тем более было известно, что это изменники родины, «продажные шкуры»!.. Но приторкнулся как-то к их берегу пароход «Карл Либкнехт», большой, трехпалубный, команда до вечера валила здесь лес — в войну пароходы топились дровами, — и по сходням сошли на песок слегка разомнутые страшноватые, косоглазые люди. Детишки их тотчас полезли вверх по обрыву, конвоиры кричали им вслед: «Назад, стрелять будем!», но они карабкались дальше, и никто не стрельнул, понимая, что им не уйти. Калмычата нахально стучались подряд во все избы, кланчили хлеба, им отвечали: «Бог, Бог подаст», и только сектанты делились тем, что имели.

Федосий тогда еще был живой, и Парфен Петрович спросил у него, едва отошел «Карл Либкнехт», увозя в своих трюмах калмыков на верную смерть:

— Вы, че ли, всех признаете?

— А всех, — задорно ответил старик.

— Да они ведь язычники, — пытал, желая добратсья до корня, Парфен Петрович. — Враги Господа вашего!

— Христос был простой человек, как мы, только разум имел божественный.

— Как так простой? А в чудо вы верите? В вознесенье Христово?

— В каждом из нас, Парфен, он должен зачатсья и вознестись, вот и чудо тебе, — терпеливо объяснял Федосий.

— Сказками пробавляетесь, — покачал головой Парфен Петрович, — а жизнь, она ох не гладит!

И прозрачное, смертное уже лицо Федосия засветилось победоносной улыбкой:

— Мы на то и не льстимся, чтоб гладила, нам бы истину его сберечь. А единое зернышко истины перетянет цельный мешок твоей кривды!

— Тьфу! — плюнул Парфен Петрович и отвернулся.

* * *

Добежав до избы, где жил теперь бывший Никишка, а ныне — сорокалетний колхозный моторист Никита Леонтьич, Парфен Петрович остановился перевести дух. Изба была пятистенка, из окон гремело радио. Густой, словно бы исходящий из чьего-то медного чрева, голос вещал на всю улицу: «Новая вежа в истории космонавтики...»

Парфен Петрович толкнул дверь и вошел. У стола, напротив заросшего неопрятной щетиной, матерого мужика Никишки сидел щупленький Анатолий, племянник Семена, кладовщика. Было раннее

утро, но друзья лакали самогон и, видать, хорошо успели надраться. Прямо у них над головами орал динамик.

— Я имя толкую: патрубок надо сменить, так вашу мать, понял? — перекрикивая радио, почти уже хрипел Никишка.

Анатолий, не слушая, побалтывал в стопке самогон, ожидая момента сказать «будем здоровы» и чокнуться. Но Никишка натужно закашлялся, заскреб всей пятерней голую грудь через расхристанную рубашку и, заведя осоловелые очи под лоб, отвалился к стене. Тогда Анатолий выпил один и закусил соленым огурчиком.

— А ты имя врежь между глаз, — миролюбиво посоветовал он.

Парфен Петрович ясно помнил, что Анатолий был на плашкоуте, когда топили Никишку, и вот они оба пили вместе...

— Здравствуйте-ка, — сказал он.

— Пожалуйте, — ответил Никишка. — С нами винца!

— Спасибо, не надо, — отказался Парфен Петрович, — я так зашел.

— Э-э, нет, не пойдет! Налей ему, Толя, да заткни тархтелку, а то оглохнем... Садись, дядя Парфен, садись.

И в наступившей вдруг режущей тишине, близко заглядывая в глаза Никишке и стараясь пробиться к нему, прежнему, сквозь коросту прожитых лет, Парфен Петрович спросил:

— Слухай, ну, паря... Помнишь ли, нет, костер на том берегу? Помнишь, а, милый?

— Косте-ер? — с недоумением протянул Никишка и опять поскреб себе грудь. — Не пойму я, дядя Парфен, про че говоришь-то?..

Лариса МИЛЛЕР

Благие вести

* * *

Благие вести у меня.
Есть у меня благие вести:
Еще мы целы и на месте
К концу сбесившегося дня;

На тверди, где судьба лиха
И не щадит ни уз, ни крова,
Еще искать способны слово,
Всего лишь слово для стиха.

1980 год

* * *

О том и об этом, но только без глянца,
Без грима и без ритуального танца.
О зле и добре, красоте и увечье...
Из нежных волокон душа человечья,
Из нежных волокон и грубого хлама...
Мы все — прихожане снесенного храма,
Который, трудясь, воздвигали веками,
Чтоб после разрушить своими руками.

1988 год

* * *

И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешние страсти кипели.
Когда под конвоем невинных вели,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.

Март 1989 года

* * *

И в городе живя, оплакиваю город,
Который смят катком,
Бульдозерами вспорот.
И стоя у реки, оплакиваю реку,
Больную сироту, усохшую калеку.
Оплакиваю то, что раньше было рощей.
Оплакиваю лес, затравленный и тощий.
На родине живя, по родине тоскую,
По ней одной томлюсь, ее одну взыскую.

Март 1989 года

* * *

Такие творятся на свете дела,
Что я бы сбежала в чем мать родила.
Но как убегу, если, кроме Содома,
Нигде не имею ни близких, ни дома.
В Содоме живу и не прячу лица.
А нынче приветила я беглеца.
«Откуда ты родом, скажи, Бога ради»,
Но сомкнуты губы и ужас во взгляде.

1981 год

* * *

Но тем и утешься, что все безутешны,
Попытки утешить всегда безуспешны.
Всем больно и худо. Но хуже тому,
Кто верит, что больно ему одному.

Сентябрь 1989 года

* * *

Сколько напора, и силы, и страсти
В малой пичуге невидимой масти,
Что распевает, над миром вися.
Слушает песню вселенная вся.
Слушает песню певца-одиночки,
Ту, что поют, уменьшаясь до точки,
Ту, что поют на дыханье одним,
На языке, для поющих родном,
Ту, что живет в голубом небосводе
И погибает в земном переводе.

Июль 1987 года

Александр ПУТКО

Из военного блокнота

Звуковое письмо

Утром Наймушина бил кашель. Мучительный, до слез. Он кашлял, мотая головой, матерясь. Наконец стер испарину со лба, полез в карман за портсигаром. Пальцы нащупали сложенный листок — письмо Мухиной из Новосибирска. Стало совсем тошно. Отвечать ей придется, никуда не денешься.

И что же это за чертова жизнь! Двужильный он, что ли? Как-никак за пятьдесят, и туберкулез проклятый все силы вымотал. Ведь есть отдел писем, почему на него валят!

Ночевал Наймушин в тонвагене — старом, побитом автобусе, приспособленном под передвижную студию звукозаписи. Продавленное дерматиновое сиденье за ночь намяло бока пружинами. И этот кашель...

Спрыгнув с подножки, он поежился от утренней прохлады, зев-

нул и прислушался к далеким раскатам. Вчера гроыхало ближе. За ночь, надо полагать, фронт отодвинулся еще на несколько километров. Немцы продолжали отходить к Днепру.

Калинычев, одноглазый водитель, он же и звукооператор, как обычно, ковырялся в моторе.

— Умывайся, Митрич, воды я притаранил, — бодро сказал он, выгладывая из-за капота. Отверткой, зажатой в чумазом кулаке, указал на ведро, стоящее под старой елью, покрытой янтарными потеками смолы от осколков.

— Пока не покурю, я не человек, — хмуро ответил Наймушин, раскрывая портсигар — алюминиевую коробку с квадратным зеркальцем внутри. Калинычев сочувственным вздохом показал, что курение натошак не одобряет.

— Смотаюсь на кухню, — сказал он, вытирая руки тряпкой. — Замполит обещал покормить. А то хлеб мы уже смолотили.

Деловито натянул гимнастерку, привычным движением разогнал складки на животе. Отправляясь за едой, Калинычев всегда одевался по форме. Чтоб видел повар медаль «За отвагу» и желтую нашивку — знак ранения. Бойцу с медалью не откажут.

Кухня находилась за овражком. В лесу ждал пополнения потрепанный в боях 313-й гвардейский полк.

Минут через двадцать Калинычев вернулся с полным котелком.

— Шрапнель? — без особого интереса осведомился Наймушин.

— Пшенная. А кипяточку сейчас боец принесет.

— Какой еще боец?

— Которого записывать. Замполит выделил.

— Ишь ты! — хмыкнул Наймушин. — У них тут во втором эшелоне полный порядок!

Он скоблил намыленную щеку безопаской. В портсигарном зеркальце, установленном на крыле тонвагена, была видна впалая щека с глубокой морщиной, тонкий, словно из кости точенный нос и пепельного цвета глаз, полный уныния. Бреясь, Наймушин думал все о том же письме Мухиной и мысленно проклинал себя за податливость. Совсем обнаглели в отделе писем, только и думают, на кого бы свою работу перевалить.

Тем временем пришел боец, присланный замполитом. Был он невзрачен, сутуловат. Его мальчишечье лицо, осунувшееся от постоянной фронтовой усталости, выражало покорность.

— Садись на чем стоишь, — сказал Наймушин, откладывая себе кашу в отдельную миску. — Порубаем, пока не остыла, тогда и тобой займемся. Лады?

Боец согласно кивнул и присел на кочку, выжженную солнцем, покрытую мочалистой ломкой травой. Он никуда не торопился и с любопытством поглядывал на тонваген, стоявший в зарослях орешника и небрежно замаскированный набросанными на крышу ветками.

— Давай пока познакомимся. — Наймушин проглотил первую ложку каши без аппетита. — Звать тебя как?

— Мальков Тимофей Егорыч.

- Откуда родом?
- Из-под Рузы, деревня Писарево.
- Дома кто у тебя остался?
- Мама, две сестренки. Отца-то нет. Его в сорок первом под Москвой убило.

Продолжая разговор, Наймушин ел кашу, не понимая ее вкуса, механически работая ложкой.

— Запишем твой голос, передадим по радио, — сказал он. — Может, домашние твои услышат. Хорошо будет?

Боец с недоверием покосился на тонваген:

— А что говорить мне?

— Это ты не беспокойся. — Наймушин доел кашу. — Текст я тебе напишу. Твое дело прочитать. Внятно и с выражением. Лады?

— Это можно, — ответил боец с облегчением.

Наспех попили горячей воды с сахаром. Пока Калинычев мыл оставшейся теплой водой котелок и миску, протирал их тугим травяным жгутом, Наймушин приступил к работе над текстом. Положив на колено потрепанный блокнот, он задавал Малькову вопросы и строчил карандашом с острым металлическим наконечником. Расспрашивал о разном: в каком последнем бою довелось участвовать, и кто в том бою отличился. Особо записал фамилию командира отделения.

— Мать в колхозе работает? — спросил он.

— Так и мать, и сестренки — все в колхозе, — со вздохом ответил Мальков и развел руками, будто бы удивляясь: чего тут спрашивать — и так все ясно.

— Письма от них получаешь?

— Было одно. Мы когда Поныри взяли, аккуратно пришло. Работают, как положено, — все для фронта, все для победы... Мама пишет — ноги у нее распухают сильно. Коленки.

— Ревматизм, что ли?

— Не знаю. Наш санинструктор говорит — хорошо бы лопух подвязывать на ночь. Помогает.

— Народные средства — самые верные, — подтвердил Наймушин, продолжая строчить в блокноте.

— А если сказать ей по радио? — осторожно попросил Мальков. — Пусть попробует.

— Да ты в своем уме, братец? — Наймушин выразительно постучал по лбу блестящим наконечником. — Это же радиопередача на всю страну! А ты — лопух!

Боец вздохнул. Он и сам понимал, что нельзя, спросил так, на всякий случай.

Подготовленный текст Наймушин переписал большими разборчивыми буквами на отдельный листок. Прочитал, бормоча под нос, и остался доволен. Потом они взобрались в тонваген. Малькова усадили за небольшой столик с установленным на нем микрофоном. Еще он видел перед собой щиток с сигнальной лампочкой и темным кругом репродуктора.

— Алло, алло, Калинычев, ты готов? — спросил Наймушин, на-

клонившись к микрофону. В тарелке репродуктора что-то шелкнуло, послышался металлический голос:

— Пусть прочитает для пробы.

— Дорогие мама Полина Сергеевна, сестры Надя и Катя! Примите мой гвардейский... — начал было читать Мальков, но тот же металлический голос перебил его:

— Задувает в микрофон! Пусть отодвинется.

Пришлось читать сначала.

Голос у Малькова был высокий, от волнения звонкий. Читал он несколько торопливо, боясь сбиться. Но все же прочитал текст без запинки:

— Дорогие мама Полина Сергеевна, сестры Надя и Катя! Примите мой гвардейский привет с фронта. Мы продолжаем наступать успешно и гоним проклятых фашистских оккупантов с нашей родной советской земли. Не будет извергам пощады за все их злодеяния! Расскажу я вам один боевой эпизод. Нашему взводу было поручено взять высоту, на которой находилось пулеметное гнездо врага. Метким огнем из автомата мой командир отделения гвардии младший сержант Патрушев заставил замолчать гитлеровского пулеметчика. И тут мы поднялись в атаку с дружным «ура!». Фашисты дрогнули, бросились наутек. Приказ командира о взятии высоты был выполнен. Так мы сражаемся за Родину, за дорогого всем нам товарища Сталина.

Сейчас у нас короткая передышка между боями. А завтра снова на линию огня, чтобы и дальше бить фашистских варваров, как требует партия и наш Верховный главнокомандующий, горячо любимый товарищ Сталин. Я клянусь вам, что буду честно выполнять свой воинский долг и смело сражаться за наше правое дело, за советскую землю до последней капли крови. А когда вернусь с победой, вы будете гордиться мною, мама. Ваш сын — гвардеец Тимофей Мальков.

— Прекрасно! — похвалил Наймушин. — Тебе бы диктором у нас работать.

— Полный порядок! — послышался из репродуктора дребезжащий голос Калинычева.

— А когда это будут передавать? — спросил Мальков, явно польщенный похвалой и довольный, что не подвел, прочитал как надо и не сбился.

— Одному богу известно, — неохотно ответил Наймушин. — Мне, браток, надо еще в Москву вернуться, пленку переписать. А там решат, на какой день ее поставят в передачу. Но ты не сомневайся: голос твой обязательно прозвучит. Наверное, дней через десять...

Сказав это, Наймушин опять вспомнил про письмо Мухиной. Эта женщина получила похоронку на сына, а через несколько дней услышала по радио его голос в передаче «Звуковое письмо с фронта». Ошибки быть не могло — она сразу узнала его! Молила проверить: жив ли ее Сереженька и где он?

Хмуро попрощавшись с бойцом, Наймушин остался в одиночестве в сумрачной душной кабине. Отвечать Мухиной придется. С этой

мыслью он вырвал из блокнота листок, положил на столик перед собой и приготовился было писать. Тут у него начался новый приступ кашля. Он кашлял долго, до полного изнеможения и материл про себя девчонок из отдела писем.

За Сталина!

Коротенькая запись чернильным карандашом: «25 сентября ночью два батальона 313-го стрелкового полка, потеряв половину состава, форсировали Днепр и захватили плацдарм на правом берегу. Немцы обрушили на него артиллерийский и минометный огонь, но бойцы держались...»

А как им было не держаться, вцепившись ногтями в землю, изуродованную воронками, взбухшую от непрерывных дождей? Позади от частых разрывов кипела черная вода, и в ней барахтались, плыли бойцы новых подразделений, брошенных в бой. Плыли, держась за бревна, доски, пустые бочки, створки ворот. Все шло в дело. В мертвом, холодном свете ракет, в огненных вспышках взметались водяные столбы, обрушивались на головы плывущих. Удушливый толовый дым клубился над ними. Сквозь грохот и треск пулеметных очередей неслись вопли раненых. А саперы уже наводили понтоны...

И еще несколько строк, написанных тогда же:

«Виктор Слепаков — лейтенант из СМЕРШа*. Лицо мужественное, открытое. Глаза выпуклые, светло-карие, прозрачные. Жидкая прядь светлых волос спадает на лоб. Он то и дело отбрасывает ее, нервно встряхивая головой».

И вот я вспоминаю.

Со Слепаковым мы оказались случайными попутчиками. Мне было поручено выяснить имена бойцов, особо отличившихся при форсировании Днепра, и подготовить о ком-нибудь из них очерк. Слепаков направлялся на передовую по каким-то своим делам.

Было это на второй день после описанного боя. Наши войска, продолжая наступление на правом берегу, успели продвинуться километров на десять — двенадцать. Мы переехали Днепр в изрядно потрепанном «виллисе» по уже наведенному понтону. Широкий дощатый настил упруго подрагивал под колесами машин. Девушка-регулирующая с карабином за спиной лихо помахивала флажками, подгоняя водителей: «Веселее, братья-славяне! Шевели колесами!...»

Дальше от тыловых подразделений 313-го полка пришлось добираться пехом.

Помню развороченный блиндаж — бывший немецкий, теперь приспособленный под КП батальона, изрытое окопами бугристое поле с воронками, заполненными мутной водой, посеченные осколками кусты. И комбата в драной, прожженной телогрейке, смотревшего на нас безумными глазами. Он долго не мог понять, кто я и зачем

* СМЕРШ — «Смерть шпионам!» — официальное название органов военной контрразведки.

оказался здесь, на поле, где залегли обессиленные бойцы его батальона. Впрочем, и немцы притихли, радуясь передышке. Молчали их орудия и минометы. Лишь изредка раздавались беспорядочные автоматные очереди.

Поняв наконец, что я из дивизионной газеты, комбат назвал мне имена нескольких бойцов, которых обязательно следует отметить по смертно. Затем представился лейтенант Слепаков. Я отошел на несколько шагов по ходу сообщения, показывая, что дела СМЕРШа меня нисколько не интересуют. А тут над нашими головами с грохотом, от которого сразу заложило уши, пронеслась пятерка Илов. Впереди, там, где угадывалась линия немецких окопов, вспыхнули раскидистые кусты разрывов.

— Валяй, если жить надоело, — услышал я голос комбата возвратившимся слухом. — Вторая рота залегла за тем холмом. Видишь дерево? Бери на палец вправо. Их, думаю, там и на взвод не наберется. Может, и найдешь своего Исмагулова. Только учти: метров тридцать по открытому добираться. Сам решай, как сподручнее — ползком или вперебежку.

Лейтенант передвинул кобур за спину и, не раздумывая, перекатился за бруствер. Тут же со стороны немецких окопов затрещал автомат. Пули проныли над нашими головами, а лейтенант полз, укрываясь в неглубокой ложинке. И опять в какой-то момент немец засек его. Прозвучала короткая очередь. Наблюдая из-за куста, мы видели, как Слепаков замер, выждал, пока автомат умолкнет, и, тут же вскочив, бросился вперед. Пробежав несколько шагов, упал. И вовремя: вновь ударили автоматы.

— Отчаянный парень, — комбат почему-то неодобрительно покачал головой. — Черт его понес!

А я позавидовал храбрости лейтенанта.

К середине дня в бой вступили части второго эшелона. Немцев опять потеснили, и мы оказались в тылу. Запомнилась пустая, брошенная мазанка — одна из немногих уцелевших в селе. За окном — темное небо с багровой полосой у горизонта. Мы знали, что к утру тыловые службы дивизии придут сюда. Первая машина медсанбата уже разгружалась, и вернувшийся к нам Слепаков успел разжиться спиртом у знакомых солдат. Уже и гуляш поспел.

Разморенные, согретые выпитым, с чувством выполненного долга, мы сидели в темноте, наслаждаясь покоем и безопасностью. Фронт отодвигался дальше на запад.

— Километров десять, — сказал Слепаков, прислушиваясь к далекому рокоту. — Теперь наши попрут, не остановишь. Скис немец, всю силу потерял.

Я со смехом напомнил, как он утром бегал под немецкими пулями.

— Побегашь, когда по тебе лупят очередями! — проворчал Слепаков. — Не по своей воле. Приказано было в одном деле разобратся.

И он рассказал мне такую историю. Перед наступлением замполит принес в подразделение банку краски, кисть и приказал напи-

сать на башне головного танка «За Сталина!». Оказалось, что никто из танкистов не умел красиво выводить буквы. Тогда обратились к стрелкам и нашли среди них Жанабая Исмагулова. До войны он работал оформителем в кинотеатре — афиши писал. Правда, по-казахски. А русский язык знал плохо. Как говорится, ни бельмеса. Замполит начертил ему нужные слова на бумажке и велел точно скопировать.

То ли в спешке, то ли от волнения перед боем Жанабай пропустил букву «т». И получилось у него «За Салина!»

Поначалу никто не заметил. Так и пошла в бой тридцатьчетверка. Под Петриковкой долбануло ее бронебойным. Ведущее колесо вдребезги. Застрыла она у обочины на виду проходящих подразделений второго эшелона. Тут ошибка и обнаружилась.

Кстати, и мы, проезжая на нашем редакционном «газике», видели тот танк. Покорежило его — будь здоров! Но башня уцелела, и надпись на ней со стороны дороги всем была на обозрение. Мы еще порассуждали, что бы с нами сделали за такую опечатку в газете. И все согласились: штрафная рота в лучшем случае.

Дошло, конечно, и до СМЕРШа. Лейтенанту Слепакову приказали разобраться: почему пропущена буква в таком слове? Кто в этом виноват?

Вскоре он разыскал Жанабая в окопе на исходном рубеже, перед штурмом Днепра. Боец стоял перед смершевским офицером навывтяжку — маленький, кривоногий, в обмотках, заляпанных грязью. Скуластое лицо его ничего не выражало, кроме испуга. Он моргал узкими припухшими глазами и явно не понимал, о чем идет речь. На всякий случай пробормотал: «Виноват, товарищ лейтенант, мал-мал ошибка давала». Обычно это выручало. Понадеялся Жанабай, что и на этот раз поможет.

Возвратился лейтенант Слепаков, доложил своему начальнику, что умысла в действиях бойца Исмагулова не усматривает. Буква «т» пропущена по причине слабого знания русского языка. На всякий случай добавил, что командир взвода характеризовал красноармейца Исмагулова вполне положительно.

Тут бы во всей этой истории и поставить точку. Но на беду начальник Слепакова был слишком дотошным. Докопался он каким-то образом, что месяц назад в бою при взятии Харькова погиб некий старшина-связист Иван Салин. И числился он в том же 313-м полку. А что если этот чучмек лишь прикидывается? Не имел ли он в виду именно этого старшину Салина, когда малевал буквы на танке? Нужно точно выяснить, был ли Исмагулов знаком с тем старшиной. И если был, то дело могло получить иную окраску.

— Вот и пришлось мне снова идти на передок, — вздохнул лейтенант. — Пополз по-пластунски.

— Ну и как? — поинтересовался я. — Разобрался?

— Погиб Исмагулов. В Днепре утонул во время штурма. Три человека подтвердили. Я их фамилии записал.

— Зачем?

— Для отчета. А то ведь как бывает? Считают человека погиб-

шим, а он преспокойно в госпитале припухает, раненый. Или прибил к другой части. Но тут я проверил хорошенько. Люди видели: погиб он. Делу конец.

Слепаков достал из кармана алюминиевую коробку с махоркой, оторвал аккуратный квадратик газеты.

— Ваша — «Все для победы», — сказал он, свертывая самокрутку. Щелкнул трофейной зажигалкой. Трепетный голубой огонек осветил тонкий, книзу заостренный нос, впалые щеки, успевшие за роста щетиной, и скошенные к переносью светлые глаза.

— А ведь так и есть, если вдуматься, — сказал он, выпуская дым. — Все для победы. Все на своем месте: и ты со своими блокнотами, и я, и казах этот — Исмагулов.

— Он-то погиб. Нет его.

— Может, и к лучшему. Дело-то заведено было. Ну да ладно. Осталось там? Давай по единой.

На войне как на войне

За маленьким столиком-тумбочкой при скудном свете фонаря «летучая мышь» трудится Толяй Скориков. Вихрастый, нос пуговкой, глаза по-кошачьи желтые, круглые, злые. И сам он какой-то нахохленный, ершистый. Накинув поверх грязной натальной рубахи чужой, явно великоватый засаленный ватник, выставив в сторону левую руку, прибинтованную к согнутой в локте проволоочной шине, по-мальчишески сопя, он старательно выводит красным карандашом буквы на струганых, ровных сосновых дощечках. Каждую букву выдавливает, процарапывает жестким грифелем на мягком дереве, чтоб дольше держалась, когда карандаш смоят дожди. Над фамилией — такая же давленная звездочка. Надо бы краской, да где ее взять?

Косматая тень Толяя шевелится на белом байковом утеплении, похожем на опавший парус, с прорезанными в нем слюдяными окошками.

Я пришел в медсанбат час назад. Сажу на краю дощатого настила рядом с торчащей деревянной шиной, из которой выглядывают обложенные ватой восковые пальцы ноги. Лицо старшины Чехонина, отрешенное, небритое, истонченное страданиями, обращено вверх, туда, где сходятся мягко провисающие полотнища потолка. И выглядит он много старше, мудрее своих двадцати шести лет. На мои вопросы отвечает коротко, без особой охоты, как отвечают по долгу службы — с покорной бесстрастностью, не проявляя особого интереса к тому, что о нем будет напечатан очерк в дивизионной газете.

Пахнув освежающим холодом, в палатку входит медсестра — невысокая, плотная, по-медвежьки неуклюжая, в халате, надетом поверх телогрейки и ватных штанов. Она ставит на табурет ведро со свежей водой, прикрывает его фанеркой и, грея руки над печкой, обращается к Толяю:

— Савину написал?

— Не буду я ему писать. — Толяй мотает кудлатой головой. — Сказал — не буду, значит, не буду!

— Помирает он, — в голосе медсестры строгий укор. — Бредит, не узнает никого.

Толяй молчит, лишь сопит сильнее.

— Нельзя так, — говорит она. — Жаль человека.

— Тебе жаль, ты и пиши! — огрызается Толяй. — Меня бы он не пожалел.

— Это точно, — подтверждает из темноты чей-то мрачный насмешливый голос.

Медсестра вздыхает.

— Зря ты так, — говорит она, забирая готовые дощечки. — Покаялся он, все как на духу рассказал.

— Перед концом все каятся, — слышен из темноты угла тот же не по-доброму насмешливый голос.

— О ком это вы? — спрашиваю я Толяя.

— Лежал тут у нас один. Тяжелый. Живот ему осколком разворотило... Перенесли его в другую палатку — к безнадежным. Кончается он. Может, уже готов. Свое получил...

— Чем же он виноват?

— Да уж виноват! — Толяй снова уткнулся в работу.

Возникает неловкая тишина. Старшина Чехонин, измученный неподвижностью, возится, ерзает на шуршащем брезенте, старается переменить позу, но, видно, не может, только вызывает новую волну боли. Лоб его влажнеет, дыхание становится тяжким, прерывистым, маслаки на сжатых кулаках белеют.

— Дело такое... — приходит он в себя через некоторое время. Говорит шепотом, понизив голос. — В окопе тот боец сидел. Во второй линии... Мы, значит, в атаку, а он позади нас с пулеметом...

— Зачем?

— Чтоб мы назад не побежали! — Это Толяй выкрикивает злобой.

— Что ты несешь! — не верю я. Хотя, честно говоря, и до меня доходили слухи о заградотрядах. — Да разве такое возможно?

— На войне все возможно, — слышится из угла.

— Мы и сами не поверили, — старшина Чехонин с сомнением поджигает пересохшие пергаментные губы. — С другой стороны, не станет же человек перед смертью на себя наговаривать!

— Фашист он, не человек! — Толяй с остервенением царапает карандашом по доске.

— Так ведь приказ. Куда ему деваться? — говорит боец, лежащий рядом с Чехониным. Лицо забинтовано, только нос торчит — желтый, словно кость точеная.

— Приказ?! — Толяй задохнулся. — Ты стал бы такой приказ выполнять?

— За себя не скажу, — с сомнением отвечает забинтованный. — А с другой стороны, может, и надо? Не зря же начальство так решило. Порядок должен быть над нами. А то глядишь, и драпанем.

Тебе-то, видать, не приходилось, а я драпал — будь здоров! От са-мого Рогачева до Смоленска...

Все умолкли. Стало слышно тарахтенье движка, подающего свет в операционную палатку. Взревел натужно мотор застрявшей где-то машины.

— Хорошо, хоть не стрелял он, не довелось...

— Это потому, что мы назад не побежали, — усмехнулся раненый, лежащий в темном углу. — А то бы еще вопрос...

И опять воцаряется тишина.

— Напиши ему доску, — говорит старшина Чехонин после долгой паузы. — Негоже хоронить безымянного. Может, жена придет, дети... Им-то за что? Надо написать, Толя...

Толя молча уткнулся в дощечку.

Дождь попеременно со снегом падал на брезентовые скаты палаток, на застрявшую в грязи полуторку — должно быть, прибыла новая партия раненых. А позади на фоне неба, в котором подрагивали далекие всполохи, темнела зубчатая кромка леса. Там, за оврагом, и находилось медсанбатовское кладбище.

Ой ты, ноченька!

Он сидит за столом, по-бабьи подперев кулаком щеку, и тянет заунывным пьяным голосом: «Ой ты, ноченька, ночь о-осенняя-я!..» Свет коптилки, сооруженной из снарядной гильзы, падает снизу на его конопатое лицо. Крепко зажмурив глаза, ничего не видя и не слыша, он мотает косматой головой: «С кем тебя-а я, но-очь, ко-оро-ота-ать бу-уду!..» Воем надрывно, отчаянно, словно волк, попавший в капкан.

Мне становится не по себе. Стараюсь представить, какая же тьма окутывает душу этого человека, как же ему должно быть страшно и невыносимо тяжело после того, что произошло сегодня на моих глазах.

Рядом, приладившись у светильника, орудует шилом и кривой иглой другой боец, этаким хозяйственный мужичок, усердный и сосредоточенный. Усы у него пшеничные, густые, ухоженные. Они шевелятся в такт движениям руки, протаскивающей смоленую нитку через плотный войлок. Он весь в работе и пьяного соседа словно не замечает.

Этому легче, думаю я, он всего лишь подручный. Хотя, наверное, и у него на душе кошки скребут. Потому и старается отвлечь себя делом. Лучше бы заснул, как тот, третий, что храпит в углу, натянув на голову шинель.

Я прохожу в соседнюю комнату, где поставлены койки для нас с подполковником Родионовым. Он уже готовится ко сну. Послюнив палец, гасит окурки и аккуратно кладет в пепельницу — банку из-под свиной тушенки.

— Ишь, вопит! — подполковник недовольно и брезгливо кивает на закрытую дверь, за которой слышится пьяное пение. — Давно бы

отправить его, бандюгу проклятого, в маршевую роту к едрене матери! Да кем заменишь? В нашем деле с кадрами ой непросто! Сколько переберешь, пока найдешь подходящего. Я ведь этого рябого из штрафбата вызволил.

Сняв ремень с портупеей, кряхтя, стаскивает сапоги.

— Помните у Маяковского: «Я — ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный!» Это про меня. Всю жизнь по колени в говне. Авгиевы конюшни чищу. Представьте себе, с восемнадцати лет, как в ЧОН попал, так и пошло!

Кляча у меня была комбедовская, худючая! Не поймешь, то ли белая, то ли серая. А умнючая, сволочь! Командам подчинялась. Я ей: «Шагом марш!» — она идет, «Стой!» — останавливается, стоит как вкопанная! и поводьев не нужно — вправо, влево — все по команде. Мослами скрипит, копытами грязь месит. А я, свесив ноги, на ней возвышаюсь — молодой, на полную обойму заряженный. Бывало, едем по степи, горланим: «А комсомол смеется, смеется, по Западу несется буржуйам морду бить...» И еще припев у нас был: «Даешь, даешь, по шпалам, по шпалам, живет, брат, наяривай, к коммуне подъезжай!..»

Он и сам худой, костистый, как та комбедовская кляча. Лицо с выпирающими скулами и тяжелым подбородком, удлиненное, тоже вроде бы лошадиное. Сходство усиливается, когда он в улыбке показывает большие редкие зубы.

Представить только, какие кошмары ему по ночам снятся! — думаю я с содроганием.

Комната, где нам предстоит провести ночь, просторная, нежилая. До войны, говорят, в этом доме помещалась контора рудника, при немцах — комендатура.

Утром здесь и проходило заседание трибунала, о котором мне поручено настрочить газетный очерк строк на тридцать — сорок. Заголовок в редакции обговорили заранее: «Обжалованию не подлежит». И начало я успел набросать: «От суровой, но справедливой кары предателю не уйти. Это еще раз убедительно подтвердило решение трибунала, проходившего в освобожденном от фашистов поселке Угольном...»

Председательствовал подполковник Родионов. Подсудимым был человек средних лет — плешивый, узкоплечий, хливатый, по фамилии Ткач. Его руки, связанные за спиной, должно быть, затекли, отчего он все время шевелил пальцами. На его голове, неправильной формы, заостренной к затылку, над седеющим венчиком волос чернела ссадина. Лицо, уже тронутое смертной желтизной, выражало полную обреченность. Едва шевеля бесцветными пергаментными губами, он отвечал на вопросы: «Никак нет, в акциях и карательных операциях не участвовал... Охранять — охранял, велено было. У немца не заперечишь... Паек? А как же — и хлеб, и цукер, что положено в полицейской столовке... Жена и дети есть... В председательство? Признаю полностью...»

Подполковник Родионов, нагоняя суровость и беспощадность, то и дело прерывал его раздраженными окриками, требовал, чтобы

ответы были громкими и ясными: «Пускай народ слышит! Родину предавать не робел, а ответ держать — язык проглотил!»

Людей в комнату набилось полно. Жители поселка, в большинстве женщины, закутанные в платки, смотрели на грозного председателя, на сидевших рядом с ним бессловесных младших офицеров, на бойца-конвоира, мрачного и рябого, неподвижно стоявшего за спиной подсудимого.

Допрашивали и свидетелей. Все в один голос подтвердили: в полиции Ткач служил, зверств особых за ним не замечали, но немцам он продался, это факт. Белую повязку носил, по домам шастал, аусвайсы проверял.

Сам же подсудимый в это время неотрывно смотрел в окно, за которым под холодной осенней моросью другой боец из конвоя — кряжистый, с пышными светлыми усами — ладил виселицу. Работал он не спеша, основательно. Спервоначально отпилил по размеру доску, примерил, годится ли под перекладину. Столбов вкапывать не понадобилось: неподалеку от конторы на нужном расстоянии друг от друга росли две березы. К ним он и приколачивал доску. Стоял на табурете, обухом топора загонял в живую плоть деревьев дюймовые гвозди. Затем, обхватив перекладину цепкими руками, повис на ней для пробы. Спрыгнул, поскреб затылок и, не поленившись, забил еще по гвоздю для верности.

При каждом ударе подсудимый вздрагивал и втягивал плешивую голову в плечи. Он видел, как усатый, положив топор на табурет, перебрисил через перекладину веревку с петлей на конце.

А подполковник Родионов вершил свой суд уверенно, не затягивая его разбором ненужных подробностей, давая понять тоном своих реплик, что приговор будет самым суровым и надеяться на снисхождение подсудимому нечего. Да тот и не надеялся, видя, какие за окном идут приготовления.

Вскоре и прозвучали заключительные слова. Родионов зачитывал их монотонно, устало, по-деловому, не задерживаясь на запятых и точках: за измену Родине — к смертной казни через повешение. Все, в том числе и сам Ткач, знали, что слова эти непременно будут произнесены. Но хоть и не был приговор неожиданным, женщина, сидевшая в первом ряду, ахнула и закрыла лицо ладонями, а Ткач пошатнулся, ноги его стали подкашиваться. Рябой конвоир, привычный и готовый к этому, легко, как кутенка, подхватил приговоренного и поволок к выходу. Следом и люди вывалили из помещения смотреть, как приговор будет приводиться в исполнение.

Откуда-то подоспел третий боец — рослый, черноволосый, с неуклюжей медвежьей ухваткой. Вместе с рябым они поставили на табурет одеревеневшего и, похоже, уже неживого полиция. Черноволосый умело накинул петлю на худую кадыкастую шею, спрыгнул и, не мешкая, хыкнув, с силою пнул табурет. Мгновение, и казненный уже поворачивался на веревке под моросящим дождем, показывая всем свое лицо, искаженное болью и ужасом.

Потом был обед в наспех оборудованной столовой штаба полка, где офицеры обмывали награды, полученные за Пятихатку. Пили,

как положено, за Сталина, за победу, поминали погибших, а их в том бою было немало.

Потрясенный зрелищем казни, я плохо понимал смысл разговоров за столом. На фронте мне доводилось видеть немало смертей. Но это было совсем другое. Я видел перед собой застывшее в гримасе ужаса мокрое от дождя лицо Ткача и пытался представить себя на месте председателя трибунала. Нет, наверное, я бы не смог вынести смертный приговор. Но ведь кто-то должен делать и это!

Присутствовал там и подполковник Родионов. Пил он в меру, держался скромно, неприметно. И тут его сосед, тоже подполковник-пехотинец, хватив стакан водки, должно быть, не первый, спросил севшим голосом: «А вы ведете свой боевой счет? Сколько же у вас их было, если не секрет?» Родионов мрачно посмотрел на него и не ответил.

Потом, уловив момент, я отозвал подполковника-пехотинца и сказал, что задавать такие вопросы бестактно: человеку и без того тошно жить на белом свете. Другой на его месте бы с ума сошел или застрелился. Подполковник с холодной насмешкой посмотрел на меня: «Молод ты, братец, потому и глуп».

Мы готовимся ко сну. Комнату, где проходило заседание трибунала, не узнать: стол вынесен, пол выметен, скамьи расставлены по стенам. Из медсанбата принесены для нас койки, матрацы и одеяла.

Подполковник Родионов со снятым сапогом в руке продолжает свой рассказ:

— С той комбедовской клячи все и началось. Я уже тогда понял: главное — это классовое чутье. А оно человеку от природы дается. Как музыкальный слух — у одного есть, у другого нет. Это ведь я потом образование получил, академию закончил, а поначалу до всего своим умом доходил: и в ЧОНе, и в милиции, и на кадровой работе. Кстати, потом все это законодательно подтвердилось: суд руководствуется законом и пролетарским правосознанием. И Ленин писал: нам надо применять не римское право, а наше революционное правосознание. Ленин!..

Для убедительности он поднимает сапог над головой. В его голосе звучат нотки гордости.

А мне почему-то вспоминаются слова подполковника в столовой: «Молод ты, братец, а потому и глуп». Я подхожу к окну. За мокрым стеклом темно. Где-то неподалеку качается на ветру повешенный. И только я успеваю о нем подумать, как слышится стук и скрип входной двери. «Кого еще черт несет?» — думаю я и выхожу в соседнюю комнату.

В сумраке при свете коптилки вижу женщину, закутанную в платок. Усатый боец отдает ей подшитые валенки и остатки войлока. Она благодарно кивает и, с опаской глянув на меня, сует ему в руку бумажный фунтик, наверное, с махоркой. Затем прячет валенки под платок и торопливо уходит, не сказав ни слова, даже не простившись.

Я спрашиваю усатого, не был ли он до войны сапожником.

— Печник я по профессии, — отвечает он. — А это так, между

делом. Ему-то валенки боле не понадобятся, а ей еще послужат. Зима-то — вот она...

— Так это была жена?.. — я не смог выговорить: повешенного. Усатый подтверждает кивком.

— Ты и в самом деле на все руки, — бормочу я.

— Кое-чего умею, — соглашается он.

— Видел я твою работу: перекладину ты прибил крепко. Но остальное делали они, — взглядом показываю на рябого и того, который храпит в углу.

— А это у нас как придется: сегодня он, завтра я. Мы очередь не устанавливаем.

— Неужто так просто? — не хочу верить я. — Посмотри, как мучается твой приятель. Сразу видно, душа у него болит.

— Еще бы не болеть! — усатый хмыкает и качает головой. — Грамм триста в ней было, никак не меньше!

— В чем? — не понимаю я.

— Папиросницу он профукал. Портсигар то есть.

— Как профукал?

— Обыкновенно, в очко. Старшине из ПФС. Старинная была папиросница, золотая с резбовым узором.

— Откуда она у него?

— Шут его знает. Но цены ей не было. Затоскуешь!

Рябой ничего не видит и не слышит. Раскачиваясь, вопит он с болью: «Ой ты, но-оченька-а! Ночь о-осенн-я-ая!..»

На все про все — пятнадцать минут

Бледный, худой, с неугасающей мукой в задумчивых малоподвижных глазах, майор Орехов сидел в «предбаннике», в новой резиденции комдива.

— Здоров, Егорыч! — приветствовал его с порога командир танкового батальона Кузаков, веселый, пышущий здоровьем, успевший загореть на скудном весеннем солнце. — Ну как, оклемался?

— Вроде бы, — Орехов сконфуженно развел руками. — Полтора месяца на койке. Еле вырвался.

— Не обижает? — Кузаков выразительно глянул на дверь кабинета.

— Грех жаловаться. Да ты поторопись — он тебя ждет.

Сразу посерьезнев, Кузаков одернул гимнастерку, расправил складки под ремнем и, выпятив грудь с орденами, осторожно нажал бронзовую ручку в виде львиной лапы.

— Разрешите, товарищ генерал?

Оставшись один, Орехов с тоской посмотрел в окно. За толстым зеркальным стеклом он увидел газон, изуродованный траншеями, стоящие гуськом штабные «виллисы», приткнувшиеся к ним мотоциклы. За шоссе начиналось поле, на котором ровными рядами выстроились стандартные кресты немецкого кладбища.

На рассвете по шоссе проходили подразделения 21-го стрелкового полка. Гроыхали самоходки. От гула моторов сотрясаясь воздух. А теперь в обратном направлении двигалась нестройная колонна, похожая на безобразную лохматую гусеницу. Изможденные, полуживые люди с трудом волокли ноги. Это были наши военнопленные, освобожденные утром при взятии Рунау в лагере завода «Левекюзен ИГ».

— Будет выполнено, товарищ генерал! — слышался за спиной Орехова бодрый басок Кузакова, выходящего из кабинета. — Тут и дел-то на все про все — пятнадцать минут. Пару раз пройти туда и обратно!..

Прикрыв за собой дверь, по-свойски подмигнул Орехову:

— Знай наших! А ты, брат, совсем закис тут с бумагами. Заглянул бы по-соседски. Чем угостить, всегда найдется.

И блеснул золотой коронкой.

Проводив командира танкового батальона кивком и все той же вымученной улыбкой, Орехов опять уставился в окно. Ему доводилось видеть узников немецких концлагерей — отупевших от голода и непосильного труда, униженно-покорных, уже не проявлявших никакого интереса к своей дальнейшей судьбе.

И каждый раз при встрече с ними вспоминалось лето сорок первого, когда он с отделением связистов чудом вышел из окружения под Борисовом. Сколько бойцов и командиров — безоружных, раненых, выбившихся из сил — металось тогда по лесным болотам в надежде на помощь! А линия фронта с каждым днем отодвигалась на восток.

Может быть, кто-нибудь из этих солдат бредет сейчас по шоссе в этой колонне? Вряд ли — тех уже давно нет.

Он смотрел на текущую массу людей и за их головами видел поле с шеренгами крестов. «Хорош видик!» — проворчал комдив, войдя утром в свой новый кабинет. И велел задернуть шторы на окне, выходящем в эту сторону.

Орехову тоже здесь не нравилось. И это здание из серовато-зеленого кирпича с угловой остроконечной башней и непривычно крутой крышей, прорезанной чердачными окнами под козырьками. И торжественный асфальтовый полукруг у подъезда с гранеными фонарями на чугунных завитках. Не нравились ему полумрак вестибюля, широкие коридоры с шоколадным лоснящимся паркетом. А главное — запах йода, хлороформа и еще чего-то больничного. Он вьелся в портьеры, в кожу диванов и кресел.

Здесь размещался военный госпиталь.

Когда наши бойцы ворвались в него, глазам их предстала страшная картина: в палатах на койках лежали трупы. По их позам, по свежим пятнам крови на постельном белье, на бинтах и гипсовых повязках, по следам пуль на стенах можно было представить, что здесь произошло. Обнаруженный в подвале немецкий врач, трясаясь и заикаясь от страха, подтвердил: раненые, не способные самостоятельно следовать за отступающими войсками, застрелены по собственной просьбе. Это была их последняя воля.

Странно, думал Орехов, своих перестреляли, а пленных не тронули. Не успели? А может, не сочли нужным?

Он продолжал смотреть на идущих в колонне. Передние остановились, должно быть, по чьей-то команде, чтобы дать подтянуться отставшим. Масса людей, одетых в серые робы, сдвигалась, уплотнялась. Задних подгоняли бойцы-конвоиры, сопровождавшие колонну с винтовками наперевес.

Но тут Орехова отвлек быстро нарастающий грохот и гул мощного мотора. По шоссе, нагоняя колонну, мчался танк. Казалось, он вот-вот врежется в замыкающие шеренги. Но, приблизившись к ним, танк остановился и, повернувшись на месте, двинулся в сторону. Качнув башней, перевалил через придорожный кювет, подмял, словно соломины, прутья ограды и ринулся на кладбище. Утюжа гусеницами могильные холмики, вдавливая в землю кресты, тридцатьчетверка вскоре достигла дальнего края кладбища. Пройдя по нему, она выстрелила сизой струей выхлопного дыма, взревела и устремилась в обратном направлении.

Вскоре на месте кладбища темнела земля, взрыхленная и перепаханная стальными траками. И только вдали виднелся случайно уцелевший крест. Он устоял, накренный, словно упершийся в землю рукой.

Кузаков не соврал генералу: на все потребовалось пятнадцать минут. Никак не больше.

Виктор ГИЛЕНКО

СИВКОВО

1

Молоко парное в кружке.
Печь. Дрова. Ведро с золою...
Здесь не верится в клетушки
Между небом и землею.
Верю ветру, солнцу верю,
Что с утра сигналил пчелам,
Занятым в цветах у двери
Делом важным и веселым.
И люблю по-детски свято
Заповедный час покоя:
Тихо полосы заката
Угасают за Окою...
Вечер с доброю звездой,
С щедрым голосом кукушки.
Ковш с колодезной водою.
Молоко парное в кружке.

2

За кустом погаснувшей сирени
Пойменная даль во весь размах,
И ракиты — как зрачки деревни —
На семи ветрах, семи холмах.

Огород напоен. Куст посажен.
Тени опускаются к прудам...
Завершился день простым пейзажем:
Ласточки слетелись к проводам;

Дремлет старый пес, рубашки сохнут,
Банки на заборе зажжены
Солнечным лучом... И уши глохнут
От прощальной летней тишины.

Будет светел августовский вечер.
У дубков по травам поброжу
И у солнца перед новой встречей
Только одного и попрошу:

Чтоб сушились банки и сорочки,
Чтоб стогами сена день пропах,
Чтоб дышала вечность в тихой строчке:
«Ласточки сидят на проводах...»

3

Поле

Скажет август мне:
«Не пора ли?»
Ты придешь на исходе дня —
Хлеб мой скошен, зерно убрали,
И осталась одна стерня.
Но сейчас и ее запашут.
Затемнеет моя земля.
Чернотой вороны замашут,
Одиночество мне суля.
Я такую судьбу приемлю.
Будут ветры да ливней стук.
Но однажды врежется в землю
Беспощадный и мудрый плуг.
И земле одинокой, черной
Станет радостно с ним вдвоем.
И весной
Новые зерна
Шевельнутся в чреве моем.

О ГУЛАГе НЕВИДИМОМ...

К публикации фрагментов
дневника Ольги Берггольц

Милая моя Ольга! Я знаю, что каждый, кто публикует дневники — любые: свои или чужие, а тем более дневники художника, — должен прежде всего задать себе вопрос: ЗАЧЕМ?! И эти странички — не предисловие, не оправдание, а может быть, спор с самой собой: меня долго тормозила твоя запись (повторенная не однажды): «...и снимут ризы мои и раздерут одежды мои...» На продажу?! Эти куски бесстрашной души твоей?! НЕТ! Но в одном из вариантов автобиографии ты пишешь: «...Я не написала огромного количества тех стихов, которые должна была написать. Я не опубликовала... многое. Надеюсь, что всё напишут и опубликуют за меня».

И чем больше в жизни нашей смуты, тем больше необходимости вооружиться прикосновением к душе БЕССТРАШНОЙ прежде всего перед самой собою — что и является основой. А именно это явствует из твоих дневников. «Гляди в глаза!» Так воспитали нас с малолетства: бранят, виноватят — гляди в глаза, обижают, не согласна — гляди в глаза.

Вторая необходимость: явственно запечатленный твой путь по ГУЛАГу невидимому, в который ты вступила, выбравшись из тюрьмы в июле 1939 года, и следовала им до самой кончины (и не оставлена была создателями его и после — в чем убеждали меня по сей день: борьба за сохранение и разыскивание твоего архива, борьба за издание книг твоих с включением материалов архива).

И недаром ты отчеркнула в Библии, настольной своей книге, абзац:

«Являлись им только сами собой горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимое еще худшим» (Библия. Премудрости Соломона, гл. XVIII).

На полях заметка: «Поэзия!» И не только этот стих отчеркнут в удивительных предвидениях Книги...

Храбр не тот, кто не испытывает страха, — храбр тот, кто живет и действует ВОПРЕКИ СТРАХУ.

Невидимый ГУЛАГ — это неотступное насилие над личностью, сладострастные ловушки на фразу, на доверчивость, на осколки Мечты, эксплуатация высокого чувства подлинного патриотизма. Твоя борьба со страхом, пуганием (вечный топор над головой*) — своим и всеобщим, населяемым ненавидимой, всепроникающей системой НКВД (во всех его последующих ипостасях), была поистине подобна борьбе Ангела с Нечистой Силой!

Всё — твоя поэзия, проза, драматургия, отчаянно смелые выступления (ты первая и единственная выступила в 1956 году против постановления ЦК об Ахматовой и Зощенко) — всё боролось за сохранение и возвели-

* См. Триптих 49-го года. Собр. соч. — 1989. — Т. I.

в Кр. Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии.

На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.

Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Это значит, что старик и подобные ему люди (а их, кажется, много — по его словам) либо будут сидеть в наших казармах, или их будут таскать в теплушках около города под обстрелом, не защищая — нечем-с!

Я еще раз состарилась за этот день.

Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты.

Сейчас — полное душевное оупение. Ходоренко² обещал позвонить Грушко (идиот нач. милиции), а потом мне — о результатах, но не позвонил.

Значит, завтра провожаю папу. Вижу его, видимо, в последний раз. Мы погибнем все — это несомненно. Такие вещи, как с папой, — признаки абсолютной растерянности предрежащих властей...

Но что, что же я могу сделать для него?! Не придумать просто!..³

5/IX

Завтра батька идет к прокурору — решается его судьба. Я бегала к т. Капустину⁴ — смесь унижения, пузыри со дна души и т. п.

Вот — заботилась всю жизнь о Счастье Человечества, о Родине и т. д., а Колька⁵ мой всегда ходил у меня в рваных носках, на мать кричала, и никого, никого из близких, родных как следует не обласкала и не согрела, барахтаясь в собственном тщеславии, теоретическом, выдуманном.

Ленинград, я еще не хочу умирать!

У меня телефонов твоих номера,

Ленинград, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса...⁶

Но за эти три дня хлопот за отца очень сблизилась (кажется) с Яшей Бабушкиным⁷, с Юрой Макогоненко⁸. О, как мало осталось времени, чтоб безумненько покрутить с Юрой, а ведь это вот-вот, он даже злился на меня сегодня, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний хмельной холодок, проваливаюсь в искристую темную прорубь...

Это, я знаю, любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне.

А город сегодня обстреливали из артиллерии, и на Глазовой разрушено три дома, и на др. улицах тоже. Я узнала это уже вечером.

Смерть близко, смерть за теми домами.

Как мне иногда легко и весело от этого бывает.

8/IX—9/IX

В ночь на 7/IX на Л-д упали первые бомбы, на Харьковской. В это время (23.25) мы были у меня — я, Яша, Юра М. и Коля. Потом мы пили шампанское, и Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фоно-теку. Слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголок глаза я видела, как нежно и ласково глядел.

Сегодня, в 22.45, был налет на Л-д, я слышала, как свистели бомбы — это ужасно и отвратительно. Все 2 ч. тревоги у меня тряслись ноги и иногда проваливалось сердце, но внешне я была спокойной. Да и сознанием я ничего не боялась, а вот ноги тряслись — б-р-р...

После тревоги (бомбы свищут ужасно, как смерть!) я позвонила в [Дом] радио, Юра говорил со мной... лояльно.

Я хочу успеть. Дай мне еще одно торжество — истинное и преходящее любую победу, дай мне увидеть его жаждущим, неистовым и счастливым. Это немного, о чем я прошу тебя перед свистящей смертью.

Я не прошу тебя о Коле, потому что мы погибнем вместе — я у подъезда, он на крыше. Мы ведь не прячемся в землю, когда они свистят. И ведь еще одно, и мы — **вся Жизнь**.

Мне надо к завтраму написать хорошую передовичку (...). Я обязательно должна написать ее из самого сердца, из остатков **веры**.

Сейчас мне просто трудно водить пером по бумаге. И все же вожу — есть мысли, завтра окончательно оформлю. Хуже всего, что с утра тюкает в голову — ужасно, как весной. Только бы не это, а то выйду из строя.

Начав работать, совершенно остыла к Юре.

Я знаю, что Юра — блажь, защита организма, рассредоточение, и только.

12/IX

(Они прилетели в 9.30, но у нас не грохало.)

Без четверти девять, скоро прилетят немцы. О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унижительное ощущение — этот физический страх.

И все на моем лице отражается! Юра сегодня сказал: «Как вас свернуло за эти дни», — я отшучиваюсь, кокетничаю, сержусь, но я же вижу, что они смотрят на меня с жалостью и состраданием. Опять-таки, это меня злит из-за того, что я не хочу потерять в глазах Юры. Выручает то, что пишу последнее время хорошие (по военному времени) стихи, и ему нравятся.

Он и Яшка до того «проявляют чуткость», что я сегодня, кажется, их обидела, заявив, что не нуждаюсь в ней.

Но, боже мой, я же знаю сама, что готова рухнуть. Фугас уже попал в меня.

Нет, нет — как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело — так, что каждый бы думал: «Это мне» — и умирал заранее. Умер — а она пролетела, но через минуту будет опять — и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание — воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо — убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню... О-о, боже мой!

Сегодня в 9.30, когда начала писать, они вновь прилетели. Но бухали где-то очень далеко. Ложусь спать — а может быть, они будут через час? Через 10 минут? Они не отвяжутся теперь от меня. И ведь это еще что, эти налеты! Видимо, он готовит нечто страшное. Он близко. Сегодня на Палевском в дом как раз напротив нашего дома попал снаряд, много жертв.

Я чувствую, как что-то во мне умирает.

Когда совсем умрет — видимо, совсем перестану бояться. Нет, я держусь, сегодня утром писала и написала хорошее стихотворение, пока была тревога, артобстрел, бомбы где-то вблизи... Но ведь это же ненормально! Человек должен зарыться в землю, рыдать, как маленький, просить пощады. Правильнее бы всего — умертвить себя самой. Потому что кругом позор, «жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»... Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось — «мы готовы к войне».

О, сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи!

Боже, опять надвигается ночь,
И этому не помочь.
Ничем нельзя отвратить темноту,
Прикрыть небесную высоту...⁹

13/IX

О, как грустно, как пронзительно грустно.

Уже почти не страшно — это неплохо, но грустно — именно не тоска, а покорная, глубокая, щемящая грусть. Как о ком-то милом, но очень близком, с кем давно разлучился.

Десять часов, скоро будет тревога.

Сегодня весь день артиллерийский обстрел, и сейчас где-то грохает, но это похоже на нашу. А в половине седьмого, когда я сидела в райкоме, во Дворец пионеров попал артснаряд, и осколок влетел к нам в комнату, разбив стекло. (Я сказала, будто сидела под этим окном, но я сидела под соседним. Похвасталась, как дура, — смешное тщеславие.)

Снаряды ложились на площади Нахимсона, это за несколько домов от нас.

Вчера у меня ночевала Люся, так как на Палевском¹⁰ против нашего дома упал снаряд и стекла в нашем доме вылетели. В этом доме я родилась, жила до 20 лет, здесь был Борька, здесь родилась Ирка. Теперь по нему стреляют.

Ну как же не будет чувства умирания? Умирает все, что было, а будущего нет. Кругом смерть. Свищет и грохает...

А на этом фоне — жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Напр., сегодняшнее собрание. Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а недоедание — острое — уже налицо... Да ведь люди скоро с ног падать начнут!.. Конечно, осажденный город и все такое, но, боже мой, как же довели дело до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена! Ведь немцы все идут и идут вперед, сегодня напечатали, что сдан Чернигов, говорят, что уже сдано Запорожье — это почти вся Украина.

У нас немцами занят Шлиссельбург, и вообще они где-то под Детским Селом...

О, неужели же мы гибнем?

Неужели я уже сдалась — иначе откуда же эта покорная грусть, — и подобно мне сдались также тысячи ленинградцев. Эта грусть, эта томительная усталость — она и у Коли, и, я по глазам вижу, — у Яшки, у многих...

Она еще оттого, что, собственно, ты лишен возможности защищать и защищаться. Ну, я работаю зверски, я пишу «духоподъемные» стихи и статьи — и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, это же ложь. Подала докладную на управхоза, который не обеспечивает безопасность населения, но кем заменишь всех этих цырульниковых, соловьевых, прокофьевых и пр. — все эти кадры, «выращенные» за последние годы, когда так сладострастно уничтожались действительно нужные люди?

Ничтожность и никчемность личных усилий — вот что еще дополнительно деморализует... Нам сказали — «создайте в домах группы в помощь НКВД, чтоб вылавливать шептунов и паникеров». Еще «мероприятие»! Это вместо того, чтоб честно обратиться к народу вышестоящим людям и объяснить что к чему. Э-эх! Но все-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота...

Вот что убивает!..

Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет — ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и все остальное.

Хорошо, хоть это мучительно трудно — буду.

Попробую обеспечить подвалом наших жильцов.

А самой мне во время бомбежки надо быть «на посту», в тухляком беззащитном доме, надеясь только на личное счастье — авось не конек фугасом...

Артиллерия сидит непрерывно, но теперь дальше от нас... Буду сейчас работать — стишок и начало очерка для Юры, затем для спецвещания.

Сигнал В.Т.

Теперь тревог на дню раз по 8 — 10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегаю вниз — совершенно нельзя работать. А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры — о моих слушателях. Мой Васильев¹¹ погиб — господи, какой это ужас, когда узнаешь о гибели знакомого человека. (Тихо, не слышно даже зениток — странно.) Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковом. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.

Аж руки опускаются от немого удивления — да как же допустили до всего этого... (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)

Организм защищается безумно: просто не могу думать, что город будет взят, убьют Колю, Юрку, Яшку, что я не буду приходить в радио, радоваться Юре и малейшим знакам его внимания, сердиться, что он медлит (не потому ли, что в хороших отношениях с Колей, или просто не влюблен ничуть?), что не будет, вдруг не будет всей этой жизни. Настолько не верю в иное, что даже последние дни спокойна: «вздор, ничего не случится».

Но это самозащита организма, я знаю.

Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается.

Мы еще счастливы, что их от Пулкова-то чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои — да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц...

Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз — это рядом, над головой немец) приближается к финалу.

Сегодня Коля закопает эти мои дневники¹². Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления — казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немислимой, удушающей лжи (зенитки палят, но слабо, самолеты идут на очень большой высоте — несомненно, прямо над моей головой. Не страшно ничуть. «В меня не попадет, почему именно в меня, зачем я им») — годы страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории и видели, что на практике, в политике — все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невинности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили себя, и дико, отчаянно пытались верить. (Ох, это немец... Да, по нему пальнули. Он опять над нашим домом, очень высоко, но над нашим... Тоненький свист... бомба? Нет... Бросило в жар... Нет, нет, не бомба... Это немец — почему его не преследуют? Или наш? Взрывов не слышно...)

Зачем я тороплюсь записать все это — все равно я ничего не успела. Т.т. — знайте, я ничего не успела, а могла бы — много!

А Юру хотят забрать «политбойцом» на фронт — ой, не хочу, не хочу, не хочу... И глупо это до бесконечности, как... все, что есть.

Я могла бы жить в Доме радио, работать и спать в хорошем бомбоубежище, но я не иду туда без Коли — стыдно и позорно бросать вернейшего товарища в трухлявом доме, а самой спастись. А его туда нельзя из-за диких его припадков, он будет пугать и без того измотанных людей. (Самолет смолк.)¹³

Мы будем у мамы¹⁴. Мне совестно тоже, что я, политорганизатор дома, ухожу из него. Но, черт возьми, я же здесь абсолютно бесполезна, на 100 % бесполезна, моя санитарная сумка и прочее — это та же видимость, та же ложь, что была и есть повсеместно. И стыдно отказываться даже от этой видимости — такова инерция подчинения уже отрицаемой системе. Но — очень стыдно. Не знаю, что и делать. Конечно, надо позаботиться о себе — хотя бы во имя того, что ведь знаю: смогу, смогу принести истинную пользу людям. А стыдно¹⁵. (Опять низкий рокот самолета над самой головой — все-таки, наверное, это наш, по нему не бьют... А напротив моего окна прямо на крыше сидит мальчишка... Ну, и я буду сидеть и писать очерк, надо, чтоб был близок к настоящему. Эти мальчишки на крыше напротив нашего окна всегда меня успокаивали. В окно видела — низко сейчас пролетели бомбардировщики с нашими звездами... А сердце-то, подлое, как затряслось, пока не отличила звезд...)

Ну из обращения к потомству перед запечатыванием дневников ничего не вышло.

Да и черт тебя знает, потомство, какое ты будешь... И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу — у, как я иногда ненавижу тебя, — а для себя, для нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей — и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить... Как нежно заботятся обо мне Юрка и Яша, как дрожит за меня Николай, как боюсь я за них, как жажду их жизни, как люблю их, и Мусю, и отца, и маму, и Мишку¹⁶, и умерших моих детей, и стихи, и людей — ведь люблю и хочу, чтоб они перестали мучиться хотя бы немного.

Воскреси меня хотя б за это!..

Не листай страницы!

Воскреси!..¹⁷

Тревога все еще длится, изредка что-то ухает — не то далекая бомба, не то зенитка. Теперь далекий гул самолетов. После войны надо уничтожить все самолеты, все, чтоб люди забыли о них! О, неужели те, кому суждено выжить, выдержат все это? Видимо, на днях в городе будет нечто ужасное.

Отбой.

22/IX. Три месяца войны.

Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева... А население? А я? (Я решила записывать все очень безжалостно.)

Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, Боже мой! Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев — наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!.. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, черт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде шумиловы и махановы — кадры помета 37 — 38 года, — но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться.

О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила, как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни — настоящая и официальная.

Где-то глухо идет артиллерийская стрельба.

Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много жертв и разрушений в центре города, недалеко от нашего дома. Об этом молчат, об этом не пишут, об этом («обратно») даже мне не разрешили сказать в стихах. Зачем мы лжем даже перед гибелью? О Ленинграде вообще пишут и вещают только системой фраз — «на подступах идут бои» и т. п. Девятнадцатого в 15.40 была самая сильная за это время бомбежка города. (Это был штурм самого Л-да, как мы знаем теперь, 24/IV-45 г.¹⁸) Я была в ТАССе, а в соседний дом ляпнулась крупная бомба. Стекла в нашей комнате вылетели, густые зелено-желтые клубы дыма повалили в дыру. Я не очень испугалась — во-первых, сидя в этой комнате, была убеждена, что в меня не попадет, а во-вторых, не успела испугаться, она ляпнулась очень неожиданно. Самое ужасное в страхе и, очевидно, в смерти — ее ожидание. А если неожиданно — то пожалуйста. Но я до сих пор не могу прийти в себя от удивления — почему именно бомба упала в дом 12, а не в дом 14, где была я? Значит, все-таки она может попасть и в меня? Значит, мне нигде, нигде нет спасения? Очень странно! Но я не могу ничего написать о своем состоянии, потому что оно с сильной примесью: четвертый день грипп, ломает и лихорадит, да еще очень сильно ударились головой в бомбоубежище — так что трудно определить, что в самочувствии от войны, а что от вневременной настоящей жизни — болезни.

Наверно, если б не было этой головной боли, страшнейшего кашля и насморка, настроение было бы хорошее — насколько оно может быть хорошим в окруженном, осажденном, бомбардируемом и обстреливаемом городе.

Надо оторваться от земли, отрешиться от нее, понять, что тебя

преследуют и все равно настигнут, и пока жить каждым часом, каждой минутой, вопреки всему извлекая из нее драгоценности жизни. Но это противоречит одно другому — отрешиться и извлекать. (Девятый час, скоро, видимо, будет регулярный немецкий налет с бомбами... Я на Троицкой, пойду вниз, если б не лихорадило, я бы, наверное, не боялась и не тряслась — все равно уж.)

Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблен и желает меня, у меня б было приличное состояние. Он странно держится со мною, я не могу понять — есть ли это полное равнодушие или наоборот. Дает массу заказов, я справляюсь с ними прилично (потом обычно портит цензура), разговаривает в шутливо-приказном тоне (сегодня что-то особо, даже с оттенком некоторой злобы — подлинной), очень внимателен — и эта-то внимательность меня особо угнетает. Видимо, я совершенно не нравлюсь ему как баба, а мое отношение к себе он заметил и считает, что может распоряжаться мною, что ему достаточно протянуть руку, чтоб я рассыпалась мелким бесом. Так, между прочим, и будет, но я хочу показать ему, что я от него не завишу, что мне, вообще говоря, наплевать на него в специфическом отношении... А зачем все это? Но я робею перед ним, сегодня пикировала очень неудачно. Я бываю такая страшенькая, жалкая. М[ежду], п[рочим], когда с 15 до 16 я дежурила в Союзе, он пришел туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку — за стихок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, — от счастливого страха. Дура. Мы сидели, не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров — Ленинград еженощно в кольце пожаров.

Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или нескоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде». (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это — самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, будь она трижды проклята, трижды, трижды!! Времени не стало — оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу, хочу еще иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому¹⁹ и прочим.

А завтра детей закуют... О, как мало осталось
Ей дела на свете: еще с мужиком пошутить,
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На белую грудь равнодушной рукой положить...²⁰

А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о

красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я — живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее — немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск. Господи, они же вот-вот могут начать штурм города — и с воздуха, и с суши, уцелеть можно будет чудом, — и вот рухнет все с Юрой... Тем более что его и Яшку все время хотят взять «политбойцами».) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, — мне рассказывали об этом сегодня, это «Письмо Мусе». Да. Оно хорошее. Не хуже было и «Обращение» — да изуродовала цензура и милые мои редакторы. Как бы написать еще что-либо подобное «Машеньке — письма Мусе»? (Ого, артиллерийские снаряды хлопают совсем близко от нас — это немцы. Интересно, откуда бьют? Может ли хлопнуть по дому? Но я их боюсь почему-то меньше... Черт возьми, ну совершенно рядом лопаются, наверное, на Нахимсона.) Пойти вниз, Колька на дежурстве у подъезда, узнать — как и что, и, м.б., сходить в райком за материалом для Юры или самой придумать этого отрядника, ведь придумаю все равно лучше? (Сволочи, они и в темноте бьют, значит, даже не боятся обнаружить свои точки? Господи, да как часто пошли! Ежеминутно! Схожу вниз, узнаю.)

А завтра детей закуют...

Жить! Жить!

24/IX

Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский писатель» в Гостинный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич — я ее очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А одна машинистка, ушедшая в убежище, уцелела. Значит, надо ходить в убежище! Надо бежать туда, сломя голову, как только завоет сирена... Надо спастись, спастись, спастись можно... О, как гнусно! Мне жаль тех людей, а первая мысль — о себе, так сказать, извлечь уроки. Я знаю — так у всех. И верно А.О. говорила: ахнет бомба, и первая, подленькая мысль — не в меня!.. Оправдание лишь в том, что еще не в меня! А работники «Сов. писателя» — это уже мы. Это мы гибнем от бомбы. Это давно знакомые люди, конкретно введенные в сознание. Гибнет вместе с ними что-то и в тебе — хотя я всегда терпеть не могла Семенова, впрочем, он жив (но поражен). Значит, меня все-таки убьют? (Вот опять гремит артиллерия.) Не помню, записывала ли, что при ужасном отступлении из Таллинна погибли Филипп Князев, Цехновицер, Лозин, Инге, Гейзель²¹ — все наши. Непонятно.

Все, как зачарованные, говорят о бомбах, бомбах и бомбах. Ночью сегодня опять были бомбы — на Лиговке и углу Невского и

Лиговки — рядом с Пренделями²². Говорят, что вчера (вчера было 11 тревог) фашисты били с воздуха Кронштадт — значит, пытались уничтожить флот. (Интересно, эта артстрельба — по нам или наша?) Ой, какой у меня кашель, убийственный. Это-то еще к чему?

Я трушу, я боюсь, мучительно боюсь — это очевидно. Как и 99, если не 100 % живущих. Вернее, не смерти боюсь, а жить хочу так, как жила, в основном. Как это так: ворвутся немцы или засыпят нас бомбами — и вдруг Коля будет лежать с выбитым чудесным, прекрасным его глазом (мне почему-то гибель его рисуется именно так, что глаз у него будет при этом выбит), и Юра будет убит с залитым кровью лицом, и Яшка ляжет где-нибудь за камушком, маленький и покорный...

(А артиллерия-то не наша и бьет где-то поблизости.)

Я совершенно не боюсь; в наш дом не попадет, мы за домами, вот на Троицкой — другое дело, там под самой крышей, дом жилой, если туда упадет даже не очень большой фугас — вся середка его рухнет «по винтику, по кирпичику». О, зачем мы сбежали оттуда! Ведь живут же там люди, а я еще политорганизатор дома. Но ведь это липа, липа, это райкомы придумали от беспомощности своей, да и некогда мне заниматься этой липой. Какие тут политорганнзаторы помогут, когда государство бессильно?! Конечно, надо брать судьбу в свои руки — а руки связаны мертвой системой управдомов, РЖУ, штабов, райкомов и т. д. Бюрократическая железная система сковывает все...

Нет, все же попробую хоть что-нибудь сегодня сделать для дома — подать еще раз всякие докладные и т. д.

Кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда... о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем... Мне не дали даже никакого материала, что я буду писать? Их на декламации не надуешь. Я хотела бы написать от сердца, от себя, — даже пусть подписное бы шло. (Тревога, идти в убежище или нет? Подожду, пока не будут палить... О-о!..) Хотелось бы **объясниться** с нею, сказать: «Ну, что ж ты, спаси нас, помоги нам, мы почти на краю гибели»... Но ушла в убежище.

Ночью, 3 часа.

Вот когда умирала Ирочка, я тоже все время писала и писала дневник. Видимо, это помогает не думать о главном.

День прошел сегодня бесплодно, но так как времени нет, то все равно. Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголке прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящихся друг на друга, — матрасишко, на краю — закутанная в платки, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии — неповторимый, большой сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова...

А я должна писать для Европы о том, как героически обороняет-

ся Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.

Она сидит в крошечной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич²³ (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную...» О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы — «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств — сами, сами будем жить»... А говорят, что бомбу на Таню сбросила 16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет будто потом сбили и нашли ее там, — м.б., конечно, фольклор.) О, ужас! О, какие мы люди несчастные, куда мы зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бессилие и ужас. Ничего, ничего не могу. Надо было бы самой покончить с собой — это самое честное. Я уже столько нагала, столько наошибалась, что этого ничем не исправить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать «братайтесь» — невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?

Все эти учения — бред, они несут только кровь, кровь и кровь.

О, мир теперь не вылезет из этой кровавой каши долго, долго, долго, — уж теперь-то я это вижу... Кончится одно — начнется другое. И все будет кровью.

Надо выжить и написать обо всем этом книгу... (Только что припадок у Кольки — зажимала ему рот, чтоб не напугал ребят за стеной, дрался страшно.)

Зачем мы с ним живем, Господи, зачем мы живем, разве мы мало еще пострадали, ничего же лучшего уже не будет, зачем мы живем?

Очень устала душевно за сегодня. Еще эти разговоры с Олесовым (он чудом спасся, убегая из Таллинна, на их пароходишко было 38 воздушных налетов с бомбежкой) — он бормотал о самоубийстве, его приятель, бормотавший о том, что «мы 20 лет ошибались и теперь расплачиваемся», несчастное лицо А. А. Смирнова²⁴, сказавшего просто: «Да, я очень страдаю»...

Чем же я могу помочь им всем? Если б мне еще дали возможность говорить то, что я хочу сказать (опять припадки у Кольки), в том же нашем плане, — еще туда-сюда... А мне не дадут даже прочесть письмо маме так, как оно есть, — уж я знаю.

Нет, нет... Надо что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну, — ложь)... Надо пойти в госпиталь. Помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки. Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах — вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей. Вожди вообще никогда не думают о людях...

Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.

Я дура — просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра — тревоги, страхи, боль...

28/IX

Сегодня в 8 ч. вечера, когда я сидела в газоубежище Дома радио, в соседний дом упали бомбы и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в дом № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться — не слышно было, как они свистели, — предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.

Я уже не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было четыре тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и — конечно, над нами — вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать»...

7/II-42

...А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батка, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет паспорта — и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М.б., сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже нет папы?

Народ умирает страшно. Умерли Левка Цырлин, Аксенов, Гофман — а на улицах, возят уже не гробы, а просто зашитых в одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних санях. Яшка заботится об отправке — спасении нашего оркестра, 250 чел. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».

Кругом говорят о смертях и покойниках.

Неужели мы выживем — вот я, Юра, Яша, папа?

.....

Пол-одиннадцатого — папы нет. О, Господи...

Папа так и не пришел. Просто не знаю, в чем дело. Он очень хотел прийти — я приготовила ему 2 плитки столярного клея, кулек месячки, бутылку политуры, даже настоящего мяса. Что с папой?

Мое омертвление дошло до того, что я даже смеюсь с ребятами...

8/II-42

Папу держали вчера в НКВД до 12 ч., а потом он просто не попал к нам потому, что дверь в Д[ом] р[адио] была уже закрыта. Его, кажется, высылают все-таки. В чем дело, он не объяснил, но говорит, что какие-то новые мотивы, и просил «приготовить рюкзачок». Расстроен страшно. Должен завтра прийти. В чем дело — ума не приложу, чувствую только, что какая-то очередная

подлая и бессмысленная обида. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей²⁵.

Я ходила к отцу несколько дней назад...

Он организовал лазарет для дистрофиков — изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет — уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.

Естественно, мужественно, без подчеркивания своего героизма, человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно, несмотря на горчайшую обиду, нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что собирались выслать, жил общей жизнью с народом — сам народ и костяк жизни города — и вот!

Что-то все-таки откопали и допекают человека.

Власть в руках у обидчиков. Как они распоясались во время войны и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской всенародной человеческой трагедии!

Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов — «и мы пахали!» О мразь, мразы!

С утра настроение было рабочим, хотелось писать о Хамармере²⁶, а сейчас из-за отца вновь все кажется ложью и фальшью.

К чему все наши усилия, если остается возможность терзать честного человека без всяких оснований?

Ни к чему! Ни к чему.

«Друг мой, ты честен: покинь этот край!»

Послесловие и комментарий

¹ Стихи О. Берггольц. 1927 г.

² Ходоренко В. А. — тогда начальник Ленинградского Радиокomiteта — «Дома Радио».

³ Я остановлюсь на первой записи (2/IX-41 г.), то есть на истории нашего отца, так как это было одним из трех «добавочных ударов» по Ольге во время блокады: смерть мужа, Николая Молчанова, высылка отца и снятие т. Шумиловым (обком КПСС) передачи по радио ее поэмы «Февральский дневник».

Эта запись сделана явно еще только по телефонному звонку папы, когда Ольга не знала сути того, что произошло. А произошло вот что: отца вызвали в НКВД и предложили стать стукачом (сексотом). Он с безгневностью отказался: «Это не моя профессия!» Стали пугать — он не испугался. Тогда негодай (пока еще не знаю его фамилии или клички!) обмакнул перо в тушь, перечеркнул папин паспорт и вписал в него 39-ю статью! Дальнейшие записи Ольги говорят о тщетных ее усилиях защитить отца: «5/IX-41 г. Завтра батька идет к прокурору — решается его судьба. Я бегала к т. Капустину — смесь унижения, пузыри со дна души и т. п.»

⁴ Капустин Я. Ф., Шумилов Н. Д., Маханов А. И. — партийные функционеры из Ленинградского обкома КПСС.

⁵ Колька — Николай Степанович Молчанов — муж О. Берггольц. Ее «Главный человек». Умер от голода 29/I-42 г.

⁶ Стихи Осипа Мандельштама

⁷ **Яша Бабушкин** — Яков Львович Бабушкин, художественный руководитель радиокомитета. Человек, сделавший для города чрезвычайно много: создал «театр у микрофона», преобразованный в так называемый блокадный. Теперь это Театр им. Комиссаржевской. Он создал радиохронику, оркестр, сыгравший Седьмую симфонию Шостаковича. Я упоминала о том, что т. Шумилов снял с передачи в эфир «Февральский дневник» (от народа скрывали подлинное положение в Ленинграде), а Яков Бабушкин провел эту передачу своей волей, за что очень скоро не сносил головы — был без причины уволен, разбронирован. Погиб под Нарвой.

После запрещения этой передачи у Ольги была вспышка желания покинуть город. Она записывает 21 февраля 1942 г.: «...Не потому, что — ах, меня обидели, я уезжаю. А потому, что вновь, как в истории с папой, резанул вопрос: да во имя чего же мы бьемся, мучимся, обмирая, ходим под арт-обстрелом, готовимся к гибели? Во имя чего — чтоб владычили шумилковы и волковы? Ведь они же утвердятся в случае победы, им зачтут именно то, что они делают, — а их деятельность состоит сейчас в усиленном умерщвлении живого слова, в уродовании его в лучшем случае. Им ведь ордена за это дадут! Мне не надо орденов, плевала я на них, я хотела бы сказать людям то, о чем говорит мое и — я знаю — их сердце. Но и это на 99 % не удается».

⁸ **Юра** — Юрий (Георгий) Пантелеймонович Молчанов. Тогда редактор Радиокомитета. Позже, когда О. Берггольц овдовела, ее муж.

⁹ Из стихов О. Берггольц.

¹⁰ **Борька** — Борис Петрович Корнилов. Поэт. Первый муж О. Берггольц (расстрелян в 1930 г.). Репрессирован. Погиб в 1937 году.

¹¹ **Васильев** — один из участников литкружка Берггольц на заводе «Электросила».

¹² Дневники были закопаны несколько позже (в штурм города). Вот концовка письма от 26/IX-41 г., переданного мне А. Ахматовой в Москве (О. Берггольц помогла ей эвакуироваться): «Мусинька, на всякий случай — только на всякий случай — знай, мои дневники и некоторые рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Невский, 86. В их деревянном сарайчике. Может быть, когда-нибудь пригодятся». Впоследствии О. Берггольц взяла из тайника дневники и хранила их дома.

¹³ После срочной службы на Кушке у Н. Молчанова возникли эпилептические припадки. Однако уже в первые дни войны он ушел на фронт, но был комиссован в конце июля или начале августа 1941 года.

¹⁴ **Мама** — Мария Тимофеевна Берггольц (1887—1957).

¹⁵ Она и дальше продолжала заботиться о доме № 7.

¹⁶ **Миша** — Михаил Юрьевич Лебединский, сын М. Ф. Берггольц.

¹⁷ Стихи Владимира Маяковского.

¹⁸ Запись внесена позже рукой О. Берггольц.

¹⁹ **Верховский Н.** — поэт. Работал в Ленинградском Радиокомитете. Погиб от голода в 1942 году.

²⁰ Стихи Анны Ахматовой.

²¹ Группа ленинградских и таллинских писателей.

²² **Прендели** — молодой врач-психиатр. Приятель О. Берггольц.

²³ **Таня Гуревич** — сотрудница издательства «Советский писатель». Погибла при бомбежке Гостиного двора.

²⁴ **Смирнов А. А.** — установить личность и судьбу этого человека пока не удалось.

²⁵ Едва ли возможно, чтоб папа так долго не рассказывал Ольге о сути дела (хотя мы так боялись ей навредить, зная ее характер! Ведь отказ «помочь» НКВД, отказ шпионить и доносить был криминалом. Похоже,

что они искали для заявлений другую «причину» — в том, например, чем его пугали: вот ходил к знакомому священнику в карты играть... А тот, бедный, очевидно, уже был арестован (это был отец Вячеслав, отец нашего учителя математики Дмитрия Вячеславовича. Мы его любили, хотя и прозвали Дмитрий Попл).

Когда я приехала в Ленинград по Дороге жизни (25/II-42 г.), папа сразу рассказал мне все дословно.

Примерно с конца сентября все виды связи с Ленинградом были прерваны. Печать и радио преднамеренно не сообщали, что Ленинград вымирает от голода. Около 20 февраля прорвался самолетом из Ленинграда в Москву военкор Василий Ардаматский. Он привез мне твои письма и рассказал, что умер Николай, а ты почти безнадежна. Я кинулась к Фадееву. Оказалось, что даже он не знал истинного положения Ленинграда. Тогда очень быстро была организована машина с подарками ленинградцам, а я оказалась готовой ехать в блокаду и потому была туда командирована.

Ольга записала: «25/II-42 г. ...Утром, когда уходили, на район был дикий артоналет, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагазине птицы. Нас не убило, хотя снаряды ложились везде, близко.

А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.

Она приехала к нам на грузовике с продовольствием, с посылками для Союза писателей, мне тоже большая посылка.

Она ехала кружным путем, одна с водителем, вооруженная пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная. Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобожденных от немцев, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев.

Горжусь ею и изумляюсь ей — вздорной моей, сварливой Муське — до немоты, до слез, до зависти.

Хочет как можно скорее выволочь меня отсюда — и так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила и такой жалкой себе кажусь!

Она привезла много отличных вещей.

Кое-что возьмем обратно в Москву — там тоже плохо, порядочно отдаем папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой».

Я предложила папе: дай вывезу тебя вместе с другими «эвакуками»! Куда там: «Отсюда только на фронт». Ох, наивные мы были люди!

Ольгу я отправила самолетом в состоянии тяжелой дистрофии. О высылке отца этапом мы узнали в Москве.

В дневнике Ольги от 13/IV-42 г. есть такая запись: «От отца с 3/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых, погиб в пути.

...А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать» всего о собственном отце — они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу!

Воюю за то, чтобы стереть с лица советской земли их мерзкий антинародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова — во сколько раз больше и лучше поработали бы мы при полном доверии к нам? Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек

жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство. Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!»

Едва живого отца привезли в Минусинский край...

Сейчас, читая о сталинской политике заложников, я думаю: крестный путь отца был организован для острастки Ольги, чтобы держать ее в покорности. Но тогда нам это и в голову не приходило; боролись за него, как все — с явлениями «общего порядка», а Ольга по-прежнему оставалась самой собой, и невидимый ГУЛАГ — тоже сам собой: то есть убийцей — «не мытьем, так катаньем».

Долгие папины скитания прервались одной знаменательной встречей... На одном из спектаклей в театре Акимова Ольга увидела сидящего почти рядом своего старшего следователя (палача!) А. Н. Фалина. Он был уже главным прокурором города.

«Вы узнаете меня, Ольга Федоровна?» — осклабился он.

«Узнаю». («Меня всю охватила дрожь...» — рассказывала мне она.)

«Чем могу быть вам полезен?»

И у нее хватило сил не плюнуть ему в глаза, а просить об отце.

«Конечно, конечно». (Мол, только-то и всего.)

Через два дня по телефону уже жестко: «Это трудно. Дело в том, что дела — нет!..» А откуда бы ему быть? Однако «индულгенция», как говорил папа, была получена.

Приехал он в Ленинград тяжелобольным. Деревянный дом, где он жил, был разобран на дрова, имущество все пропало. Меньше чем через год он умер (7/XI-48 г.).

²⁰ **Хамармер** — комиссар одной из армий, оборонявших город. Там многократно выступала О. Берггольц.

Протест

Пьеса в одном действии

Перевод
Марианны Семеновой

10 марта 1989 г. на учредительном собрании, провозгласившем создание независимой писательской организации «Апрель», была принята резолюция в поддержку узника совести Вацлава Гавела. Естественно, выражая свое возмущение по поводу беззакония, жертвой которого стал коллега из Чехословакии, мы не могли предвидеть, какая судьба ждет драматурга, имя которого многие из нас слышали в то время впервые. Альманах «Апрель» публикует в этом номере одну из пьес Гавела, очень точно рисующую нравы писательской среды, господствовавшие в не столь уж давние времена. Само собой разумеется, что изображенная драматургом реальность в такой же мере относится к нашей стране, как и к его родине.

Действующие лица: ВАНЕК
СТАНЕК

Место действия: кабинет Станека

На сцене — кабинет Станека. Слева — массивный письменный стол, на нем — пишущая машинка, телефон, очки, множество книг и бумаг. Позади стола — большое окно с видом в сад. Справа — два удобных кресла, между ними — низенький столик. Задняя стена сплошь занята книжными полками, в них же вмонтированы бар и магнитофон. В правом заднем углу — дверь, на правой стене висит большая картина в стиле сюрреализма. Когда открывается занавес, СТАНЕК стоит у письменного стола и с волнением смотрит на ВАНЕКА, который стоит у дверей в одних носках, с портфелем в руке и в растерянности смотрит на Станека. Короткая, неловкая пауза. Затем Станек неожиданно подходит к Ванеку, возбужденно обнимает его обеими руками за плечи и дружески похлопывает.

СТАНЕК. Ванек! Дружище! (Ванек растерянно улыбается. Станек, справившись с волнением, отпускает его.) Долго меня искали?

ВАНЕК. Да нет.

СТАНЕК. Я забыл вам сказать, что вы сразу же узнаете мой дом по цветущим магнолиям. Правда, красивые?

ВАНЕК. Да.

СТАНЕК. Я почти три года бился, чтобы они давали в два раза больше цветов, чем у прежнего хозяина. А у вас на даче есть магнолии?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. Надо обзавестись! Я вам достану пару первоклассных саженцев, сам к вам приеду и собственноручно посажу! *(Подходит к бару, открывает дверцу.)* Коньяк?

ВАНЕК. Пожалуй, нет.

СТАНЕК. Ну хотя бы символически! *(Разливает коньяк, одну рюмку протягивает Ванеку, другую берет сам и поднимает для тоста.)* Со свиданием!

ВАНЕК. Ваше здоровье.

Оба пьют, Ванек слегка вздрагивает.

СТАНЕК. А я боялся, что вы не приедете.

ВАНЕК. Почему?

СТАНЕК. Да знаете, сейчас все так запутано. *(Показывает на кресло.)* Садитесь, пожалуйста. *(Ванек садится в кресло, ставит портфель себе на колени.)* Знаете, а вы за эти годы совсем не изменились.

ВАНЕК. Вы тоже.

СТАНЕК. Я? Ну что вы, полтинник за плечами, голова вся седая, болезни дают о себе знать. Совсем уже не то, что раньше! Да и время сейчас такое, что здоровья не прибавляет. Когда же мы виделись в последний раз?

ВАНЕК. Не помню.

СТАНЕК. Не на вашей ли последней премьере?

ВАНЕК. Возможно.

СТАНЕК. Даже не верится, так давно! Мы тогда немного поздорили.

ВАНЕК. Правда?

СТАНЕК. Вы меня все упрекали в излишнем оптимизме, что я предаюсь иллюзиям. Сколько раз я потом убеждался в вашей правоте! Правда, тогда я еще верил, что хоть какие-то идеалы нашей молодости все-таки можно будет сохранить. Я считал вас неисправимым пессимистом.

ВАНЕК. Да я совсем не пессимист.

СТАНЕК. А вот на тебе, как все повернулось!

Короткая пауза.

Вы пришли один?

ВАНЕК. Что значит «один»?

СТАНЕК. Я в том смысле, что за вами...

ВАНЕК. Следили?

СТАНЕК. Да нет, меня это совершенно не волнует, ведь я же сам вам позвонил.

ВАНЕК. Я ничего такого не заметил.

СТАНЕК. Кстати, если вам когда-нибудь захочется утереть им нос, знаете, где лучше всего это сделать?

ВАНЕК. Где?

СТАНЕК. В большом универмаге. Вы должны затеряться в толпе, потом тайком пробраться в туалет и посидеть там часок-другой. Они решат, что вы незаметно улизнули через другой выход, плюнут и отстанут. Вот нарочно как-нибудь попробуйте. *(Снова направляется к бару, достает оттуда вазочку с солеными палочками и ставит перед Ванеком.)*

ВАНЕК. А у вас здесь тишина, покой.

СТАНЕК. Поэтому мы сюда и переехали. А там, рядом с вокзалом, ну просто невозможно было писать. Мы обменялись три года назад. Но для меня здесь главное — это сад. Я вас потом проведу, похвастаюсь.

ВАНЕК. Вы за ним сами ухаживаете?

СТАНЕК. Теперь это мое самое сильное увлечение. Копаюсь там целыми днями. Вот только что омолаживал абрикосы. Я изобрел собственный метод, основанный на особом способе прививания. Вы не поверите, какие результаты! Я вам потом отберу несколько привоев. *(Подходит к письменному столу, вынимает из ящика пачку заграничных сигарет, спички и пепельницу, кладет все это на столик перед Ванеком.)* Курите, Фердинанд, угощайтесь!

ВАНЕК. Спасибо. *(Берет сигарету и закуривает.)*

Станек садится во второе кресло; оба пьют.

СТАНЕК. Ну, рассказывайте, как живете?

ВАНЕК. Спасибо, ничего.

СТАНЕК. Хоть ненадолго-то они оставляют вас в покое?

ВАНЕК. Как когда.

Короткая пауза.

СТАНЕК. А как там?

ВАНЕК. Где?

СТАНЕК. Неужели человек нашего склада в состоянии это выдержать?

ВАНЕК. Вы имеете в виду тюрьму? А что ему остается?

СТАНЕК. Насколько я помню, у вас когда-то были проблемы с геморроем. При тамошней гигиене это, должно быть, невыносимо.

ВАНЕК. Мне прописывали свечи.

СТАНЕК. Вам бы нужно лечь на операцию. У меня есть один приятель, самый крупный у нас специалист по геморрою, настоящие чудеса творит. Я с ним поговорю насчет вас.

ВАНЕК. Спасибо.

Короткая пауза.

СТАНЕК. Знаете, иногда мне все это уже представляется как какой-то прекрасный сон: прежние наши премьеры, вернисажи, лекции, разные встречи, бесконечные споры об искусстве! Сколько энергии, надежд, планов, идей! Не пересчитать всех винных погребков, в которых мы просиживали до утра, диких кутежей и скандалов! А сколько прекрасных девушек вертелось вокруг нас! И ведь при этом как мы много всего успевали, как работали! Этого уже никогда не воротить! *(Замечает, что Ванек сидит в одних носках.)* Боже мой, да вы разулись?

ВАНЕК. М-да...

СТАНЕК. Это совсем ни к чему.

ВАНЕК. Да нет, все в порядке, не беспокойтесь.

Пауза; оба пьют.

СТАНЕК. А там бьют?

ВАНЕК. Бывает. Но политических, как правило, нет.

СТАНЕК. Я часто о вас думал.

ВАНЕК. Спасибо.

Короткая пауза.

СТАНЕК. Но все равно, тогда мы и предположить не могли...

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. К чему все это приведет. Да и вы ведь тоже не предполагали.

ВАНЕК. Гм...

СТАНЕК. Какая всё это гадость, дружище, просто мерзость! Народом управляют подонки, а что народ? Неужели это тот самый народ, который еще несколько лет назад вел себя так достойно? А теперь подобострастно гнет спину?! Всюду только корыстолюбие, коррупция и страх! Что они с ним сделали? Мы ли это?

ВАНЕК. Я бы не стал так мрачно...

СТАНЕК. Не сердитесь, Фердинанд, но вы не живете в нормальной среде, вы общаетесь только с теми, кто способен этому противостоять, вы вселяете друг в друга надежду. А видели бы вы, в чем приходится жить мне! Ваше счастье, что у вас со всем этим уже нет ничего общего! Нормального человека тошнит от всего этого!

ВАНЕК. Вы про телевидение?

СТАНЕК. На телевидении, в кино, да везде!

ВАНЕК. Недавно по телевизору показывали какую-то вашу вещь.

СТАНЕК. Вы даже представить себе не можете, что это была за пытка! Год они ее не пропускали, несколько раз перекраивали, потом изменили мне целиком все начало, да и конец тоже. Это уму непостижимо, к каким глупостям они придираются. Им подавай хорошую интригу при полной стерильности! Интрига и стерильность! Сколько раз я себе говорил, что лучше плюнуть на все это, забиться куда подальше, выращивать себе абрикосы...

ВАНЕК. Я понимаю.

СТАНЕК. Но только все равно не перестаешь задавать сам себе один и тот же вопрос: а имеешь ли ты право на подобное бегство? А что если то небольшое, что ты еще в силах сегодня сделать, может хоть кому-то принести какую-то пользу, кого-то поддержать или ободрить? *(Встает.)* Я все-таки принесу вам тапочки.

ВАНЕК. Не затрудняйте себя.

СТАНЕК. Вы серьезно?

ВАНЕК. В самом деле, не стоит.

Станек снова садится. Пауза; оба пьют.

СТАНЕК. А наркотики? Вас там, наверное, пичкали чем-нибудь?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. И никаких подозрительных уколов не делали?

ВАНЕК. Только витаминные.

СТАНЕК. Но в пищу-то наверняка что-нибудь подмешивали.

ВАНЕК. Разве что бром — против секса.

СТАНЕК. Но как-то надломить они вас пытались?

ВАНЕК. Пожалуй.

СТАНЕК. Если вам не хочется об этом говорить, не надо.

ВАНЕК. В определенном смысле в этом, собственно, и заключается главная цель тюремного заключения — сбить с человека излишнюю спесь.

СТАНЕК. И заставить говорить.

ВАНЕК. М-да...

СТАНЕК. Если бы меня когда-нибудь вызвали на допрос, а рано или поздно мне этого не миновать, то знаете, как я думаю с ними себя вести?

ВАНЕК. Как?

СТАНЕК. А просто ничего не отвечать, и все! Я вообще не стану с ними разговаривать! Это лучше всего, по крайней мере можешь быть уверен, что не сболтнешь ничего лишнего.

ВАНЕК. Гм...

СТАНЕК. Но все равно, какие железные нервы надо иметь, чтобы такое выдержать! Да еще при этом делать все то, что вы делаете.

ВАНЕК. Вы о чем?

СТАНЕК. Ну, все эти протесты, письма, петиции, борьба за права человека... в общем, все, чем занимаетесь вы и ваши друзья.

ВАНЕК. Да я не так уж много и делаю...

СТАНЕК. Только не будьте вы чересчур скромным, Фердинанд, я же за всем слежу!.. Если б каждый делал то, что делаете вы, все бы выглядело совсем по-другому! Это необычайно важно, что у нас здесь есть хотя бы горсточка людей, которые не боятся вслух говорить правду, называть вещи своими именами, вступаться за других! Быть может, это прозвучит слишком патетично, но мне представляется, что вы со своими друзьями взвалили на себя почти сверхчеловеческую задачу: сохранить в этом нашем болоте хотя бы остатки нравственности! Правда, эта ниточка, которую вы прядете, очень тонка, но, возможно, именно на ней еще держится надежда на нравственное возрождение нации!

ВАНЕК. Вы преувеличиваете.

СТАНЕК. По крайней мере, я так это воспринимаю.

ВАНЕК. Но эта надежда жива во всех порядочных людях.

СТАНЕК. Да сколько таких осталось-то? Сколько?

ВАНЕК. Достаточно.

СТАНЕК. А если так, то почему только вы одни на виду?

ВАНЕК. Может быть, именно благодаря им нам и легче дышится?

СТАНЕК. Не скажите! Чем больше вы на виду, тем большая ответственность на вас ложится по отношению ко всем тем, кто о вас знает, верит вам и надеется на вас, кто тянется к вам как к спасителям в какой-то мере и их чести тоже! *(Поднимается.)* Нет, я все же сбегая за тапочками.

ВАНЕК. Право, вовсе незначечем.

СТАНЕК. У меня, глядя на вас, у самого ноги зябнут. *(Выходит из комнаты и тут же возвращается с тапочками, наклоняется над Ванеком и, хотя тот пытается сопротивляться, надевает их ему на ноги.)*

ВАНЕК *(смушаясь)*. Спасибо.

СТАНЕК. Помилуйте, Фердинанд, какие пустяки! *(Идет к бару, достает коньяк, хочет налить Ванеку.)*

ВАНЕК. Мне уже хватит, благодарю.

СТАНЕК. Что так?

ВАНЕК. Мне как-то не по себе.

СТАНЕК. Там-то, наверное, отвыкли, а?

ВАНЕК. И это тоже, но, главное, мы вчера, так получилось...

СТАНЕК. А, понимаю, загуляли немного. Слушайте, а вы знаете этот новый кабачок «У пса»?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. Там вина подают прямо из винных погребов и совсем недорого. Народу немного, а интерьер просто очаровательный. Нескольким приличным художников постарались, даже удивительно, как им разрешили проектировать оформление. Искренне рекомендую! А вы где вчера побывали?

ВАНЕК. Да мы вышли немного прогуляться с моим приятелем Ландовским...

СТАНЕК. А, тогда понятно, с ним иначе и не могло закончиться! Он, конечно, выдающийся актер, но как выпьет, пиши пропало! Но еще одну рюмочку вы осилите. *(Наливает себе и Ванеку коньяк, ставит бутылку обратно в бар и садится в свое кресло. Короткая пауза.)* Ну, а вообще как у вас дела? Пишете что-нибудь?

ВАНЕК. Пытаюсь.

СТАНЕК. Пьесу?

ВАНЕК. Да, одноактную.

СТАНЕК. Опять что-нибудь автобиографическое?

ВАНЕК. Отчасти.

СТАНЕК. Мы тут с женой недавно прочли ту вашу, о пивном заводе, от души посмеялись.

ВАНЕК. Я рад.

СТАНЕК. Правда, к сожалению, слепая копия попалась.

ВАНЕК. Это жалко.

СТАНЕК. Прелестная вещица, ничего не скажешь! Вот только финал мне показался несколько стертым, хотелось бы какой-то более определенной точки. Вы ведь это умеете!

Пауза; оба пьют. Ванек слегка вздрагивает.

Ну, а в остальном? Как там Павел? Виделись с ним?

ВАНЕК. Да.

СТАНЕК. Он пишет?

ВАНЕК. Дописывает, тоже одноактовку. Ее должны играть вместе с моей новой пьесой в одном спектакле.

СТАНЕК. Так вы уже и как авторы солидаризировались?

ВАНЕК. В некотором роде.

СТАНЕК. Откровенно говоря, Фердинанд, я все-таки до конца

не могу понять этого вашего альянса. Ведь Павел, я уж не знаю, но вы вспомните хотя бы, как он начинал! Мы принадлежим к одному поколению, прошли, так сказать, один путь развития, но то, что он вытворял, признаюсь вам, даже меня несколько шокировало! Но, с другой стороны, конечно, это ваше дело, вы в конце концов сами лучше знаете, что делаете.

ВАНЕК. Безусловно.

Пауза; оба пьют. Ванек слегка вздрагивает.

СТАНЕК. А ваша жена любит гладиолусы?

ВАНЕК. Не знаю, но думаю, наверняка.

СТАНЕК. Вы мало где встретите такой выбор, какой есть у меня. Тридцать два оттенка, в то время как даже в цветоводческих хозяйствах вы насчитаете самое большее шесть. Как вы думаете, она обрадуется, если я ей с вами пошлю несколько луковиц?

ВАНЕК. Не сомневаюсь.

СТАНЕК. Сейчас еще не поздно сажать. *(Встает, подходит к окну, выглядывает в сад, затем с минуту в задумчивости прохаживается по комнате, потом поворачивается к Ванеку.)* Фердинанд!

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Вас не удивило, что я вдруг ни с того ни с сего обьявился?

ВАНЕК. Немного.

СТАНЕК. Я так и подумал. В конце концов я же принадлежу к тому слою людей, которые все еще как-то, худо-бедно держатся на плаву, и я понимаю, что уже только из-за одного этого вы, вероятно, относитесь ко мне с некоторым подозрением.

ВАНЕК. Я? Да нет.

СТАНЕК. Вы лично, может быть, и нет, но некоторые ваши приятели, я знаю, полагают, что всякий, у кого сегодня еще имеются какие-то возможности, либо морально сдался, либо непростительно заблуждается.

ВАНЕК. Я так не считаю.

СТАНЕК. Если бы вы тоже так думали, на вас я бы не был в обиде, потому что очень хорошо знаю, откуда родилось это предубеждение.

Неловкая пауза.

Фердинанд!

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Я знаю, как дорого вам обходится то, что вы делаете. Но не думайте, что человеку, к которому официальные инстанции пока еще относятся терпимо, приходится так уж легко.

ВАНЕК. Вероятно.

СТАНЕК. В каком-то смысле ему, может быть, даже тяжелее.

ВАНЕК. Я понимаю.

СТАНЕК. Но я, разумеется, пригласил вас не с тем, чтобы оправдываться, да, собственно, и не в чем. Просто я уважаю вас, и мне было бы неприятно, если бы и вы тоже разделяли те предубеждения, которые, по-моему, бытуют среди ваших друзей.

ВАНЕК. Насколько мне известно, никто о вас плохо не отзывался.

СТАНЕК. И Павел?

ВАНЕК. И он тоже.

Напряженная пауза.

СТАНЕК. Фердинанд!

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Простите. *(Подходит к магнитофону и включает громко музыку.)* Фердинанд, вам что-нибудь говорит имя Явурек?

ВАНЕК. Тот песенник? Я хорошо с ним знаком.

СТАНЕК. Тогда, наверное, вы знаете, что с ним приключилось?

ВАНЕК. Конечно. Его арестовали за то, что на каком-то своем концерте он рассказал этот известный анекдот о полицейском, который повстречал на улице пингвина.

СТАНЕК. Разумеется, это был только предлог. Он просто действовал им на нервы уже хотя бы тем, что пел так, как ему хотелось. Как это нелепо, подло, жестоко!

ВАНЕК. И трусливо.

СТАНЕК. Да, именно трусливо. Я попытался ему как-то помочь через кое-каких знакомых в городском комитете и в прокуратуре. Но вы ведь знаете, сначала все обещают, что разберутся, а потом плюнут, потому что не хотят впутываться в неприятную историю. Каждый трясется за свою шкуру.

ВАНЕК. Но все же это очень отрадно, что вы попытались что-то предпринять.

СТАНЕК. На самом деле, дорогой Фердинанд, я совсем не тот, за кого меня в ваших кругах принимают!

Неловкая пауза.

Так насчет этого Явурека.

ВАНЕК. Да-да.

СТАНЕК. Когда мне не удалось ничего добиться своим личным вмешательством в это дело, я подумал: а что если попытаться с другого конца, скажем, составить какой-то протест или петицию?.. Вот как раз об этом я и хотел с вами посоветоваться. У вас в этих вещах куда больше опыта. Если бы под таким протестом стояло два-три известных имени, таких, например, как ваше, его бы наверняка напечатали где-нибудь за границей. Это бы вызвало определенный политический резонанс. Хотя на такие вещи у нас не слишком обращают внимание, но я, честное слово, просто не вижу другой возможности помочь этому пареньку, я уж не говорю об Анче.

ВАНЕК. Какой Анче?

СТАНЕК. Дочери.

ВАНЕК. Вашей?

СТАНЕК. Ну да.

ВАНЕК. А она...

СТАНЕК. Я думал, вы в курсе.

ВАНЕК. О чем?

СТАНЕК. Она ждет от него ребенка.

ВАНЕК. Ах вот оно что!

СТАНЕК. Постойте, если вы думаете, что эта история интересует меня только в связи с семейными обстоятельствами...

ВАНЕК. Я знаю, что не только.

СТАНЕК. Вы сказали...

ВАНЕК. Я только хотел сказать, что теперь понял, каким образом вы узнали о том, что произошло. Я просто не мог предположить, что вы следите за успехами молодых бардов. Простите, если это прозвучало так, что я якобы подумал, что...

СТАНЕК. Я был бы рад помочь и в том случае, если бы даже кто-то другой ждал от него ребенка.

ВАНЕК. Охотно верю.

Неловкая пауза.

СТАНЕК. Так что вы скажете об этой идее с протестом?

Ванек начинает рыться в своем портфеле, что-то ищет, наконец вытаскивает из него какую-то бумагу и подает ее Станеку.

ВАНЕК. Вы имеете в виду что-то в этом роде?

Станек берет у него бумагу, быстро подходит к письменному столу, находит очки, надевает их и начинает внимательно изучать текст. Длинная пауза. На лице Станека все отчетливее проступает удивление. Дочитав бумагу, он снимает очки и возбужденно начинает прохаживаться по комнате.

СТАНЕК. Нет, это просто удивительно! Какое совпадение! Я тут мучаюсь, ломаю голову, как это лучше сделать, наконец решаю обратиться за советом к вам, а у вас уже все давно готово! Поразительно! Я чувствовал, что обращаюсь по верному адресу! (*Возвращается к столу, снова надевает очки и еще раз читает текст.*) Это как раз то, о чем я думал! Коротко, все по существу, интеллигентно, но при этом жестко и решительно! Сразу чувствуется рука профессионала! Я бы над этим корпел целый день, но вряд ли сочинил бы что-то подобное.

Ванек смущенно краснеет.

Но вот только один момент, в сущности, пустяк. Вы полагаете, что вот тут, в самом конце, слово «произвол» звучит уместно? Может быть, стоит подыскать какой-то более умеренный синоним? По-моему, оно несколько выпадает из общего стиля. Весь текст составлен в таком деловом тоне, а вот это звучит как-то чересчур эмоционально, у вас нет такого впечатления? А в остальном очень удачно, в самую точку. Вот разве что второй абзац, может быть, несколько лишний. По сути дела, в нем только разжевывается содержание первого. Но, с другой стороны, здесь, конечно, содержится очень важная мысль о влиянии Явурека на независимо мыслящую молодежь, это, несомненно, нужно оставить. Если, скажем, эту фразу перенести в конец, вместо этого самого «произвола», то было бы вполне достаточно. Хотя, разумеется, это мои чисто субъективные соображения, их вовсе необязательно принимать в расчет. В целом все замечательно и, безусловно, возымеет свое действие. Еще раз не могу не выразить вам, Фердинанд, своего восхищения. Умение так точно ухва-

тить суть вопроса и при этом избежать каких бы то ни было ненужных нападок, это, поверьте, мало кому из нас дано!

ВАНЕК. Ну что вы!

Станек откладывает очки, подходит к Ванеку, кладет перед ним бумагу, затем снова садится в свое кресло и пьет.

Короткая пауза.

СТАНЕК. А все-таки какое это прекрасное ощущение — знать, что рядом есть кто-то, к кому всегда можно обратиться по такому вопросу, на кого можно положиться!

ВАНЕК. Но ведь это вполне нормально.

СТАНЕК. Для вас, может быть, и так, но в тех кругах, в которых вынужден вращаться я, это отнюдь не является нормальным! Там нормой считается скорее обратное: когда кто-то попадает в беду, все торопится как можно быстрее от него отвернуться и только из страха потерять свое положение стараются что есть сил всем дать понять, что с этим человеком у них никогда не было ничего общего и что они всегда его всячески осуждали. Да что мне вам рассказывать, вы это и сами прекрасно знаете. Ведь пока вы были в тюрьме, ваши давнишние друзья по театру публично выступали против вас на телевидении! Какая мерзость!

ВАНЕК. Я на них зла не держу.

СТАНЕК. А я напротив! И открыто им об этом говорил! Знаете, человек в моем положении ко всему научится привыкать, но, вы меня извините, все имеет свои границы! Я понимаю, вам неловко пристыдить этих молокососов, потому что дело касается лично вас, но вы обязаны от этого абстрагироваться! Если мы начнем терпимо относиться к подобному свинству, то нам придется целиком взять на себя ответственность вообще за весь этот кошмар и абсурд, и тем самым мы только будем способствовать его дальнейшему углублению. Скажете, я не прав?

ВАНЕК. Гм...

Короткая пауза.

СТАНЕК. Вы уже отослали это?

ВАНЕК. Нет, пока еще собираем подписи.

СТАНЕК. И сколько уже подписалось?

ВАНЕК. Примерно пятьдесят человек.

СТАНЕК. Пятьдесят? Это хорошо.

Короткая пауза.

Значит, я явился, как говорится, к шапочному разбору.

ВАНЕК. Совсем нет.

СТАНЕК. Так ведь все уже готово.

ВАНЕК. Пока еще только готовится.

СТАНЕК. Да, но ведь уже ясно, что это будет послано и напечатано... Кстати говоря, вам, наверное, не стоит отдавать это агентствам новостей, они дадут лишь краткую информацию. Лучше всего послать прямо в какую-нибудь крупную европейскую газету, чтобы вышло все целиком, со всеми подписями!

ВАНЕК. Я знаю.

Короткая пауза.

СТАНЕК. Думаете, об этом уже стало известно?

ВАНЕК. Вы имеете в виду — в полиции?

СТАНЕК. Ну да.

ВАНЕК. Не знаю, но, скорее всего, нет.

СТАНЕК. Послушайте, я, конечно, не берусь давать вам советы, но у меня такое ощущение, что все это надо завершить как можно быстрее, а то еще, чего доброго, они что-то пронюхают и попытаются помешать. Ведь пятидесяти подписей вполне достаточно, в конце концов, дело не в количестве фамилий, а в их значимости.

ВАНЕК. Каждая подпись имеет значение.

СТАНЕК. Разумеется, но с точки зрения паблисита за границей важнее всего в первую очередь, чтобы это были какие-то громкие имена. Кстати, Павел подписался?

ВАНЕК. Да.

СТАНЕК. Это хорошо. Пускай о нем думают что угодно, но его имя сегодня в мире что-то да значит!

ВАНЕК. Вне всяких сомнений!

Короткая пауза.

СТАНЕК. Послушайте, Фердинанд.

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Я еще кое о чем хотел с вами поговорить. Это немного деликатный вопрос.

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Послушайте, я, разумеется, никакой не миллионер, но все же пока что с деньгами дела у меня обстоят не так уж плохо.

ВАНЕК. Это превосходно.

СТАНЕК. Так я подумал, ну просто мне захотелось... В ваших кругах ведь так много людей, которые лишились работы... Так, может быть, вы бы взяли у меня для них какую-то сумму?..

ВАНЕК. Это очень благородно с вашей стороны. Действительно, некоторые из них в бедственном положении. Хотя, знаете, это всегда бывает затруднительно решить, как это лучше сделать, потому что как раз те, кто больше всех нуждается, как правило, упорнее всего отказываются от помощи.

СТАНЕК. Это не бог весть какие деньги, но, я думаю, это тот случай, когда каждая крона не лишняя. *(Подходит к столу, достает из ящика две банкноты, потом ненадолго задумывается, достает еще одну, подходит к Ванеку и протягивает ему деньги.)*

ВАНЕК. Спасибо, от души благодарю от имени всех.

СТАНЕК. Мы ведь должны помогать друг другу. Но не говорите, что это от меня, я не забочусь об общественном признании таким способом, вы уже могли в этом убедиться.

ВАНЕК. Конечно, еще раз большое спасибо.

СТАНЕК. Может быть, выйдем посмотрим сад?

ВАНЕК. Пан Станек.

СТАНЕК. Да?

ВАНЕК. Завтра мы собираемся это послать, я имею в виду протест по поводу Явурека.

СТАНЕК. Вот и прекрасно! Чем быстрее, тем лучше.

ВАНЕК. Так что сегодня еще можно...

СТАНЕК. Сегодня вам прежде всего необходимо хорошенько выспаться! После вчерашнего вы устали, а завтра вас ждет нелегкий денек.

ВАНЕК. Я знаю, просто я хотел сказать...

СТАНЕК. Идите-ка лучше прямо домой, отключите телефон, а то снова позвонит какой-нибудь Ландовский, и бог знает, чем это закончится!

ВАНЕК. Да-да, вот только забегу еще по нескольким адресам, это недолго. Я просто вдруг подумал... Если бы вы это посчитали разумным, было бы замечательно... Ведь вашим «Крахом» когда-то зачитывались все...

СТАНЕК. Помилуйте, Фердинанд, когда это было, пятнадцать лет прошло!

ВАНЕК. Но о нем не забыли.

СТАНЕК. А что, вы сказали, было бы замечательно?

ВАНЕК. Мне показалось, знаете, что и у вас возникло желание...

СТАНЕК. Какое желание?

ВАНЕК. Как-то присоединиться.

СТАНЕК. Вы имеете в виду *(показывает на бумагу)* вот к этому?

ВАНЕК. Да...

СТАНЕК. Я?

ВАНЕК. Простите, может, мне показалось...

Станек допивает свой коньяк, идет к бару, достает бутылку, наливает себе еще, в раздумье направляется к окну, некоторое время смотрит в окно, потом неожиданно с усмешкой поворачивается к Ванеку.

СТАНЕК. Ну надо же такому случиться!

ВАНЕК. А что случилось?

СТАНЕК. Разве вы не чувствуете абсурдность всей этой ситуации? Я приглашаю вас для того, чтобы попросить что-нибудь написать в защиту бедного Явурека, вы же показываете мне готовый текст, как говорится, «нота бене» с пятьюдесятью подписями, я глазам и ушам своим не верю, радуюсь, как ребенок, сам места себе не нахожу, все думаю, как это лучше организовать, чтоб вам никто в этом не воспрепятствовал. Но при этом мне даже в голову не приходит самая простая и естественная вещь, которая просто напрашивается: что я сам могу немедленно тоже поставить под этим свою подпись! Ну скажите, не абсурд ли это?

ВАНЕК. Гм...

СТАНЕК. Но ведь это же просто еще одно чудовищное доказательство того, до чего нас довели! Вы только задумайтесь: я сам, хотя и прекрасно понимаю, что это несусветная нелепица, но ведь я тоже невольно уже свыкся с мыслью, что для подписывания подобных бумаг у нас существуют совершенно определенные люди — диссиденты, так сказать, специалисты-профессионалы по части солидарности! И когда нам, всем прочим, вдруг нужно предпринять какие-то шаги, касающиеся обыкновенной порядочности, мы тут же автоматически обращаемся с этим к вам, как в какое-то бюро услуг

по делам морали и нравственности! Мы здесь влачим свое существование только затем, чтобы держать язык за зубами, и за это обретаем относительное спокойствие и благополучие, в то время как вы существуете для того, чтобы за нас говорить и получать за это пинки на грешной земле, за которые вам воздастся только на небесах! Это же противоестественная ситуация, вы понимаете?!

ВАНЕК. Гм...

СТАНЕК. Вот видите, им удалось добиться того, что даже в общем-то интеллигентный и порядочный человек, к каким я, с вашего позволения, себя пока еще отношу, принимает подобное положение вещей чуть ли не за норму! Это просто чудовищно, до чего мы докатились, чудовищно! Вас самого не тошнит от этого?

ВАНЕК. В общем, конечно.

СТАНЕК. Что же делать? Что делать? Теоретически все просто: каждый должен начать с себя. Но разве вокруг все такие, как вы? Не могут все быть борцами за права человека!

ВАНЕК. Само собой.

СТАНЕК (*берет со стола очки и подходит к Ванеку*). Где это у вас?

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. Ну, эти списки подписавшихся?

Напряженная пауза.

ВАНЕК. Пан Станек.

СТАНЕК. Ну что?

ВАНЕК. Вы уж не сердитесь, но у меня вдруг сейчас возникло какое-то неприятное ощущение...

СТАНЕК. Какое ощущение?

ВАНЕК. Даже не знаю, мне очень неловко, но, по-моему, я со своей стороны допустил бестактность.

СТАНЕК. Какую бестактность?

ВАНЕК. Получилось так, что я вас вроде как припер к стенке.

СТАНЕК. В каком смысле?

ВАНЕК. Ну, сначала дал вам высказаться начистоту, а потом только предложил подписаться, когда вы были уже внутренне связаны тем, что сказали перед этим.

СТАНЕК. Вы хотите этим подчеркнуть, что если бы я заранее знал, что вы собираете подписи за Явурека, то и не начал бы этого разговора?

ВАНЕК. Нет, не совсем так.

СТАНЕК. А как же тогда?

ВАНЕК. Как бы вам это сказать...

СТАНЕК. Или вам не понравилось, что я сам этого не предложил?

ВАНЕК. Не в том дело.

СТАНЕК. А в чем же?

ВАНЕК. Просто мне кажется, что, если бы я пришел специально за вашей подписью, это было бы совсем другое дело, у вас была бы возможность выбора.

СТАНЕК. А вы не за этим пришли? Значит, вы уже заранее поставили на мне крест.

ВАНЕК. Я думал, в вашем положении...

СТАНЕК. Вот именно, сейчас только и выясняется, какого вы обо мне мнения на самом деле. Вы думаете, что если у меня что-то там идет на телевидении, то я уже не способен на такое простое проявление солидарности?!

ВАНЕК. Вы меня не так поняли, я только хотел сказать...

СТАНЕК (*садится в кресло, пьет коньяк, после чего поворачивается к Ванеку*). Я вам скажу одну вещь, Фердинанд. Если я и свыкся с этой уродливой мыслью, что нравственность у нас — это удел одних только диссидентов, то и вы сами — хотя, может быть, вы и не отдаёте себе в этом отчета, — вы тоже с ней очень даже свыклись! Поэтому вам даже в голову не пришло, что и у меня могут быть какие-то более высокие ценности, чем мое нынешнее положение в обществе. А что если и мне захотелось наконец стать свободным человеком, что если и я желаю вернуть себе внутреннюю гармонию, сбросить с себя этот камень унижения?! Вы даже и не подумали о том, что я, может быть, все эти годы только и живу в ожидании такой минуты! Вы просто взяли и раз и навсегда записали меня в разряд безнадежно пропавших, с которыми и связываться не стоит. А теперь, когда вы убедились, что и меня волнует судьба других — насчет подписи это вы только что придумали, — вы тут же это поняли и немедленно принялись извиняться. Разве вы не понимаете, как вы меня этим унижали? Может быть, я уже давно жду случая совершить какой-то настоящий поступок, который бы снова дал мне возможность почувствовать себя мужчиной, который бы вернул мне уверенность, силы, чувство юмора, наконец, и избавил бы от необходимости спасаться от душевных травм бегством к этим моим абрикосам и магнолиям! Может быть, мне тоже хочется покончить с этим сочинительством на заказ, телевизионной псевдокультурой и жить по правде, вернуться к настоящему искусству, которое никому не должно прислуживать?!

ВАНЕК. Простите, я не хотел вас обидеть.

Ванек открывает свой портфель, что-то ищет, наконец вытаскивает списки с подписями и протягивает их Станеку. Тот не торопясь встает, идет с ними к письменному столу, садится, снова надевает очки и внимательно их просматривает. Остановившись на каких-то именах, то и дело покачивает головой. Через некоторое время он откладывает очки, медленно встает из-за стола, какое-то время молча прохаживается по комнате, затем оборачивается к Ванеку.

СТАНЕК. Если позволите, я буду размышлять вслух.

ВАНЕК. Конечно.

СТАНЕК (*пьет коньяк, затем снова начинает прохаживаться по комнате*). Если подходить к этому с субъективной точки зрения, то самое главное, как мне кажется, я уже высказал: если я сейчас поставлю свою подпись, то тем самым, после стольких лет гадкого ощущения тошнотворности, вновь обрету уважение к самому себе,

свою потерянную внутреннюю свободу и чувство собственного достоинства, а может быть, в какой-то мере и буду вознагражден одобрением со стороны моих близких. Я избавлюсь от неразрешимых противоречий, в которые снова и снова меня ввергает конфликт между осознанием своего положения и моей совестью. Я, наконец, смогу без страха смотреть в глаза и нашей Анче, и самому себе, и тому парню. Да, я расплачусь за это потерей работы, которая хотя меня и не удовлетворяет, а даже скорее, наоборот, унижает, но которая кормит меня несомненно лучше, чем если бы я пошел служить куда-нибудь ночным сторожем. Мой сын наверняка не поступит в институт, но он станет уважать меня больше, чем если бы он в него попал ценой моего отказа подписаться в поддержку Явурека, которого он даже слишком боготворит. Вот вам, пожалуйста, субъективная сторона этого дела. Ну, а если взглянуть объективно? Что произойдет, если среди подписей всем известных диссидентов и нескольких имен молодых дружков Явурека вдруг, вопреки всеобщему ожиданию и к всеобщему удивлению, появится моя подпись — человека, который вот уже столько лет никак не проявлял своих гражданских позиций? Впрочем, и сами подписавшиеся, и многие из тех, кто хотя никогда и ничего не подписывает, но внутренне на стороне тех, которые подписывают, они наверняка с радостью воспримут этот факт, потому что ограниченный до сих пор круг подписантов, чьи подписи уже не имеют такой силы, потому что они ничем не оплачены, то есть они уже давно не могут быть ничем оплачены, круг этот расширится. Появится новое имя, ценное само по себе уже тем, что до сих пор оно нигде не появлялось, и плата за такое появление будет очень высока. Это объективный плюс моего участия в вашей акции. Что же касается реакции политических властей, то моя подпись их немало удивит, раздосадует и выведет из себя по той же самой причине, по которой она порадует остальных подписантов, то есть тем, что она проломит брешь в стене, которая вокруг вас так долго и тщательно возводилась. Правда, на судьбу Явурека моя подпись, по всей вероятности, мало повлияет, а если и повлияет, то скорее в худшую сторону: власть захочет показать, что не поддалась панике и что подобные неожиданности не могут вывести ее из равновесия. Тем большее влияние этот мой поступок может оказать на их решение относительно моей судьбы. Меня накажут куда более сурово, чем можно было бы ожидать, потому что этим наказанием они вознамерятся продемонстрировать всем, кому вздумается последовать моему примеру, то есть предпочесть свободу и этим пополнить ряды диссидентов, чего стоит такой выбор. Активности самих диссидентов в рамках давно сформировавшегося и устоявшегося гетто они уже не слишком боятся, в определенном смысле она им даже на руку, но тем больший ужас на них наводит любой намек на то, что границы этого гетто могут быть разрушены. Поэтому, в назидание остальным наказав меня, они преследуют лишь одну цель: в зародыше задушить призрак возможного распространения эпидемии. Остается еще один вопрос, а именно: какую реакцию моя подпись вызовет в тех кругах, которые

так или иначе встали на путь приспособленчества, то есть именно у тех людей, которые составляют большинство? Ведь все наши надежды на будущее зависят от того, удастся ли их пробудить от спячки и вернуть к активной гражданской жизни. Я опасаюсь, что именно у этого слоя моя подпись вызовет однозначно неодобрительное чувство. Диссидентов эти люди тихо ненавидят, воспринимая их как собственную нечистую совесть и живой укор. Они завидуют их внутренней свободе, достоинству, то есть тем ценностям, которых сами себя лишили. Уже только из-за одного этого они рады любой возможности очернить диссидентов. И такую возможность они получают благодаря моей подписи. Начнутся разговоры вроде того, что вы, которым уже нечего терять, кто давно уже пребывает на самом дне пропасти, успев за это время в ней вполне уютно обосноваться, тянете туда за собой обыкновенного бедолагу, который до сих пор худо-бедно держался на поверхности, затягиваете его туда со свойственной вам безответственностью, руководствуясь лишь своей прихотью взбаламутить режим и создать ложную иллюзию того, что ваши ряды множатся, вовсе не задумываясь о том, что тем самым вы лишаете его средств к существованию, и совершенно не заботясь о том, чтобы на дне этой ямы обеспечить ему хоть какое-то существование. Вы не сердитесь на меня, Фердинанд, но мне хорошо известен образ мыслей таких людей, я ведь постоянно вынужден с ними общаться и поэтому прекрасно знаю, что они будут говорить. Они скажут: он стал жертвой циничной акции, которая ставит под сомнение искренность определенных гуманистических целей, которыми вы козыряете. Вряд ли стоит доказывать, что подобные настроения будут только провоцировать и режим, и полицию. Иные из тех, кто поинтеллигентнее, возможно, начнут говорить, что такая диковинка, как моя фамилия в списке рядом с вашими, только отвлекает от существа дела, то есть от дела Явурека, и ставит препоны на пути его благополучного разрешения, так как вызывает ненужные вопросы: о чем же здесь все-таки в большей степени идет речь — о конкретной помощи Явуреку или попросту о демонстрации моего новоиспеченного диссидентства? Кто-то может высказаться и в том смысле, что Явурек сам стал вашей жертвой, что его несчастье вы использовали в целях, на самом деле далеких от беспокойства за судьбу пострадавшего. Тем более что меня из-за моей подписи лишат возможности закулисной деятельности, чем я в той или иной мере обладал раньше и в чем мог бы оказаться для Явурека гораздо полезнее. Поймите меня правильно, Фердинанд, я не собираюсь никак преувеличивать подобные умонастроения и меньше всего хотел бы оказаться в рабской зависимости от них, но, с другой стороны, мне кажется, что в интересах нашего общего дела их необходимо учитывать. В конце концов, речь идет о политическом шаге, а всякий хороший политик обязан принимать во внимание все аспекты, влияющие на результат его действий. Таким образом, при существующих обстоятельствах вопрос следует сформулировать таким образом: чему я должен отдать предпочтение — своему желанию внутренне освободиться, что даст мне моя подпись, оплаченная, как оказывается,

весьма негативными объективными последствиями, или же другой возможности — более благоприятному исходу, который возымел бы данный протест без моего имени под ним, хотя и ценой горького для меня осознания, что тем самым я снова — и кто знает, не в последний ли раз — лишил себя шанса выбраться из плена униженных компромиссов, в котором я уже столько лет задыхаюсь? Иными словами, если я хочу поступить нравственно — а теперь, я надеюсь, у вас нет в этом сомнений, — то чем я должен руководствоваться: субъективным самоощущением или же объективным, хотя и беспощадным, здравым смыслом?

ВАНЕК. Мне это представляется вполне ясным.

СТАНЕК. Мне тоже.

ВАНЕК. Так, значит...

СТАНЕК. К сожалению, увы...

ВАНЕК. К сожалению?

СТАНЕК. А вы решили...

ВАНЕК. Извините, я, наверное, неправильно понял.

СТАНЕК. Мне крайне неприятно, если...

ВАНЕК. Да нет, ничего страшного.

СТАНЕК. Но я в самом деле убежден...

ВАНЕК. Я знаю.

Станек берет со стола списки и с улыбкой подает их Ванеку. Тот, смутившись, прячет бумаги в портфель. Станек подходит к магнитофону, выключает его, возвращается и усаживается в свое кресло. Оба пьют, Ванек слегка вздрагивает. Длинная напряженная пауза.

СТАНЕК. Вы на меня не сердитесь?

ВАНЕК. Да нет.

СТАНЕК. Но вы все же не согласны.

ВАНЕК. Я уважаю чужую точку зрения.

СТАНЕК. А что вы на самом деле думаете?

ВАНЕК. А о чем, собственно, я могу думать?

СТАНЕК. Нет, совершенно ясно, что вы думаете.

ВАНЕК. Что именно?

СТАНЕК. Что я испугался, увидев все эти подписи.

ВАНЕК. Я так не думаю.

СТАНЕК. Да по вашим глазам это видно.

ВАНЕК. Уверю вас, что нет.

СТАНЕК. Но почему вы мне не скажете правду? Вы же понимаете, что этим своим снисходительным молчанием вы унижаете меня больше, чем если бы сказали мне все прямо в лицо? Или я, по-вашему, уже не достоин даже откровенности?

ВАНЕК. Я же сказал, что уважаю чужое мнение.

СТАНЕК. Я не болван, Ванек.

ВАНЕК. Я знаю.

СТАНЕК. И мне совершенно понятно, что скрывается за этим вашим уважением.

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. Чувство морального превосходства.

ВАНЕК. Это неправда.

СТАНЕК. Но только я действительно не уверен, что именно вы имеете право на подобное высокомерие.

ВАНЕК. Что вы этим хотите сказать?

СТАНЕК. Сказать?

ВАНЕК. Скажите.

СТАНЕК. Насколько мне известно, в тюрьме вы были куда разговорчивее, может быть, даже больше, чем следовало.

Ванек вскакивает с кресла и в испуге смотрит на Станека, ухмыляющегося ему в ответ. Короткая напряженная пауза. В этот момент звонит телефон. Ванек в изнеможении снова опускается в кресло. Станек подходит к телефону и берет трубку.

(В телефон.)

Привет, да что ты! Не может быть! погоди, но это же... Понимаю, да-да, а где вы? Да, разумеется, отлично, жду! Пока.

Кладет трубку и непонимающе смотрит прямо перед собой. Длинная пауза. Ванек взволнованно поднимается. Только теперь Станек вспоминает, что Ванек еще здесь, раздраженно поворачивается к нему.

Можете сжечь все это у меня в подвале.

ВАНЕК. То есть?

СТАНЕК. Только что он заходил к Анче в студенческую столовую.

ВАНЕК. Кто?

СТАНЕК. Как кто? Явурек!

ВАНЕК. Что? Его отпустили? Так это же замечательно! Выходит, все ваше вмешательство было ни к чему! Хорошо, что мы не послали нашу петицию двумя днями раньше, они могли разозлиться и не выпустить его!

Некоторое время Станек испытующе смотрит на Ванека, потом вдруг расплывается в улыбке, быстро подходит к нему и по-дружески обнимает обеими руками за плечи.

СТАНЕК. Пусть вас это не беспокоит, дружище! Риск, что можно больше навредить, чем помочь, в таких делах всегда есть! Если бы вы постоянно об этом думали, то вообще не могли бы ничего делать! Пойдемте лучше, я выберу вам гладиолусы.

Станек берет Ванека под руку и провожает до двери. Ванек смешно перебирает ногами по полу, так как одолженные ему тапочки из-за их великанского размера не дают ему возможности передвигаться иначе.

Занавес падает.

КОНЕЦ

Зелень

Все начиналось на траве,
под шумною листвою, под хвоей.
Две теплоты, тревоги две,
два голоса, два сердца, двое,
затерянных в лесной глуши,
где в память о лесоповале
торчали пни и — ни души,
лишь две кукушки куковали,
как бы аукались в лесу,
да самолет — крылатый ящер —
чертил на синем полюсу,
белеющую в кронах чащи,
раскинувшей свои шатры,
где плавал ветер, зелень вспенив,
над пряным запахом коры,
над кубом сложенных поленьев,
откуда, как в далекий путь,
раскинув руки, словно птица,
ты падаешь ко мне на грудь,
чтоб вместе по траве катиться.
Он был зеленым, древний рай,
зеленым, лиственным, тенистым:
вовек живи, не умирай,
внимай веселым пересвистам.
Поди сюда и рядом сядь,
склони мне голову на локоть,
и пусть нам Каина зачать,
а после Авеля оплакать.
Вокруг листва, вокруг трава,
такая, как была когда-то.
Зеленый райский мир — сперва,
потом — познание и расплата.

* * *

Как искустельны соблазны:
соблазн — река, соблазн — песок,
и этот летний полдень праздный,
и зной, и тень наискосок,
и дух сосновый от досок,
и так велик соблазн раскокать
чернильницу, сломать перо,
когда толкает бес под локоть,
а то еще и под ребро.
А на лугу в зеленом лоне
гуляют кони всех мастей
в лучах, как в золотой короне,

как будто короли на троне:
король бубен, король крестей.
Глаза у них, как на иконе
глаза святых. Ах, эти кони!
Ну с чем сравним их мерный бег,
их скач?.. и вновь толчок под локоть,
соблазн копытами зацокать
и — словно кончеловек.

* * *

Что, в сущности, я от тебя хочу?
Тревоги? Нет. Покоя? Но откуда
покой? Опять горячка и простуда
на улице, а ветер, как свечу,
пытается задуть свеченье окон
и круглых фонарей.
Усни, дружок.
Пусть из окна сквозняк, и дом — не кокон.
Усни скорей.
Усни, чтоб я не жег
напрасно лампы, не терзал бумаги
и не глядел в окно, где мы с тобой
на этой серой, талой мостовой
две тени, две тревоги, две отваги,
два глупых сердца, две судьбы. Постой,
не говори ни слова, ни полслова,
не поминай ни доброго, ни злого,
усни, дружок, не размыкая век.
Фонарный ответ призрачен и шаток,
и на душу ложится отпечаток —
две зыбких тени, слившихся навек.

Всенощная

Опять рассыпают огни
церковные тонкие свечи.
Навеки, Господь, сохрани
хоть искру любви человечей.

Но злоба в речах площадных,
проевшая душу оскома,
пожара грядущего дых,
пророческий рокот погрома.

Я вижу сполохи огня
в давно отпылавших именьях,
и скорбно глядит на меня
с распятия мой соплеменник.

Неужто умчат корабли
в чужие бескрайние шири

от проклятой Богом земли,
от этой единственной в мире?

Безгрешная душ высота
исходит моленьем, так что же —
Антихрист похож на Христа?
Помилуй нас, Господи, Боже.

Светлой памяти друга

Утром 24 августа замечательный русский писатель Сергей Довлатов скоропостижно скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа. Было ему 48 лет. Было ему от Бога даровано великое обаяние Слова, личности, сердца, ума. Было щедро ему отпущено чувство прекрасного, чувство юмора, драгоценное чувство меры и такта, чувство вины и раскаяния. Было ему с лихвой — трудов, испытаний тяжких, скитаний, бездонных отчаяний и жестоких барьеров. Было зато и огромное счастье любви, мужества, независимости, беззаветной дружбы, читательского признания, доброй славы и доброго имени.

Было, было... так близко, так рядом, совсем на днях, еще голос его не смолк на волнах «Свободы», еще письма ко мне от него приходят, и цокает пишмашинка, на которой он отпечатал: «Доверяю вести от моего имени творческие и деловые переговоры, заключать и подписывать контракты, а также получать все причитающиеся мне гонорары на территории СССР...»

Перечитываю Сережины письма, такие талантливые, ослепительно остроумные, жизнелюбимые, полные творческих замыслов, нежности к близким, дружелюбия и достоинства.

На Западе издал он двенадцать книг за двенадцать лет, а на родине ни одной. Там пришла к нему слава, хотя в России многие знали страницы его наизусть. Знаменитые писатели и литературные критики Америки и Европы приветствовали его талант, воздавая должное блеску его российского остроумия, свежести и глубокой сердечности.

«Страшно рад, что „Апрель“ взял три рассказа, в том числе и дорогого моему сердцу „Полковника“, — писал он мне 23 ноября 1989 г. и с тех пор не спросил ни разу: „А когда же выйдет? А почему так долго?“».

Сергей Довлатов не дожил до своей первой книги в России, которая выйдет зимой в «Московском рабочем». Был он огромного

роста, прекрасен лицом и сердцем, работал — как вол, обожал выпить с друзьями, терпеть не мог опечаток, преклонялся только перед Иосифом Бродским, Чарли Чаплином и женой своей Леной. Я счастлива, что была ему другом. «...Первым небоскребом, который ты увидишь в Америке, буду я...» — писал он в мае этого года.

Помянем светлое светлым. Улыбнемся сквозь слезы, читая его рассказы о себе и о нас.

Юнна Мориц

29 августа 1990 г.

Сергей ДОВЛАТОВ

Юбилейный мальчик

Таллинн — город маленький, интимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу...» Как будто дело происходит в учрежденческой столовой... Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллинне жителей.

Было так. Редактор Туронок вызвал меня и говорит:

— Есть конструктивная идея. Может получится эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите.

— Чего грубить? Ведь это бесполезно.

— Вы, собственно, уже нагрубили, — помрачнел Туронок, — вы беспрерывно грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите, только когда подолгу отсутствуете... Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь. Посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания...

— Зачем, — спрашиваю, — вызывали?

Туронок помолчал. Резко выпрямился, как бы меня лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно:

— Через неделю — годовщина освобождения Таллинна. Эта дата будет широко отмечаться. На страницах газет в том числе. Предусмотрены различные аспекты — хозяйственный, культурный, бытовой... Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно: по данным статистического бюро, в городе около четырехсот тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Поскольку несколько условна и сама черта города. Так вот. Мы посоветовались и решили. Четырехсоттысячный житель Таллинна должен родиться в канун юбилея.

— Что-то я не совсем понимаю...

— Идете в родильный дом. Дождаетесь первого новорожденного. Записываете параметры. Опрашиваете счастливых родителей. Интервьюируете врача, который принимал роды. Естественно, делаете снимки. Репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар — вам, я знаю, это не безразлично — двойной.

— С этого бы и начинали.

— Меркантилизм — одна из ваших неприятных черт, — сказал Туронок.

— Долги, — говорю, — алименты...

— Пьете много.

— И это бывает.

— Короче. Общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился — человек, обреченный на счастье!

Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул дважды:

— Человек, обреченный на счастье! По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? Человек, обреченный на счастье!..

— Там видно будет, — говорю.

— И запомните, — Туронок встал, кончая разговор, — младенец должен быть публикабельным.

— То есть?

— То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного. Никаких кесаревых сечений. Никаких матерей-одиночек. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик.

— Обязательно мальчик?

— Да, мальчик как-то символичнее.

— Генрих Францевич, что касается снимков... Учтите, новорожденные бывают так себе...

— Выберите лучшего. Не торопитесь, время есть.

— Месяца четыре ждать придется. Раньше он вряд ли на чело- века будет похож. А кому и пятидесяти лет маловато. Бывают такие печальные случаи...

— Слушайте, — рассердился Туронок, — не занимайтесь демаго- гией. Вам поставлена задача. Материал должен быть готов к среде. Вы профессиональный журналист. Зачем мы теряем время?..

И правда, думаю, зачем?

Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой. Он пересел ко мне с фужером водки. Отломил половину моего бутерброда.

— Шел бы ты домой, — говорю, — в конторе полно начальства.

Жбанков опрокинул фужер и сказал:

— Я, понимаешь, натурально осрамился. Видел мой снимок к Фединому очерку?

— Я газет не читаю.

— У Феди был очерк в «Молодежи Эстонии». Вернее, зарисов- ка — «Трое против шторма». Про водолазов. Как они ищут, пони- маешь, затонувший ценный груз. К тому же шторм надвигается. Ну,

и мой снимок. Два мужика сидят на бревне. Шланг из воды торчит. То есть ихний поделеньик на дне шурует... Я, натурально, отснял, пристегнул шестерик и забыл это дело. Иду как-то в порт — люди смеются. В чем дело, понимаешь? Выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха — Мироненко. Вышел он раз из столовой, закурил у третьего причала. То, се... Бросил сигарету. Харкнул, извини за выражение. И начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золота — колов на восемьдесят с довеском. Он бежит к водолазам: «Мужики, спасайте!» Те с ходу врубились: «После работы найдем». Мироненко кричит: «В долгу не останусь». Те: «По бутылке на рыло». — «Об чем разговор!..»

...Водолазы кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет с задания. Видит такое дело. Чем, мол, занимаетесь? Строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. «Хуе мое, — отвечают, — затонул правительственный ценный груз». А Федя без понятия: «Тебя как зовут? Тебя как зовут?..» Мужики отвечают как положено. «Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга?..» «Музыкой, — отвечают, — живописью, хоровым, блядь, пением...» — «А чего так поздно на работе?..» «Шторм, — говорят, — надвигается, спешим...»

...Федя звонит мне. Я приехал, отснял, не вникая... Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может...

— Шел бы ты домой, — говорю.

— Подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем все дело кончилось. Водолазы, представь себе, челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора. Тащит их в кабак. Заказывает водки. Кирули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. «Спасибо, — говорит, — ребята, выручили, нашли. Орлы, — говорит, — передовики, стахановцы...» За одним столиком челюсть разглядывают, за другим... Швейцар подошел взглянуть, тромбонист из ансамбля... Официантки головами качают... А Мироненко шестую бутылку давит с водолазами... Хватился — нету челюсти, увели. Кричит: «Верните, гады!..» Да разве найдешь... Тут уж и водолазы не могут...

— Ладно, — говорю, — мне пора...

В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят. Не говоря о кафельных полах и белых занавесках...

Захожу в отдел к Марине. Слышу:

— А, это ты... Прости, ужасно много работы...

— Что-нибудь случилось?

— Что могло случиться? Дела...

— Что еще за дела?

— Юбилей и все такое. Мы же люди серые, романов не пишем. Приходится работать.

— Чего ты злишься?

— А чего мне радоваться? Ты регулярно исчезаешь. Сперва безумная любовь, потом неделю шляешься...

— Что значит — шляешься? Я был в командировке. Меня в гостинице клопы покусали...

— Это не клопы, — подозрительно сощурилась Марина, — это бабы. Отвратительные грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья... Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился...

— Чем можно заразиться у клопов?

— Ты хоть не врал бы! Кто эта рыжая вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела...

— Это не рыжая вертлявая дылда. Это поэт-метафизик Владимир Кроль. У него такая прическа...

Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. А плакала Марина отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя. Как актриса после спектакля...

— Прошу тебя, успокойся. Все будет хорошо. Все знают, насколько я к тебе привязан...

Марина достала розовый платочек, вытерла глаза, заговорила спокойнее:

— Ты можешь быть серьезным?

— Конечно.

— Не уверена. Ты безответственный, как жаворонок. У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели... Нет глубоких привязанностей. Я — лишь случайная точка в пространстве. А ведь мне уже под сорок. И я должна как-то устраивать свою жизнь.

— Мне, — говорю, — тоже под сорок. Вернее, за тридцать. И я не понимаю, что значит — устраивать свою жизнь... Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст тебе этот идиотский штамп? Это лошадиное тавро?.. Пока мне хорошо, я здесь. А надоест — уйду. И так будет всегда.

— Не собираюсь я замуж. Да и какой ты жених! Просто я хочу иметь ребенка. Иначе будет поздно...

— Ну и рожай. Только помни, что его ожидает.

— Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают... И потом, как я рожу одна?

— Почему одна? Я буду... содействовать. А что касается материальной стороны дела, то здесь все ясно. Ты зарабатываешь втрое больше, чем я. То есть от меня практически не зависишь...

— Я говорила о другом.

Зазвонил телефон. Марина сняла трубку:

— Да? Ну и прекрасно. Он как раз у меня...

Я замахал руками. Марина понимающе кивнула:

— Я говорю, только что был здесь... Вот уж не знаю... Видно, пьет где-нибудь...

Ну, думаю, стерва.

— Тебя Цехановский разыскивает. Хочет долг вернуть.

— Что это с ним?

— Деньги получил за книгу.

— «Караван уходит в небо»?

— Почему — караван? Книга называется «Продолжение следует».

— Это одно и то же. Ладно, мне пора.

— Куда ты собрался? Если не секрет...

— Представь себе, в родильный дом...

Я оглядел заваленные газетами столы. Ощутил запах табачного дыма и клея. Испытал такую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня.

За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула: «Ну и убирайся, жалкий пьяница!»

Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся...

Навстречу шла женщина в белом халате:

— Посторонним сюда нельзя.

— А потусторонним, — спрашиваю, — можно?

Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку. Поднялся на второй этаж. На лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах.

— Как разыскать главного врача?

— Выше, напротив лифта...

Напротив лифта — значит, скромный человек. Напротив лифта — шумно, двери хлопают...

Захожу. Эстонцев лет шестидесяти делает перед раскрытой форточкой гимнастику.

Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе заниматься гимнастикой в одиночестве?..

Протягиваю удостоверение. Отвечает:

— Доктор Михкель Теппе. Садитесь. Чем могу быть полезен?

Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли...

— Думаю, это не сложно, — произнес Теппе, — клиника огромная.

— Вам сообщают о каждом новорожденном?

— Нет. Но я могу распорядиться.

Он снял трубку. Что-то сказал по-эстонски. Затем обратился ко мне:

— Интересуетесь, как проходят роды?

— Боже упаси! Мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом.

Доктор снова позвонил. Говорит мне:

— Тут одна рождает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо. Здоровая мать... Такая полная блондинка, — отвлекся доктор.

— Вы-то, — говорю, — сами женаты?

— Конечно.

— И дети есть?

— Сын.

— Не задумывались, что его ожидает?

— А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом. Уже и подписку взяли о невыезде...

Теппе говорил спокойно и просто. Как будто речь шла о заурядном положительном явлении.

Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно:

— «Дело Солдатов»?

— Что? — не понял доктор.

— Ваш сын — инакомыслящий? Деятель эстонского Сопротивления? Как говорится — диссидент?

— Мой сын, — отчеканил Теппе, — фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме...

Мы помолчали. Доктор говорит:

— Когда-то я работал фельдшером на островах. Затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения. Не знаю, как это вышло: я и мать положительные люди, а сын — отрицательный.

— Неплохо бы и его выслушать.

— Слушать его невозможно. Говорю ему: «Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?...» А он и отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли...» Как будто это я их расстрелял...

Зазвонил телефон.

— У аппарата, — выговорил Теппе, — отлично.

Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах.

— Ну вот, — сказал он, — родила из девятой палаты. Четыре двести и пятьдесят восемь сантиметров. Хотите взглянуть?

— Это не обязательно. Дети все на одно лицо.

— Фамилия матери — Окас. Хилья Окас. Тысяча девятьсот шестой год рождения. Нормировщица с «Пунанэ рээт». Отец — Магабча.

— Что значит — Магабча?

— Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится.

— Черный?

— Я бы сказал — шоколадный.

— Слушайте, — говорю, — это любопытно. Вырисовывается братский интернационализм. Что-то вроде дружбы народов... Они зарегистрированы?

— Разумеется. Он ей каждый день записки пишет. И подписывается: «Твой соевый батончик».

— Разрешите мне позвонить?

— Сделайте одолжение.

Звоню в редакцию. Подходит Туронк.

— Генрих Францевич, только что родился мальчик.
— В чем дело? Кто говорит?
— Это Довлатов. Из родильного дома. Вы мне задание дали насчет юбилея.

— А, помню, помню.

— Так вот, родился мальчик. Большой, здоровый. Пятьдесят восемь сантиметров. Вес — четыре двести... Отец эфиоп.

Воцарилась тягостная пауза.

— Не понял, — сказал Туронок.

— Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии... Учится здесь... Марксист, — зачем-то добавил я.

— Вы пьяны? — резко спросил Туронок.

— Откуда?! Я же на задании.

— На задании... Когда вас это останавливало?! Кто в декабре облевал районный партактив?..

— Генрих Францевич, мне неловко подолгу занимать телефон... Только что родился мальчик. Его отец — дружественный нам эфиоп.

— Вы хотите сказать — черный?

— Шоколадный.

— То есть негр?

— Естественно.

— Что же тут естественного?

— По-вашему, эфиоп не человек?

— Довлатов, — исполненным муки голосом произнес Туронок, — я вас уволю. Так и напишу — за попытки дискредитировать все самое лучшее... Оставьте в покое своего засраного эфиопа! Дождитесь нормального — вы слышите меня? — нормального человеческого ребенка!..

— Ладно, — говорю, — я ведь только спросил...

Раздались частые гудки. Теппе сочувственно поглядел на меня.

— Не подходит, — говорю.

— У меня сразу же возникли сомнения, но я промолчал. Решил не вмешиваться.

— А, ладно...

— Хотите кофе?

Он достал из шкафа коричневую банку. Снова раздался звонок. Теппе опять заговорил по-своему. Видно, речь шла о деле, меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил:

— Можно поспать у вас за ширмой?

— Конечно, — не удивился Теппе, — хотите моим плащом воспользоваться?

— И так сойдет.

Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться. Иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издалека, растерянным и нелепым. Кто я? Ради чего здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании Бог знает чего? Ах, как глупо сложилась вся эта жизнь!..

Когда я проснулся, надо мной стоял Теппе:

— Извините, потревожил... Только что родила ваша знакомая.

«Марина!» — с легким ужасом подумал я. (Все знают, что ужас можно испытать в едва ощутимой степени.) Затем, отогнав безумную мысль, я спросил:

— То есть как — знакомая?

— Журналистка из молодежной газеты — Румянцева.

— А, Лена, жена Бори Штейна. Действительно, ее с мая не видно.

— Пять минут назад она родила.

— Это любопытно. Редактор будет счастлив. Отец ребенка — известный поэт. Мать — журналистка. Оба партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю...

— Очень рад за вас.

Я позвонил Штейну.

— Тебя, — говорю, — можно поздравить.

— Рано. Ответ будет в среду.

— Какой ответ?

— Поеду я в Швецию или не поеду. Говорят — нет опыта поездов в капстраны. А где взять опыт, если не пускают?.. Ты бывал в капстранах?

— Нет. Меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал.

— А я даже в Югославии был. Югославия — это почти что кап...

— Я звоню из клиники. У тебя сынок родился.

— Мать твою! — воскликнул Штейн. — Мать твою!..

Теппе протянул мне листок с каракулями.

— Рост, — говорю, — пятьдесят шесть. Вес — три девятьсот. Лена чувствует себя нормально.

— Мать твою, — не унимался Штейн, — сейчас приеду. Такси возьму...

Теперь нужно было вызвать фотографа.

— Звоните, звоните, — сказал Теппе.

Я позвонил Жбанкову. Трубку взяла Лера.

— Михаил Владимирович нездоров, — сказала она.

— Пьяный, что ли? — спрашиваю.

— Как свинья. Это ты его напоил?

— Ничего подобного. И вообще я на работе.

— Ну извини.

Звоню Малкиэлю.

— Приезжай, — говорю, — ребенка сфотографируешь в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной.

— Ты хочешь об этом ребенке писать?

— А что?

— А то, что Штейн — еврей. И каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж.

— Я писал о Каплане и не согласовывал.

— Ты еще скажи — о Гликмане. Каплан — фактически не еврей. Каплан — член бюро обкома. О нем двести раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй.

— Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее.

— Тем хуже для него.

— Ясно. Спасибо, что предупредил.

Говорю Теппе:

— Оказывается, и Штейн не подходит.

— Недаром у меня были сомнения.

— А кто меня, спрашивается, разбудил?

— Я разбудил. Но сомнения у меня были.

— Что же делать?

— Скоро еще одна родит. А может, уже родила. Я сейчас позвоню.

— А я выйду, прогуляюсь...

В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой сутулый юноша, грохоча, катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху.

Из-за поворота вышел Штейн.

— Ну, поздравляю!

— Спасибо, дед, спасибо. Только что Ленке передачу отправил. Состояние какое-то необыкновенное! Надо бы выпить по этому случаю.

Выпьешь, думаю, с тобой... Одно расстройство...

Я не хотел его огорчать. Не стал говорить, что его ребенок за-
бракован. Но Штейн был уже в курсе дела.

— Юбилейный материал готовишь?

— Пытаюсь.

— Хочешь нас прославить с Ленкой?

— Видишь ли, — говорю, — тут нужна рабоче-крестьянская семья. А вы — аристократы.

— Жаль. А я уже стих написал в такси. Конец такой:

На фабриках, в жерлах забоев,
На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец мой среди них!

Я сказал:

— Какой же это первенец? У тебя есть взрослая дочь.

— Дочь — от первого брака.

— А, — говорю — тогда нормально.

Штейн подумал и вдруг сказал:

— Значит, антисемитизм все-таки существует?

— Похоже на то.

— Как это могло появиться у нас? У нас в стране, где, казалось бы...

Я перебил его:

— В стране, где основного мертвеца еще не похоронили... Само название которой лживо...

— По-твоему — все ложь!

— Все ложь! Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках! Где ты видел эстонца в космосе?..

— Это же метафора.

- Метафора... У лжи десятки таких подпольных кличек!..
- Можно подумать, один ты честный. А кто целую повесть написал о БАМе? Кто прославлял чекиста Тимофеева? Кто вел репортажи с февральского пленума?
- Брошу я это дело. Увидишь, брошу...
- Тогда и упрекай других.
- Не сердись.
- Черт, настроение испортил... Будь здоров.

Теппе встретил меня на пороге:

— Баба родила из шестой палаты — Кузина. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокара. Муж — токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребенок в пределах нормы.

— Слава Богу, кажется, выходит. Позвоню на всякий случай. Туронок сказал:

— Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом.

— Генрих Францевич, — взмолился я, — кто же назовет своего ребенка Лембитом?! Уж очень старомодно. Из фольклора...

— Пусть назовут. Какая им разница?! Лембит — хорошо, мужественно и символично звучит. В юбилейном номере это будет смотреться.

— Вы могли бы назвать своего ребенка Елпидифором? Или Бовой?

— Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание. К среде материал должен быть готов. Откажутся назвать ребенка Лембитом — посулите им денег.

— Сколько?

— Рублей двадцать пять. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного? Кто его родители? Надеюсь, простые советские люди?

— Фамилия — Кузин. Мать эстонка, папа русский...

— Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте.

Я спросил у Теппе:

— Как найти отца?

— А вон. Под окнами сидит, на газоне.

Я спустился вниз.

— Привет, — говорю, — вы Кузин?

— В принципе Кузин, — сказал он, — а что толку?

Видимо, настрой у товарища Кузина был философский.

— Разрешите, — говорю, — вас поздравить. Ваш ребенок оказался четырехсоттысячным жителем нашего города. Я из редакции. Хочу написать о вашей семье.

— Чего писать-то?

— Ну, о вашей жизни...

— А что, живем неплохо... Трудимся, как положено, расширяем свой кругозор. Пользуемся, блядь, авторитетом.

— Надо бы куда-то зайти, побеседовать в спокойной обстановке.

— В смысле — поддать? — оживился Кузин...

Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени.

Мы направились в «Космос», сели у окна. Зал еще не был переполнен.

— Денег — восемь рублей, — сказал Кузин, — плюс живая бутылка отравы.

Он достал из портфеля бутылку кубинского рома. Замаскировал оконной портьерой.

— Возьмем для понта граммов триста?

— И пива, — говорю, — если холодное...

Мы заказали триста граммов водки, два салата и по котлете.

— Нарезик копченый желаете? — спросил официант.

— Отдохнешь, — среагировал Кузин...

В зале было пустынно. На возвышении расположились четверо музыкантов. Рояль, гитара, контрабас и ударные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести.

Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком. Затем подошел к микрофону и объявил:

— По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалема...

Он выждал многозначительную паузу:

— Исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло»!..

Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором.

— Знаешь, что такое Азалема? — развеселился мой новый приятель. — Слушай. Азалема — самый большой лагерный поселок в Эстонии. ИТК, пересылка, БУР... Ну, давай!

Он поднял стакан. Я тоже.

— За тебя! За твоего сына!

— За встречу! И чтобы не последняя...

Две пары отрешенно танцевали между столиками. Официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов.

— По второй?

Мы снова выпили.

Кузин бегло закусил и начал:

— А как у нас все получилось — это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой, тоже одинокая. Чтобы уродливая, так не скажу, — задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить... Сошлись мы на Пасху... Вру, на Покрова... А то после работы — вакум...

— Что? — не понял я.

— Вакум, — объяснил Кузин, — пустое место... Сколько можно нажираться?.. Жили мы примерно с год... А чего она забеременела, я не понимаю. Лежит, бывало, как треска. Я говорю: «Ты часом не уснула?» «Нет, — говорит, — я все слышу». «Не много же, — говорю, — в тебе пыла». А она: «Вроде бы свет на кухне горит?» — «С чего это ты взяла?» — «А счетчик-то вон как работает». «Тебе бы, — говорю, — у него поучиться...» Так и жили с год...

Кузин вытащил из-за портьеры бутылку рома. Призывно ее наклонил. Мы снова выпили.

Гитарист одернул пиджак и воскликнул:

— По заказу Толика Б., сидящего у двери, исполняется...

Пауза. Затем — с возрастающим нажимом:

— Исполняется лирическая песня «Каким меня ты ядом напоила?..»

— Ты сам женат? — поинтересовался Кузин.

— Был женат.

— А сейчас?

— А сейчас вроде бы нет.

— Дети есть?

— Есть.

— Много?

— Много... Дочь.

— Может, еще образуется?

— Вряд ли...

— Детей мне жалко. Дети-то не виноваты... Лично я их называю — цветы жизни... Может, по новой?

— Давай.

— С пивом?

— Естественно...

Я знал: еще три рюмки — и с делами будет покончено. В этом смысле, как говорил Шаблинский, хорошо пить утром. Выпил — и целый день свободен... Абсолютно никаких проблем...

— Послушай, — говорю, — назови сына Лембитом.

— Почему же Лембитом? — удивился Кузин. — Мы хотим Володей. Что это такое — Лембит?

— Лембит — это имя.

— А Володя что, не имя?

— Лембит — из фольклора.

— Что значит — фольклор?

— Народное творчество.

— При чем тут народное творчество?! Личного моего сына желаю назвать Володей... Как его, высерка, назвать — это тоже проблема. Меня вот Гришей называли, а что получилось? Кем я вырос? Алкашом... Уж лучше бы так и называли — Алкаш... Алкаш Николаевич Кузин... Поехали?

Мы выпили, уже не закусывая.

— Назовешь Володей, — разглагольствовал Кузин, — а получится ханыга. Или какой-нибудь фраер... Много, конечно, от воспитания зависит...

— Слушай, — говорю, — назови его Лембитом временно. Наш редактор за это деньги обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете...

— Сколько? — поинтересовался Кузин.

— Двадцать пять рублей.

— Две полбанки и закуска. Это если в кабаке...

— Как минимум... Сиди, я позвоню.

Я спустился в автомат. Позвонил в контору. Редактор оказался на месте.

— Генрих Францевич! Все о'кей! Папаша вроде бы готов называть ребенка Лембитом.

— Станный у вас голос, — произнес Туронок.

— Это автомат такой... Генрих Францевич, немедленно пришлите Хуберта с деньгами.

— С какими еще деньгами? Что это вы придумали?

— Да вы же сами обещали. В качестве стимула. Чтобы ребенка назвали Лембитом. Отец согласен за двадцать пять рублей. Иначе, говорит, Абрамом назову...

— Довлатов, вы пьяны! — сказал Туронок.

— Ничего подобного.

— Ну хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает через пять минут. Ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ.

— Ключ?

— Да. Символический ключ. Ключ счастья. Передайте его отцу в соответствующей обстановке... Ключ стоит три восемьдесят. Я эту сумму вычту из двадцати пяти реблей.

— Нечестно, — сказал я.

Редактор повесил трубку.

Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом.

Я взял Кузина за плечо.

— Але, — говорю, — проснись! Нас Хуберт ждет.

— Что? — всполошился он. — Хуберт? А ты говорил — Лембит.

— Лембит — это не то. Лембит — это твой сын. Временно...

А Хуберт...

— Да, у меня родился сын...

— Его зовут Лембит. А Хуберт...

— Сначала Лембит, а потом Володя.

— А Хуберт нам деньги везет.

— Деньги есть, — сказал Кузин, — восемь рублей.

— Надо рассчитаться. Где официант?

— Але! Нарезик, где ты? — закричал Кузин.

Возник официант с уныло поджатыми губами.

— Разбита одна тарелка, — сказал он.

— Ага, — заявил Кузин, — это я мордой об стол — трах... Она и разбилась... В смысле — тарелка... Извиняюсь.

Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки.

— И в туалете мимо сделано, — добавил официант, — поаккуратнее надо ходить.

— Вали отсюда, — неожиданно рассердился Кузин, — слышишь? Иначе я тебе быстро плешь отлакирую!

— При исполнении — не совету. Так ведь можно и срок получить.

Я сунул официанту деньги.

— Извините, — говорю, — у моего друга сын родился. Вот он и переживает.

— Поддали — так и ведите себя культурно, — уступил официант.

Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле Ратуши. Он просигналил и распахнул дверцу. Мы залезли внутрь.

— Вот деньги, — сказал Хуберт, — редактор беспокоится, что ты запьешь.

Я принял у него в темноте бумажки и мелочь. Хуберт протянул мне увесистую коробку.

— Это еще что?

— «Псковский сувенир».

В пластиковом футляре лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку.

— А, — говорю, — ключ счастья!

Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту:

— Давай выпьем.

— Я же за рулем.

— Оставь машину и пошли.

— Мне еще редактора надо везти домой.

— Сам доберется, жирный боров.

— Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира...

— Живи у меня, — сказал Кузин, — а бабу я в деревню отправлю. На Псковщину, в Усохи. Там маргарина с лета не видели...

— Мне пора, ребята, — сказал Хуберт...

Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана «Астория» призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери...

Стоит ли подробно рассказывать, что было дальше? Как мой спутник вылез на эстраду и заорал: «Продали Россию!..» А потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую... И как потом нас забрали в милицию... И как освободили благодаря моему удостоверению... И как я потерял блокнот с записями... А затем и самого Кузина...

Проснулся я у Марины, среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату. Невыносимо гулко стучал будильник. Пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой.

Я потрогал набухшую царапину у виска.

Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам. Гладила и повторяла:

— Бедный мальчик... Бедный мальчик... Бедный мальчик... Бедный мальчик...

С кем это она, думаю, с кем?..

Иностранец

Старый Калью Пахапиль ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему да маленькие толстые ребятишки.

— В здешних краях должны жить одни эстонцы, — говорил Пахапиль, — и больше никто. Чужим здесь нечего делать...

Мужики слушали его, одобрительно кивая головами.

Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось. Он долго молчал, потом собрался и ушел в лес.

Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче — жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся. Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком.

«Зачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пахапиль.

И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевиотового пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз — в магазине Лансмана.

Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез.

— Здесь должны жить эстонцы, — сказал он, уходя, — а ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место!..

Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым. И снова охотился, думал, молчал. И все шло хорошо.

Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком. Он стал тесным, и Пахапиля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо. Особенно старался капитан, подаривший ему медаль.

А затем Пахапиля сослали на юг, где живут казахи. Там он вскорее и умер. Наверное, от голода и чужой земли.

Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллинне, на улице Луйзе, и получил диплом радиста.

По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам:

— Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде, и больше нигде...

Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Иоссер. Все делалось по команде: сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему. Только по-эстонски. Даже с караульными псами.

Кроме того, в одиночестве пил, иногда дрался. А также допускал «инциденты женского порядка» (по выражению замполита Хуриева).

— До чего вы эгоцентричный, Пахапиль! — осторожно корил его замполит.

Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:

«Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль».

После некоторого раздумья он всегда добавлял: «Прошу не отказать».

Затем приходили деньги от тетушки Рээт. Пахапиль брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом полумраке белели кресты. Дальше, на краю водоема, была запущенная могила и рядом — фанерный обелиск. Пахапиль грустно садился на холмик, выпивал и курил.

— Эстонцы должны жить в Канаде, — тихо бормотал он под мерное гудение насекомых.

Они его почему-то не кусали...

Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам — идеологический работник. Было объявлено собрание.

— Заходи в ленкомнату, — прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев.

— Политику не хаваем! — ворчали солдаты.

Однако зашли и расселись.

— Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны, — начал подполковник Мар.

— Стихи, — разочарованно протянул латыш Балодис...

За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыта ее скользили по испачканному навозом трапу. Мелкие глаза терялись в складках жира.

Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью ногой. Затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшейся на траве...

— В частях Советской Армии развивается благородная традиция, — говорил подполковник Мар.

И дальше:

— Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига. Устанавливают контакты с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию — долг каждого. Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликтов отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними... Наша молодежь свято чтит захоронения отцов. Утверждая таким образом неразрывную связь поколений...

Свинью волокли по шершавой доске. Борта машины гулко вздрагивали. Они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины.

Рядом вертелся на турнике молдаванин Дастьян, комиссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая...

— Ваша рота дислоцирована напротив кладбища, — тянул подполковник, — и это глубоко символично. Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны. В том числе и орденосцев. Таким образом, создаются все условия для шефства над павшими героями...

Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие к потолку. Потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью. И тогда военнотружущим станет плохо от запаха крови...

— Кто здесь Пахапиль?

Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад. Как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давась от смеха:

— В нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Пахапиль!

— Кто здесь Пахапиль? — недоверчиво отозвался Мар, — вы, что ли, Пахапиль?

— Так, — ответил Густав, краснея.

— Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажите о своих достижениях. В дороге набросаем план.

— Я вообще-то эстонец, — начал было Пахапиль.

— Это даже хорошо, — оборвал подполковник, — с точки зрения братского интернационализма...

В штабе былолюдно. Под графиками, художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации толпились военнотружущие. Сапоги и мокрые волосы блестели. Пахло табаком и детгем.

Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахапиля. На площадке их окружили.

— Знакомьтесь, — гражданским тоном сказал подполковник, — это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафиятулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шахмаматьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсепян...

«Перкеле, — задумался Густав, — одни жидаы...»

Но тут позвонили. Все потянулись к урнам. Кинули окурки и зашли в просторный зал...

И вот Пахапиль на трибуне. Внизу белеют лица, слева — президиум, графин, кумачовая штора. Сбоку — контрабас, из зала он не виден.

Пахапиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху. Затем шагнул вперед.

— Я вообще-то эстонец, — начал он.

В зале было тихо. Под окнами, звякая, шел трамвай...

Вечером Густав Пахапиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление. И то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме. И то, как ему прикололи значок (три непонятных слова, фигура и глобус). А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахапиля... Что-то насчет подхватить, развивать и стараться... И еще относительно патриотического воспитания... Что-то вроде преемственности и неразрывной связи... С целью шефства над могилами павших героев... Хотя Пахапиль эстонец, вследствие братской дружбы между народами...

Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели деревья с бледными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень.

Когда машину тряхнуло на переезде, Густав сказал шоферу:

— Здесь я сойду.

Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся.

Густав Пахапиль зашагал вдоль тусклых рельсов. Перебрался через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в кильдим.

Здесь карманы его тяжело наполнились.

Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва.

Было сыро и тихо. Щебетали листья на ветру.

Густав расстегнул мундир. Сел на холмик. Положил ветчину на колени. Бутылку поставил в траву.

После чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент.

Полковник говорит — люблю

— Наш мир абсурден, — говорю я своей жене, — и враги человека — домашние его!

Моя жена сердится, хотя я произношу это в шутку.

В ответ я слышу:

— Твои враги — это дешевый портвейн и крашенные блондинки!

— Значит, — говорю, — я истинный христианин. Ибо Христос учил нас любить врагов своих...

Эти разговоры продолжаются двадцать лет. Без малого двадцать лет...

В Америку я приехал с мечтой о разводе. Единственной причиной развода была крайняя степень невозмутимости моей жены. Ее спокойствие не имело границ.

Поразительно, как это могут уживаться в человеке спокойствие и антипатия...

Познакомились мы в шестьдесят третьем году. Это случилось так.

У меня была комната с отдельным входом. Окна выходили на помойку. Чуть ли не каждый вечер у меня собирались друзья.

Однажды я проснулся среди ночи. Увидел грязную посуду на столе и опрокинутое кресло. С тоской подумал о вчерашнем. Помню, трижды бегали за водкой. Кто-то высказался следующим образом: «Пошли в Елисеевский! Туда — метров триста и обратно примерно столько же...»

Я стал думать о завтраке в небубранной комнате.

Вдруг чувствую — я не один. На диване между холодильником и радиолой кто-то спит. Слышатся шорохи и вздохи. Я спросил:

— Вы кто?

— Допустим, Лена, — ответил неожиданно спокойный женский голос.

Я задумался. Имя Лена встречается не так уж часто. Среди наших знакомых преобладали Тамары и Ларисы. Я спросил:

— Каков ваш статус, Лена? Проще говоря, каков ваш социум эр актум?

Наступила пауза. Затем спокойный женский голос произнес:

— Меня забыл Гуревич...

Гуревич был моим знакомым по книжному рынку. Года два спустя его посадили.

— Как это забыл?

— Гуревич напился и вызвал такси...

Я стал что-то припоминать.

— На вас было коричневое платье?

— В общем, да. Зеленое. Его порвал Гуревич. А спала я в чьей-то гимнастерке.

— Это моя армейская гимнастерка. Так сказать — реликвия. Будете уходить — снимите.

— Здесь какой-то орден...

— Это, — говорю, — спортивный значок.

— Такой колючий... Спать не дал мне...

— Его, — говорю, — можно понять...

Наконец-то я вспомнил эту женщину. Худая, бледная, с монгольскими глазами.

К этому времени рассвело.

— Отвернитесь, — попросила Лена.

Я накрыл физиономию газетой. Тотчас же изменилась акустика. Барышня проследовала к двери. Судя по звуку — надев мои вельветовые шлепанцы.

Я выбрался из-под одеяла. День начинался странным и таинственным образом.

Затем неловкая толчея в передней. Полотенце вокруг моих очень тонких бедер. Военная гимнастерка, не достигающая ее колен...

Мы не без труда разминулись. Я направился в душ. После душа в моей жизни наступает относительная ясность.

Выхожу через три минуты — кофе на столе, печенье, джем. Почему-то — заливная рыба...

К этому времени Лена оделась. Античная прореха у ворота — след необузданной чувственности Фимы Гуревича — была ей к лицу.

— Действительно, — говорю, — зеленое...

Мы позавтракали, беседуя о разных пустяках. Все было мило, легко и даже приятно. С какой-то поправкой на общее безумие...

Лена собрала вещи, надела туфли и говорит:

— Я пошла.

— Спасибо за приятное утро.

Вдруг слышу:

— Буду около шести.

— Хорошо, — говорю...

Мне вспоминается такая история. Шли мы с приятелем из бани. Останавливает нас милиционер. Мы насторожились, спрашиваем:

— В чем дело?

А он говорит:

— Вы не помните, когда были изданы «Четки» Ахматовой?

— В тысяча девятьсот четырнадцатом году. Издательство «Гиперборей», Санкт-Петербург.

— Спасибо. Можете идти.

— Куда? — спрашиваем.

— Куда хотите, — отвечает. — Вы свободны...

Меня поразила тогда смесь обыденности и безумия. И в этот раз примерно такое же ощущение.

— Буду, — говорит, — около шести...

А у меня было назначено свидание в пять тридцать. Причем не с женщиной даже, а с Бродским. Далее — банкет по случаю чьей-то защиты.

Звоню, отменяю свидание. Банкет игнорирую. Мчусь домой в такси. Надо бы, думаю, вторые ключи заказать.

Жду. Приходит около шести. Раскрывает хозяйственную сумку, а там — консервы, яйца, хек.

— Вы, — говорит, — пока занимайтесь своими делами. А я все приготовлю.

Тут у меня дикое соображение возникло. А вдруг она меня с кем-то путает? С каким-то близким и дорогим человеком? Вдруг безумие мира зашло уже так далеко?..

Пожинали. Я сел заниматься. Лена вымыла посуду. Включила телевизор.

Телевизор у меня два года не работал. А тут вдруг заработал, как новенький...

Стал я замечать какие-то перемены. Над умывальником появи-

лись заграничные баночки. В моем шкафу повисло что-то замшевое. Возле холодильника утвердились короткие бежевые сапожки. Даже запах в квартире изменился.

Наступил вечер. Лена говорит:

— Вам чаю или кофе?

— Чаю.

Выпили чаю с какими-то пряниками. Я пряников до этого не ел лет тридцать...

Смотрю — час ночи. Вроде бы надо ложиться спать. Лена говорит:

— Посидите на кухне.

Сижу курю. Прочел газету за минувший вторник. Захожу в комнату — спит. На том же самом диване. Только вместо гимнастерки — нечто розовое.

Я лег, прислушался — ни единого звука. Хоть бы пошевелилась во сне из кокетства...

Я минут десять подождал и тоже уснул.

Наутро все сначала. Легкая неловкость, душ и кофе с молоком.

— На этот раз, — говорит, — я задержусь... Буду после одиннадцати. Так что не волнуйтесь...

Я поехал в редакцию. Оттуда — в бар Союза журналистов. С какой-то шведкой познакомился, в гостиницу меня звала. Все повторяла:

— Казак, налей мне русской водки!..

Друзья на подпольный концерт собирались. Авангардиста слушать. Причем авангардист довольно необычный — если можно так выразиться. Играет на виолончели лежа... Короче, множество соблазнов. А я домой спешу. В мой сумасшедший дом опаздываю.

Вечером я дождался ее и сказал:

— Лена, давайте поговорим. Мне кажется, нам следует объясниться. Происходит что-то непонятное. У меня есть несколько щекотливых вопросов. Разрешите без церемоний?

— Я вас слушаю, — говорит.

А лицо спокойное, как дамба.

Спрашиваю:

— Вам что, негде жить?

Барышня немного обиделась. Вернее — слегка удивилась:

— Почему это негде? У меня квартира в Дачном. А что?

— Да ничего, в сущности... Мне показалось... Я думал... Тогда еще один вопрос. Сугубо по-товарищески... Тысячу раз извините... Может быть, я вам нравлюсь?

Наступила пауза. Я чувствую, что краснею. Наконец она сказала:

— У меня к вам претензий нет.

Так и сказала — претензий, мол, не имею.

Наступила пауза еще более тягостная. Для меня. Она-то была полна спокойствия. Взгляд холодный и твердый, как угол чемодана.

Тут я задумался. Может, ее спокойствие выше половых различий? Выше биологического предрасположения к мужчине? Выше самой идеи постоянного местожительства?..

— И последний вопрос. Только не сердитесь. И если я не прав — забудьте... Короче, есть одно предположение... Вы случайно не работник Комитета государственной безопасности?..

Мало ли, думаю. Человек я все-таки заметный, неводержанный. Довольно много пью. Болтаю лишнее. «Немецкая волна» меня упоминала... Может быть, поставили к начинающему диссиденту эту фантастическую женщину?..

Тут уж, думаю, она раскричится. А если прав — тем более раскричится.

Слышу:

— Нет, я в парикмахерской работаю...

И затем:

— Если вопросов больше нет, давайте пить чай.

Так это все и началось. Днем я бегал в поисках халтуры. Возвращался расстроенный, униженный и злой. Лена спрашивала:

— Вам чаю или кофе?

Мы почти не разговаривали. Лишь обменивались краткой деловой информацией. Например, она сообщала:

— Вам звонил какой-то Бескин.

Или:

— Где тут у вас стиральный порошок?..

Мои дела ее не интересовали. Я тоже не задавал ей вопросов. Безумие приобретало каждодневные, обыденные, рутинные формы.

Мой режим несколько изменился. Поклонницы звонили мне все реже. Да и чего звонить, если откликается спокойный женский голос?

Мы оставались совершенно незнакомыми людьми.

Лена была невероятно молчалива и спокойна. Это было не тягостное молчание испорченного громкоговорителя. И не грозное спокойствие противотанковой мины. Это было молчаливое спокойствие корня, равнодушно внимающего шуму древесной листвы...

Прошла неделя. Субботним утром я не выдержал. Я сказал... Нет, крикнул:

— Лена! Выслушайте меня! Разрешите мне быть совершенно откровенным. Мы ведем супружескую жизнь... Но без главного элемента супружеской жизни... У нас хозяйство... Вы стираете... Объясните мне, что все это значит?.. Я близок к помешательству...

Лена подняла на меня спокойный, дружелюбный взгляд:

— Я вам мешаю? Вы хотите, чтобы я ушла?

— Не знаю, чего я хочу! Я хочу понять... Любовь — это я понимаю. Разврат — понимаю. Все понимаю... Все, кроме этого нормализованного сумасшествия... Будь вы агентом госбезопасности, тогда все нормально... Я бы даже обрадовался... В этом чувствовалась бы логика... А так...

Лена помолчала и говорит:

— Если надо уйти — скажите.

И затем, слегка потупив узкие монгольские глаза:

— Если вам нужно это — пожалуйста.

— Что значит — это?

Ресницы были опущены еще ниже. Голос звучал еще спокойнее. Я услышал:

— В смысле — интимная близость.

— Да нет уж, — говорю, — зачем?..

Разве я осмелюсь, думаю, так грубо нарушить это спокойствие?!

Прошло еще недели две. И спасла меня водка. Я кутил в одной прогрессивной редакции. Домой приехал около часу ночи. Ну и, как бы это лучше выразиться, — забылся... Посягнул... Пошел неверной дорогой будущего арестанта Гуревича...

Брошенный мною камень лег на дно океана...

Это была не любовь. И тем более — не минутная слабость. Это была попытка защититься от хаоса.

Мы даже не перешли на «ты».

А через год родилась дочка Катя. Так и познакомились...

В качестве мужа я был приобретением сомнительным. Годами не имел постоянной работы. Обладал потускневшей наружностью деквалифицированного матadora.

Рассказов моих не печатали. Я становился все более злым и все менее осторожным. Летом семидесятого года мои первые рукописи отправились на Запад.

У меня появились знакомые иностранцы. Сидели до глубокой ночи. Охотно пили водку, закусывая ливерной колбасой.

Коммунальный сосед Тихомиров угрожающе бормотал:

— Ну и знакомые у вас! Типа Синявского и Даниэля...

Осенью того же года меня снова упоминали западные радиостанции.

Лену мои рассказы не интересовали. Ее вообще не интересовала деятельность как таковая. Ее ограниченность казалась мне частью безграничного спокойствия.

В жизни моей, таким образом, царили две противоборствующие стихии. Слева бушевал океан зарождающегося нонконформизма. Справа расстилалась невозмутимая гладь мещанского благополучия.

Так я и брел, спотыкаясь, узкой полоской земли между этими двумя океанами.

Лена тем временем ушла из своей парикмахерской. Устроилась на работу в издательство «Советский писатель» корректором. Для меня это было сюрпризом. Я и не знал, что она такая грамотная. Как не знал и многого другого. И не знаю до сих пор...

Через год произошел у нее конфликт с властями. Это было так.

Издательство выпустило дефицитную книгу Ахматовой. На долю сотрудников пришлось ограниченное количество экземпляров. Кого-то обошли совсем. И в том числе — мою жену.

Она пошла к директору издательства. Выразила ему свои претензии. Кондрашов в ответ сказал, понизив голос:

— Вы не улавливаете сложного политического контекста. Большая часть тиража отправлена за границу. Мы обязаны заткнуть рот буржуазной пропаганде.

— Заткните мне, — попросила Лена.

Так между нами образовалось частичное диссидентское взаимопонимание...

Шли годы. Росла наша дочка. Она говорила, подразумевая мой японский транзистор:

— Я твоё «бибиси» на окно переставила...

Мы жили бедно, часто ссорились. Я выходил из себя — жена молчала.

Молчание — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие...

Я все жаловался на отсутствие перспектив. Лена говорила:

— Напиши две тысячи рассказов. Хотя один да напечатают...

Я думал — что она говорит?! Что мне проку в одном рассказе?!

И даже обижался.

Зря...

Разные у нас были масштабы и пропорции. Я ставил ударение на единице. Лена делала акцент на множество.

Она была права. Победить можно только количеством. Вся мировая история это доказывает...

Я так мало знал о своей жене, что постоянно удивлялся. Меня удивляло любое нарушение ее спокойствия.

Как-то раз она заплакала, потому что ее унизили в домоуправлении. Честно говоря, я даже обрадовался. Значит, что-то способно возбуждать ее страсти...

Но это случалось редко. Чаще всего она бывала невозмутима...

В семидесятые годы началась эмиграция. Уезжали близкие друзья. На эту тему шли бесконечные разговоры. А я все твердил:

— Что мне там делать?! Нелепо бежать из родного дома! Если литература — занятие предосудительное, наше место в тюрьме...

Лена молчала. Вроде бы стала еще молчаливее.

Дни тянулись в бесконечном унылом застолье, частых проводах и ночных разговорах...

Я хорошо помню тот февральский день. Лена пришла с работы и говорит:

— Все... мы уезжаем... Надоело...

Я пытался что-то возражать. Говорил о родине, о Боге, о преимуществах высокого социального давления, о языковой и колористической гамме... Даже березы упомянул, чего себе век не прощу...

Но Лена уже пошла кому-то звонить.

Я рассердился и уехал на месяц в Пушкинский заповедник. Возвращаюсь — Лена дает мне подписать какие-то бумаги. Я спрашиваю:

— Уже?

— Да, — говорит, — все решено. Документы уже на руках. Уверена, что нас отпустят. Это может случиться в течение двух недель.

Я растерялся. Я не думал, что это произойдет так быстро. Вернее, надеялся, что Лена будет уговаривать меня.

Ведь это я ненавидел советский режим. Ведь это мои рассказы не печатали. Ведь это я был чуть ли не диссидентом...

До последнего дня я находился в каком-то оцепенении. Меха-

нически производил необходимые действия. Встречал и провожал гостей.

Наступил день отъезда. В аэропорту собралась толпа. Главным образом, мои друзья, любители выпить.

Мы попрощались. Лена выглядела совершенно невозмутимой. Кто-то из моих родственников подарил ей чернобурю лису. Мне долго снилась потом оскаленная лисья физиономия...

Дочка была в неуклюжих скороходовских туфлях. Вид у нее был растерянный. В тот год она была совсем некрасивой.

Затем они сели в автобус.

Мы ждали, когда поднимется самолет. Но самолеты взлетали часто. И трудно было понять, который наш...

Тосковать я начал по дороге из аэропорта. Уже в такси начал пить из горлышка. Шофер говорил мне:

— Пригнитесь.

Я отвечал:

— Не льется...

С тех пор вся моя жизнь изменилась. Мной овладело беспокойство. Я думал только об эмиграции. Пил и думал.

Лена посылала нам открытки. Они были похожи на шифрованные донесения: «Рим — большой красивый город. Днем здесь жарко. По вечерам играет музыка. Катя здорова. Цены сравнительно низкие...»

Открытки были полны спокойствия. Мать перечитывала их снова и снова. Все пыталась отыскать какие-то чувства. Я-то знал, что это бесполезно...

Дальнейшие события излагаю пунктиром.

Обвинение в тунеядстве и притонодержательстве... Подписка о невыезде... Следователь Михалев... Какие-то неясные побои в милиции... Серия передач «Немецкой волны»... Арест и суд на улице Толмачева... Девять суток в Каляевской тюрьме... Неожиданное освобождение... ОВИР...

Полковник ОВИРа сказал мне вежливо и дружелюбно:

— Вам надо ехать. Жена уехала, и вам давно пора...

Из чувства противоречия я возразил:

— Мы, — говорю, — не зарегистрированы.

— Это формальность, — широко улыбнулся полковник, — а мы не формалисты. Вы же их любите?

— Кого — их?

— Жену и дочку... Ну, конечно, любите...

Так моя любовь к жене и дочке стала фактом. И засвидетельствовал его полковник МВД.

Я пытался сориентироваться. В мире было два реальных полюса. Ясное, родное, удушающее «здесь» и неведомое, полуфантастическое «там». Здесь — необозримые просторы мучительной жизни среди друзей и врагов. Там — всего лишь жена, крошечный островок ее невозмутимого спокойствия.

Все мои надежды были там. Не знаю, чего ради я морочил голову полковнику ОВИРа.

Через шесть недель мы были в Австрии.

Вена напоминала один из районов Ленинграда. Где-то между Фонтанкой и Садовой.

Единственной серьезной деталью городского пейзажа была река. Река, которая на третий или четвертый день оказалась Дунаем.

На сероватом уличном фоне выделялись проститутки. Они были похожи на героинь заграничных кинокомедий.

Мы поселились в гостинице «Адмирал». Мать целыми днями читала Солженицына. Я что-то писал для эмигрантских газет и журналов. Главным образом, расписывал свои несуществующие диссидентские подвиги.

К тому времени Лена уже переселилась в Америку. Ее письма становились все лаконичнее:

«Я работаю машинисткой. Катя ходит в школу. Район сравнительно безопасный. Хозяин дома — симпатичный пожилой американец. Его зовут Эндрю Коваленко...»

В Австрии мы прожили до лета. Вена была промежуточным этапом между Ленинградом и Америкой. Наверное, такое расстояние можно одолеть лишь в два прыжка.

Наконец мы получили американские документы. Семь часов над океаном показались мне вечностью. Слишком мало интересного в пространстве как таковом.

Самолет был американской территорией. Бортпроводницы держались независимо.

В аэропорту имени Кеннеди нас поджидали друзья. Известный фотограф Кулаков с женой и сыном. Поздоровавшись, они сразу начали ругать Америку.

— Покупай «тойоту», старик, — говорил Кулаков, — а еще лучше — «фольксваген». Американские машины — дерьмо!..

Я спросил:

— А где Лена и Катя?

Кулаков протянул мне записку:

«Располагайтесь. Мы в клубе здоровья. Будем около восьми. Еда в холодильнике. Лена».

Мы поехали домой, во Флашинг. Окружающий горизонтальный пейзаж напоминал изнанку Московского вокзала. Небоскребы отсутствовали.

Мать посмотрела в окно и говорит:

— Совсем пустая улица...

— Это не улица, — возразил Кулаков, — это хайвей.

— Что значит — хайвей? — спросила мать.

— Большак, — ответил я.

Лена занимала первый этаж невысокого кирпичного дома. Кулаков помог нам внести чемоданы. Затем сказал:

— Отдыхайте. В Европе уже ночь. А завтра я вам позвоню...

И уехал.

Я, конечно, не ждал, что меня будет встречать делегация американских писателей. Но Лена приехать в аэропорт, я думаю, могла бы...

Мы оказались в пустой квартире. На полу в двух комнатах лежали матрасы. Повсюду была разбросана одежда.

Мама заглянула в холодильник и говорит:

— Сыр почти такой же, как у нас...

Вдруг я почувствовал безумную усталость. Лег поверх одеяла и закурил. Контуры действительности неумолимо расплывались.

Кто я и откуда? Что с нами происходит? И чем все это кончится?..

Новая жизнь казалась слишком обыденной для значительных перемен.

Еще я подумал: «Как возникает человеческая близость? Что нужно людям для ощущения родства?..»

Я проснулся рано утром. За окном покачивалась ветка. Рядом кто-то был. Я спросил:

— Кто это?

— Лена, — ответил спокойный женский голос.

И дальше.

— Как ты растолстел! Тебе нужно бегать по утрам.

— Бежать, — говорю, — практически некуда... Я бы предпочел остаться здесь. Надеюсь, это возможно?

— Конечно, если ты нас любишь...

— Полковник говорит — люблю.

— Любишь — так оставайся. Мы не против...

— При чем тут любовь? — сказал я.

Затем добавил:

— Любовь — это для подростков... Тут уж не любовь, а судьба... Между прочим, где Катя?

— На циновке рядом с бабушкой...

Затем Лена сказала:

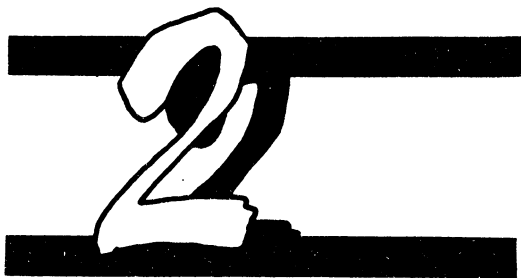
— Отвернись.

Я накрыл физиономию американской газетой.

Лена встала, надела халат и спрашивает:

— Тебе чаю или кофе?

Тут появилась Катя. Но это уже другая тема...



В. КАРДИН

Эпизод, не вошедший в исторические хроники

27 июля 1944 г. наша 140-я Сибирская стрелковая дивизия вместе с другими частями вступила во Львов, освободив его от гитлеровцев. В драных гимнастерках, засаленных пилотках, в стоптанных сапогах, мы, привыкшие воевать в лесах и болотах, среди обугленных развалин, теперь шагали по залитой солнцем мостовой, ослепленные невиданной красотой европейского города. Нам что-то радостное кричали женщины в нарядных белых платьях; их возгласы сливались в ликующую смесь украинского, польского, русского языков.

Из боковой улочки вышли колонной по двое люди в старых пиджаках и кителях, перепоясанных ремнями. За плечами — трофейные винтовки. На рукавах — красно-белые повязки.

«Привет, паны!» — «Честь, товажиши!»

Война не баловала нас праздниками. Потому и запомнился этот солнечный день, этот партизанский отряд с нарукавными повязками национальных цветов Польши...

Такие же повязки я увидел у прохожих четверть века спустя, точнее — 8 марта 1968 г., на Краковском Предместье — улице, соединяющей Старый Город с центром Варшавы. Только повязки не над локтями, как у партизан, а поверх манжета пальто. Так их носили ормовцы (члены отрядов рабочей милиции). Подобно нашим дружинникам, ормовцы должны были блюсти порядок.

Небольшими группами, по трое, по пятеро, люди с повязками направлялись к Варшавскому университету.

С любопытством зеваки я увязался за ними, прошел через широко распахнутые чугунные ворота в могучей каменной стене, ограждавшей университет. Двор заполняла веселая молодежь. Студенты дурачились, дарили девочкам букетики (8 Марта!). Кто-то, взобравшись на истоптанный пожелтевший бугор, ораторствовал. К речи, по-моему, не слишком прислушивались.

На сугробе, служившем трибуной, парня сменила девушка и громко, отчетливо начала читать резолюцию или что-то в этом роде. Я уразумел только: говорится об университетской автономии и о спектакле «Дзяды».

Спектакль по пьесе Адама Мицкевича, поставленный одним из варшавских театров, сняли с репертуара. Потому-де, что антицаристские мотивы романтической драмы, написанной после восстания 1830 года, могли восприниматься как антисоветские. Было что-то трогательное в отождествлении советской власти с властью царя. С таким же основанием следовало бы в Москве запретить «Ивана Сусанина» и «Бориса Годунова», усмотрев в них оскорбление современной Польши. Упорно поговаривали, что «Дзяды» запрещены под нажимом советского посольства. (Не пора ли МИД огласить документы о деятельности наших посольств в Венгрии, Польше, Чехословакии, когда в этих странах складывалась кризисная ситуация? Любая ясность, думается, предпочтительнее домыслов.)

Варшавская интеллигенция роптала, варшавские студенты настаивали на возобновлении спектакля.

По нынешним временам такие требования выглядят смехотворно-безобидными. Признаться, и в тот день я не сразу понял серьезность общего положения и коллизии во дворе университета.

Что-то начало до меня доходить, когда, обернувшись назад, увидел: к воротам один за другим подкатывают автобусы. Из них выскакивают крепкие парни с красно-белыми повязками на манжетах.

Образовав плотную цепь, ормовцы начали теснить студентов во внутренний двор. Уже находясь в нем вместе со студенческой толпой, я сообразил: западня! Боковой выход прикрывали десятки ормовцев, медленно двигавшихся справа.

Однако противостояние еще носило более или менее мирный характер. Смысл не совсем дружелюбной полемики, насколько мне дано было судить, сводится к тому, что рабочие корили студентов: мы вкалываем, а вы задарма обучаетесь, да еще суетесь в политику. Студенты не лезли за словом в карман: если вы — такие трудяги, то почему в рабочий день стоите не у станка, а топчетесь здесь?..

Я не улавливал всех оттенков спора. Но видел: обе стороны накаляются, упреки набирают резкость, ормовцы переходят к угрозам.

Находясь в толпе, не всегда заметишь, когда аргументом становится кулак, а перебранка уступает место драке. Перебранка, собственно, и была прелюдией потасовки. Парни с повязками себя подогревали, приступая к боевой операции.

Двое-трое ормовцев выбирали жертву, чаще всего девушку, сно-

ровисто вырывали ее из толпы. И — кулаком по лицу, ногой в живот.

Крики, стоны, брань огласили пространство между двумя старыми университетскими зданиями. Я стоял, прижатый к стене одного из них. Ни ормовцам, ни студентам до меня не было дела.

Вдруг я увидел перед собой искаженное ужасом и злобой девичье лицо:

— Сколько вам платят?

— Мне никто ничего не платит.

Студентку огорошила русская речь, по меховой ушанке она, вероятно, поняла, что я — приезжий и попал сюда совершенно случайно.

Очередной прибой вытолкнул ко мне человека лет тридцати. Он назвалса то ли ассистентом, то ли аспирантом и предложил: «Господин, я буду вам переводить... Сейчас на балконе ректор. Господин ректор призывает к спокойствию. Рядом с ним студенческая делегация. Делегация предъявляет требования...»

Переводчик хотел, чтобы кто-то сторонний был свидетелем? Вник в происходящее? Рассказал обо всем?..

Но я и без того понимал: к спокойствию и здравомыслию призывать уже поздно. На моих глазах побоище набирало зловещую силу.

«Господин, — обратился ко мне доброхот-переводчик, — становится опасно». И он исчез в каше человеческих тел.

Остолбенев, я замер на месте. Будто в шоке. На войне видел всякое. Но то — война. Страх, боль, растерянность, отчаяние преодолевались (насколько они преодолимы) собственной волей и подспудным чувством, которое выражается словами, слишком красивыми и затертыми, чтобы ими пользоваться всеу.

Но здесь, во дворе Варшавского университета, какая война? Кто с кем и из-за чего воюет?

Я покинул университетский двор, когда побоище уже выдохлось. Кого-то несли в санитарные машины, кого-то волокли в милицеские. Ормовцы удовлетворенно возвращались к своим автобусам.

На Краковском Предместье ко мне подбежала жена знакомого варшавского журналиста. Два дня назад я был у них в гостях, и их Тадек, студент института, который называют Политехником, допытывался у меня, не поляк ли советский поэт Твардовский, издающий в Москве подпольный журнал, где печатается этот... как его? Фамилия Солженицына ему не давалась.

Обезумевшая жена журналиста спросила, не встречался ли мне Тадек. И помчалась дальше.

Тадека я увидел через полчаса на площади Трех Крестов. Он шел с перебинтованной головой, опираясь на плечи подружки. Она растолковала мне: ничего страшного, удар, ослабленный шапкой, пришелся выше уха. Но вообще-то в Политехнике был кошмар...

Вечером приятель, на квартире которого я остановился, предупредил, что в одной из комнат будут ночевать студентки, спасаясь от ареста. «Как во времена оккупации», — мрачно уточнил он.

Действительно, прокатилась волна арестов. Газеты объясняли студенческие митинги происками сталинистов, «золотой молодежи», ревизионистов, сионистов... Сведущие люди намекали на борьбу в верхах, на желание под шумок заменить одних ответственных деятелей другими. Впрямь, какие-то вице-министры, генералы, директора и профессора ушли в отставку.

Не мне судить об этих уходах и перестановках. Я — лишь наблюдатель, на моих глазах разыгрался трагический эпизод. Следующее действие национальной трагедии — расстрел на гданьской верфи в декабре 1970 года.

В фильме Анджея Вайды «Человек из железа» приглушенно звучит и эта тема: рабочие не поддержали студентов в шестьдесят восьмом — студенты не пришли на помощь рабочим в семидесятом.

Командно-бюрократическая система взяла на вооружение старый, как мир, имперский принцип: разделяй и властвуй. Натравливание рабочих на студентов, на интеллигенцию обычно для нашего просвещенного века. Их руками норовят вершить постыдные дела. В том убеждает не только драма во дворе Варшавского университета, но и многие страницы современной истории. В ход пускается социальная лесть, цена которой не выше лести национальной. Гитлер сумел соединить обе: объявил немцев высшей расой, а национал-социалистическую партию — рабочей. Крепкий получился коктейль. Тяжкое наступило похмелье.

Неотразимо точна русская пословица: «Лестью душу вынимают!» Тот, у кого «вынута душа», кому внушена мысль о безусловном превосходстве над остальными, всего легче поддается одурачиванию и всего быстрее теряет человеческий облик.

Утверждаясь в своем превосходстве, ормовцы яростно лупцевали какого-нибудь очкарика или пинали ногами студентку. Они нуждались в гарантированной победе. Потому, кстати, жертвами погромов в первую очередь становятся всегда женщины, малолетки, старики.

Упоенно торжествующему победителю невдомек: он сейчас приблизился к первобытному предку, он холопски исполняет навязанную ему роль, действует сообразно программе, кем-то для него составленной.

По плану кровавый фарс в Варшавском университете не следовало доводить до смертоубийства. И не довели. В отличие, скажем, от Ферганы, Сумгаита, где убийства были изначально запрограммированы. Как пролог, проба сил для дальнейших зверств. Чего не поняло, а вернее, не хотело понять местное и центральное начальство, встревоженное собственным положением, зашатавшимися опорами.

Однако неизменно заблуждаются и режиссеры, воображающие, будто погромами упрочили свою власть. Расписывая роли для непосредственных исполнителей, они подписывают приговор себе. Вопрос только о сроках его исполнения.

Новый опыт подтверждает старые истины. Но в марте шестьдесят восьмого мной владело лишь чувство стыда и вины. Как задолго до того, еще осенью 1956 года, когда наши танки вступили в Буда-

пешт. Как вскоре после того, в августе 1968-го, когда наши танки вступят в Прагу.

Нет, не совсем так. Всякий раз — по-иному. В пятьдесят шестом, после XX съезда, пытались, себя неволя, верить: Хрущев вряд ли беспричинно согласился бы на интервенцию. К августу шестьдесят восьмого иссякли последние иллюзии. Возобладало отчаяние...

Однако в чем моя вина, откуда мой стыд за расправу над студентами-варшавянами?

Овладев Львовом, родимая 140-я вышла к Сану, с ходу форсировала его. 4 августа в Саноке погибли два моих близких товарища. А под Оломоуцем, в последние дни войны, автоматная очередь скосила моего друга капитана Лешу Подосинникова.

Это в память об их крови в ящике письменного стола лежит у меня чехословацкая медаль. На ее обороте девиз гуситов: «Правда побеждает». Лежит и польская медаль «За победу и свободу».

Но от военной победы над врагом еще несказанно далеко до часа, когда победят правда и свобода. Святые слова на медалях обесценены, подобно казенным лозунгам о дружбе навеки.

С лозунгами польские и чешские остряки разделились лихо. К словам о дружбе «на вечные времена» добавили: «и ни минутой дольше». Но с понятиями «правда» и «свобода» все же так легко не обойдешься. В правду и свободу верили наши солдаты, отдавая жизнь вдали от отчего крова. Не лучшим образом исполнена их последняя воля. Армия, внушавшая страх врагу, теперь внушала страх народам, ею же освобожденным от этого врага...

Ладно, оборвут меня, все это — эмоции, сантименты. Сегодня предпочтителен практический подход. Практический? Пожалуйста. С 1968 года Польшу нескончаемо покидают молодежь, способные и деловые люди, интеллигенция. Какого размаха достигла эта беда, если ксендзы в костелах призывают паству не уезжать из Отчизны, а правительство зовет эмигрантов вернуться домой!

Поляки, чехи, венгры вполне деловито — пусть и не без конфликтов, дискуссий — итожат 1956, 1968, 1970 годы. У них это получается куда успешнее, нежели у нас. Благие перемены, о каких год назад не помышляли политики и футурологи, не мечтали фантасты, совершаются стремительно, без капли крови. Нам перемены даются туго: постоянные осечки, срывы, опоздания. Что ни день, льется кровь.

Разумеется, за семьдесят лет командно-административная система проросла глубже, чем за сорок. Разумеется, в Восточной Европе давние демократические традиции, в основном мононациональные государства (с завидной быстротой и безболезненностью разрешился спор между чехами и словаками в ЧСФР!), влияние костела и «Солидарности» в Польше. Разумеется, экономика, не успевшая доказаться до краха...

Мы привыкли свысока поглядывать на дальних соседей и покровительственно — на ближних. Никто лучше нас не подтвердил старое изречение: победители плохо учатся, равно пренебрегая своим и чу-

жим опытом. Когда становилось нелегко, мы, подобно герою володинской пьесы «Старшая сестра», утешались нехитрой мыслишкой: «А если б ты был негром в Америке?» В Америке, вообще у «них», пусть комфорт, в магазинах полно всякой всячины, но — суд Линча, мафия, разгул преступности — вечером не выйдешь из дома. Зато мы нравственно непорочны, у «них» — классовая борьба, у «нас» — монолитное единство.

Сколько журналистов, писателей построили свое благополучие, проповедуя идею наших великих преимуществ, из года в год торгуя ложью. Монбланы книг, эвересты газетных комплектов. Господствующая идеология держалась на противопоставлении: «они» — «мы», исключая возможность объективно сравнивать государственные системы, экономику, воззрения, философии, повседневное бытие.

В начале 70-х годов инструктор, специалист своего дела, объяснял туристической группе, отправлявшейся «за бугор», какие вопросы нежелательно задавать тамошним жителям. Лучше не спрашивать, например, о продовольствии, о промтоварах, о производительности труда, о пенсиях, о здравоохранении... «Почему?» — недоумевали туристы. «Вот с чем у них хорошо, так это с продуктами». «Вот с чем у них хорошо, так это с медициной». «Вот с чем у них хорошо, так это со шутками»...

«С чем у них хорошо» — сейчас достаточно известно. «С чем у нас плохо» — тоже известно. Плохо, между прочим, и с чувством собственного достоинства. Высокомерие, как частенько случается, маскировало комплекс неполноценности, страх и приниженность, неизбежные при целенаправленном подавлении личности.

Страх исчезает. Люди начинают сознавать себя людьми. Но до чего мучительно, подчас уродливо идет становление. Я не вообще. Лишь применительно к эпизоду, не вошедшему в исторические хроники, к его последствиям.

Народные депутаты с высокой трибуны тревожно говорят об утечке мозгов и талантов. Социологи и статистики называют цифры со многими нулями, предупреждая: цифры будут расти. Беженцы пополняют kloкочущие толпы эмигрантов у чужеземных консульств. Люди покидают Родину. А власти обеспокоены, как бы едущий погостить в Польшу или Францию не вывез гжельское блюдце, банку растворимого кофе. Они умеют унижать собственных граждан, но бессильны и беспомощны, когда уже нельзя «не пущать».

Сегодня уезжают чаще всего те, кто чувствует себя ущемленным по национальному признаку, кто пострадал или может пострадать от погромов. Национальный мотив преобладает, усиливая общую тенденцию, она захватывает и людей с вполне благополучным «пятым пунктом», живущих вне зоны прямых конфликтов. Такого благополучия, выясняется, многим недостаточно. Грядет девятый вал эмиграции. Не надо обладать даром предвидения, чтобы понять: страну покинет значительная часть талантливой, предприимчивой, работоспособной русской молодежи. А это уже общенациональная драма. Предотвратить ее в обстановке нестабильности, постоянного дефицита, не стихающих региональных стычек вряд ли возможно. Но хо-

тя бы снизить, ослабить, не лишать отъезжающих перспективы возвращения. Не все, даже одаренные, — это уже очевидно — сумеют адаптироваться к достаточно жестким условиям «тамошней» жизни.

Права личности, которые наше государство вынуждено, наконец, признать, вступают в роковое противоречие с общенациональными интересами. Признавая приоритет этих прав, нельзя отмахиваться и от судьбы Отечества, не думать о его будущем, не помнить о крови, пролитой за него на долгих дорогах войны. Мало оснований надеяться, что правительство сумеет сочетать права человека с высшими интересами народа и державы. До сих пор ему такое не удавалось и вряд ли удастся в обозримом будущем.

Но неужто ничего ровным счетом не зависит от нас? Неужто мы не понимаем значения общественной атмосферы, ее влияния на эмигрантские потоки?

Люди страдают не только от житейских неурядиц, от вечных унижительных нехваток, бытового неблагополучия. Для многих, особенно молодых, невыносима сама жизнь в атмосфере вечной вражды всех со всеми, в атмосфере агрессивной аморальности.

Выяснилось, что лучше всего мы умеем бороться с «внутренним врагом», натравливая людей друг на друга, при этом зачастую неспособны вести полемику в границах цивилизованности и забываем: истинная цель честной общественной борьбы, столкновения идей — совершенствование человека, человеческого общества.

...Оглянувшись на себя, убеждаемся: свойства, какие мы извечно клеймили в «них», присущи нам самим. Да еще в какой степени!

Брест был символом героизма сорок первого года. Сегодня — перевалочный пункт «братской» спекуляции.

В Западной и Восточной Европе отношение к спекуляции терпимое — бизнес. Многие догадываются: не от хорошей жизни граждане великого государства при первой возможности «мухлюют» на всех толкучках мира. Но и они, догадывающиеся, они, терпимые, поражаются нашему неумемому мелкопредпринимательскому пылу.

Но я вернулся в Брест, на дорогу, ведущую в Польшу, чтобы снова прийти во двор Варшавского университета 1968 года. Посмотреть на случившееся тогда сегодняшними глазами.

Рабочие парни с ормовскими красно-белыми повязками, которых натравили на студентов, вряд ли хотели зла своей стране. Они намеревались лишь «проучить» зарвавшихся студентов, поставить их на место — и все будет о'кей. «Учить» умели кулаками и палками. Что, в конце концов, объяснимо. Сыновья участников героического польского Сопротивления, свидетели побед Советской Армии унаследовали веру в силу оружия, физического воздействия, не понимая: победа над гитлеризмом иначе была недостижима, но победить силой свой собственный народ — студентов или гданьских докеров — невозможно. Такая победа обернется поражением.

Поляки, кажется, это усвоили. Мы застряли и все еще пребываем в стадии усвоения. Не потому, что хуже кого-либо или глупее.

На протяжении всей своей истории человечество предпочитало рубить внутренние узлы, а не терпеливо их распутывать. С великим

опозданием приходит прозрение, оно оплачивается морями крови. Но люди начинают все определеннее убеждаться: победа в гражданской войне чаще всего иллюзорна и далеко не всегда оправдывает жертвы. Далеко не всегда оправданно предпочтение насильственному варианту, и неправда, будто история безальтернативна. Люди сами делают выбор. Однако чаще всего это право узурпируется, выбор делают за них цари, вожди, диктаторы, президенты, генералиссимусы, витии...

Пути истории многообразны, ее законы противоречивы, сложны, и не эти пути и законы — предмет настоящих заметок. Каждый из нас живет тревогами нынешнего дня, нынешним нашим неблагополучием, и отнюдь не ностальгия по минувшему заставила меня вернуться к давним событиям, одно из которых — славное, другое — позорное. Но право же, не потребность кого-то прославить, а кого-то заклеймить побудила взяться за перо.

Нет, к сожалению, ничего удивительного в том, что любое недовольство, несогласие порождает в нас желание применить силу, надежду на нее, прежде всего — на нее. Говоря «в нас», не делаю ни для кого исключения. Одни с великим трудом, правда, становятся на горло собственной песне, другие хватаются за дрын, финку, за «калашникова» или «макарова», и очередной эпизод окрашивается кровью. Конечно, всегда кто-то распаляет «благородный порыв», «жажду ясности», утоляемую с помощью ножа или автомата. Но почему это кому-то почти неизменно удается?

С молодых ногтей мы росли в атмосфере ненависти, подозрительности, веры в их оправданность, необходимость. В детском саду «красные» воевали с «белыми», в первых классах, надрывая ребячьи глотки, пели: «Возьмем винтовки новые...» Апология жестокости, насилия — из главных сверхзадач отечественного кинематографа. На экране сверкали клинки, падали лихо разрубленные тела, летели под откос расстрелянные, захлебывался очередями «максим», кулак из обреза целил в бедняка, бедняк замахивался оглоблей, оппозиционеры норовили подстрелить «великого гражданина», ученые — продать за океан секреты советской науки, инженеры совершали губительные ошибки, попадали в сети вражеской разведки... Едва пришло цветное кино, экран набух кровью.

Родившаяся на волне озверения и великих надежд-иллюзий, послеоктябрьская литература, за редким исключением, воспевала, прививала ненависть к бесконечной череде «внутренних врагов». Одних истребляли (отнюдь не только в книгах), незамедлительно появлялись новые. И новые повести, романы, поэмы продолжали бесславное дело.

Не просто мифология, но мифология ненависти, прекрасно уживавшаяся с мифом о монолитном единстве. Силу ее воздействия нам, современникам, вероятно, не определить. Но если установлено: промелькнувший на телеэкране рекламный кадр западает в подсознание, — что же «запало» в наши головы, наши сердца? Стоит ли удивляться, что тупиковая идея гражданской войны нам ближе идеи гражданского мира?

Все мы крепки задним умом, мастера махать руками после драки.

Настал час предотвращать драку, предотвращать новые беды. Самим, ни на кого не надеясь, научиться их избегать, находить решения, исключаящие дрын или «калашников». Только исключив их из обихода, мы чего-то добьемся. Хотя бы чего-то... Единственное допустимое, необходимое насилие — насилие над собой, преодоление десятилетиями складывавшихся стереотипов мышления и поведения, подавление реакций, которые кажутся естественными, но противоестественны по сути своей.

В том, вероятно, подлинный смысл демократии, трудность жизни в ее условиях. К этой трудности добавляются бесчисленные другие.

Как со всем совладать? Не знаю и не берусь давать советы. Каждому думать, проникаясь ответственностью и за исторические события, и за эпизоды, не входящие в историческую хронику. Жизнь преимущественно складывается из таких эпизодов. Тот, кто надеется, будто они уходят в песок, сам строит на песке. Убедительное тому подтверждение — судьба «неприступной» берлинской стены. Рухнул, сметен с лица земли символ вражды между народами и внутри народа.

Выводы из этого делать не только политикам, но и всем нам. Если мы окончательно не лишились способности к таким выводам.

Игорь ДУЭЛЬ

«Образ врага»

Перекресток судеб

Один из современников тех событий свидетельствует: вскоре после 9 января 1905 г. в витринах некоторых берлинских магазинов появились восковые фигуры Горького и Гапона с подписью: «Вожди русских рабочих» (ЦПА, ф. 563, оп. 1, д. 5, ч. 1, л. 146).

Почему такое непривычное для нас сочетание — Горький и Гапон? Почему коммерсанты Германии, то ли искренне сочувствуя трагедии «кровавого воскресенья», то ли желая использовать петербургское побоище, чтобы увеличить поток покупателей, выбрали именно этих двоих?

Ответ, как мне кажется, на редкость прост. Европа не знала в то время других деятелей русской революции. Во всяком случае, не знала никого другого из россиян, чье имя могло бы стать символом борьбы за свободу в этой огромной стране.

Несколькими десятилетиями раньше «загадочная славянская душа» поразила воображение законопослушников-европейцев дерзкими покушениями революционеров на первых лиц отечества, а то и на самого государя. Тогда и родился афоризм: «Россией правит абсолютная монархия, ограниченная удавкой».

Однако человеку свойственно привыкать к самым невероятным, самым противоестественным ситуациям. И хотя в начале века метательные снаряды то и дело еще взламывали тишину в разных концах России, эти героические до отчаяния (или отчаянные до героизма) подвиги одиночек производили все меньше и меньше впечатления на обитателей Российской империи, да и на цивилизованных европейцев: каких только разнообразных обычаев не изобрел род людской — на островах Тихого океана и вовсе поедают пленников. А ведь тоже из homo sapiens!

Что же до событий «кровавого воскресенья», то ясно было: бомбисты никаким боком к ним не причастны. Массовое мирное шествие к царю — с хоругвями, молитвами, песнопениями, славящими обожаемого монарха, — все это совсем не похоже на дела сторонников террора!

По всей видимости, берлинские коммерсанты, люди просвещенные, недурно разбиравшиеся в политике, знали и о том, что в России еще с конца XIX века стали заявлять о себе социал-демократы. Эта публика была хорошо знакома немцам. Ибо впервые партия, опиравшаяся в своих представлениях о будущем человечества на труды Маркса и Энгельса, создалась в Германии. И русские эсдеки частенько пользовались опытом своих немецких собратьев. Это признавал позднее Лев Троцкий, не слывший большим любителем преклоняться перед авторитетами. «Мы многим обязаны немецкой социал-демократии, — писал он. — Мы все прошли ее школу».

Петиция, которую рабочие несли царю 9 января, несмотря на ее «простонародную стилистику», составлена была мастерски. В ней перечислены практически все главные язвы российской действительности, программа реформ намечена с основательным знанием дела. Потому легко было догадаться — к ее написанию приложили руку люди образованные, политики-профессионалы.

Однако, хотя в иных газетах поминалось вскользь о том, будто эсдеки каким-то образом имели касательство к событиям 9 января, а иные из нелегалов, членов этой партии, даже шли в колоннах манифестантов к Зимнему дворцу, более определенных сведений по этому поводу из Петербурга не доходило. И уж, конечно, имен эсдеков-нелегалов не афишировали, а портреты их фигурировали лишь в делах департамента полиции.

Что же до руководителей Российской социал-демократической рабочей партии, еще совсем молодой в то время, было достоверно известно, что 9 января они находились за границей и были по горло заняты какими-то своими внутрипартийными делами.

Словом, выходило странное для европейского ума противоречие: создатели рабочей партии не имели оснований именоваться «вождями русских рабочих».

Оттого-то в глазах предприимчивых берлинцев исторический момент и выдвинул на передний план две столь несхожие, по нашему нынешнему пониманию, личности. Отца Георгия Гапона, который осенью следующего 1906 года под градом совершенно неопровержимых доказательств был разоблачен эсерами как провокатор и тогда же, по приговору их партии, повешен на пустующей даче под Петербургом. И Максима Горького, поразившего мир на переломе столетий талантливыми рассказами о быте босяков и прочего «дна» российского общества. Писателя, который многие годы помогал деньгами и авторитетом своего имени российским эсдекам, потом остро критиковал большевиков в первые годы их владычества, а под конец жизни охотно принял лавры «основоположника советской литературы» и «родоначальника социалистического реализма».

Большинством в два голоса

Однако как же могло случиться, что в момент едва ли не первого в истории России крупного выступления рабочих руководство РСДРП оказалось практически непричастно к борьбе пролетариата, именем которого постоянно клялось, борьбе за интересы которого обещало посвятить всю жизнь?

Думается, так вышло потому, что два кружка русских эсдеков-эмигрантов были тогда целиком и полностью поглощены междоусобицей, начавшейся как будто из-за сущих пустяков, но месяц от месяца обретавшей все более грозный характер.

Впрочем, официальная версия все объясняет иначе. Мол, дело обычное — в социал-демократических партиях часто выявляются два крыла: радикальное и умеренно-реформистское. Вот и в РСДРП с лета 1903 года шло такое размежевание. Так что все в рамках исторических закономерностей. И уж если не сумели русские эсдеки встать во главе пролетариата в 1905 году, то исключительно по вине реформистов.

Честно говоря, меня никогда не удовлетворяло такое простое объяснение. Сперва чисто эмоционально. Больно уж высок накал страстей в беспрерывных схватках большевиков и меньшевиков. Будто спорят не два марксиста, соединенных и общностью убеждений, и общностью борьбы за освобождение угнетенных масс, но бьются на смерть «два ангела с пеной на губах».

Однако время у нас нынче такое, что все советуют отбросить эмоции и разбираться в любой вставшей перед обществом проблеме, прибегая лишь к доводам рассудка, опираясь на неоспоримые факты. Попробуем последовать этому совету. Тем паче что, как я думаю, в деле предстоит разобраться наиважнейшем. Ибо, по моему глубокому убеждению, вся коллизия, о которой пойдет речь, не была случайной. И главное: год, предшествовавший первой русской революции, — 1904 — стал (попытаюсь доказать) поворотным для судеб партии, которая потом в течение без малого трех четвертей века

единовластно правила страной, а значит, и для судьбы нашего Отечества в целом.

Потому будем все проверять по пунктикам. Возьмем сперва утверждение, будто в РСДРП почти с момента ее создания возникли два принципиально противоположных идейных течения — большевики и меньшевики. Пусть так. Но в этом случае, само собой разумеется, разногласия между радикалами и реформистами должны проявиться сразу же при определении стратегических целей партии — то есть в момент, когда принималась ее программа.

Программа РСДРП была принята на II съезде, состоявшемся в июле — августе 1903 года. Но ее обсуждение отнюдь не стало ареной тяжких идейных схваток. Лишь представители нескольких мелких группировок высказывали несогласие с иными положениями проекта. Что же до делегатов, которые вскоре стали одни — большевиками, другие — меньшевиками, то они по программным положениям практически не полемизировали.

Между тем в программе отражены все главные — с позиции любого социал-демократа — цели по переустройству России на началах всеобщего равенства, братства, свободы и т. д., и т. п. Тут и ликвидация самодержавия. И создание законодательного собрания, которое (как и местные органы самоуправления) должно выбираться на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права. И уничтожение сословий. И «даровое» (то есть бесплатное) образование.

А есть немало положений, о реализации которых и в наше время можно только мечтать. К примеру, программа требует установления «неограниченной свободы совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов», «права на самоопределение за **всеми** (выделено мною. — *И.Д.*) нациями, входящими в состав государства», «свободы передвижения и промыслов», «отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоряжении земель».

Иные же пункты программы даже сегодня, в эпоху перестройки, самый неискоренимый оптимист отнесет лишь к отдаленному (а то и неопределенному) будущему. Такие, скажем: «замена постоянного войска всеобщим вооружением народа», «полное запрещение сверхурочных работ», «воспрещение женского труда в отраслях, где он вреден для женского организма».

Можно ли считать, что в условиях тогдашней Российской империи партия нуждалась в более радикальной программе? Вопрос риторический. Далее: можно ли кого-нибудь из горстки борцов за гуманный цели (еще нигде в мире тогда не воплощенные в реальность!) обвинить в недостатке революционности или радикализма? Язык не поворачивается.

Но, может быть, принимая общие цели, социал-демократы расходились во взглядах на способы их достижения, то есть в тактике? Мне кажется, чтобы рассеять сомнения и по этому поводу, достаточно лишь один пример. Плеханов, как известно, никогда не был большевиком. А с 1904 года Ленин то и дело третирует его как явного врага революционного крыла. Так вот именно Плеханов в иных своих высказываниях на II съезде проявляет такой избыток ради-

кализма в тактике, что получает (и на наш нынешний взгляд, поделом) жесточайший отпор со стороны либеральной интеллигенции.

На II съезде Георгий Валентинович, как говорится, ничтоже сумняшеся заявил: «Успех революции — высший закон. И если ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться... Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент..., то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а через две недели».

Сегодня, когда читаешь эти строки, холодок пробегает по спине. Ведь именно благодаря такого рода «релятивизму» и возник в конечном счете кошмар «красного террора», жуть ежовских лагерей, трагедия Куропат и тысячи других безвестных мест, где хранятся под тонким слоем почвы неопознанные трупы с небольшими — одинакового диаметра — дырочками в черепах. И приходит в голову: даже сегодня звучащее для многих крामолой утверждение о том, что Сталин — действительно ученик, последователь, продолжатель дела Ленина, выражает еще не всю правду. «Великий вождь» в иных своих деяниях проявлял себя не только верным ленинцем, но даже верным плехановцем.

Словом, прав один из авторов «Вех», известный в начале века профессор-юрист Б. А. Кистяковский, который так оценил высказывания Плеханова: «Провозглашенная в этой речи идея господства силы и захватной власти вместо господства принципов права прямо чудовищна».

Можно привести еще сотни примеров, свидетельствующих о том, что уж чем-чем, а недостатком тактического радикализма в момент рождения партии не страдала ни одна из групп эсдеков. Мало того, можно привести примеры, когда меньшевики критиковали тактические решения большевиков слева — то есть выступали с более радикальных позиций.

Но тогда в чем же все-таки разногласия?

Вопреки ожиданиям, чем глубже погружаешься в материал, тем меньше это понимаешь. Во всяком случае, уже упомянутый мною автор «Вех» Б. А. Кистяковский, дотошно и скрупулезно исследовавший «Полный текст протоколов Второго очередного съезда Российской социал-демократической рабочей партии» (Женева, 1903), так и не сумел добраться до истинных причин. Б. А. Кистяковский пишет: «Для характеристики правовых понятий, господствующих среди нашей радикальной интеллигенции, нужно указать, что устав с осадным положением был принят большинством всего двух голосов. Таким образом, был нарушен основной правовой принцип, что уставы обществ, как и конституции, утверждаются на особой основе квалифицированным большинством. Руководитель большинства на съезде не пошел на компромисс даже тогда, когда для всех стало ясно, что принятие устава с осадным положением приведет к расколу, почему создавшееся положение безусловно обязывало к комп-

ромиссу. В результате действительно возник раскол между большевиками и меньшевиками. Но интереснее всего то, что принятый устав партии, который послужил причиной раскола, оказался совершенно негодным на практике. Поэтому менее чем через два года — в 1905 году — на так называемом третьем очередном съезде, состоявшем из одних «большевиков».., устав 1903 года был отменен, а вместо него был принят новый партийный устав, приемлемый для «меньшевиков». Однако это уже не привело к объединению партии. Разойдясь первоначально по вопросам организационным, «меньшевики» и «большевики» довели затем свою вражду до крайних пределов, распространив ее на все вопросы тактики. Здесь уже начали действовать социально-психологические законы, приводящие к тому, что раз возникшая рознь и противоречия между людьми в силу присущих им внутренних свойств постоянно углубляются и расширяются».

Отдадим должное автору «Вех». Большинство высказанных им умозаключений глубоки и справедливы. Однако в главном своем выводе Б. А. Кистяковский все же ошибается.

Веховца сбило с толку, видимо, то, что Ленин не раз возвращался в своих работах к полемике по уставу на II съезде, постоянно подчеркивая ее важность. Особо пристальное внимание уделял он, как это широко известно, разногласиям по поводу первого параграфа устава, где было означено, кого считать членом партии, а кого чем-то вроде «сочувствующего» или «примыкающего» к ней.

В общем-то, с позиций человека непредубежденного, странный это был спор. Партия только нарождается. Желание «записаться в социалисты» в очереди (как ныне за дефицитом) пока нигде не спешат выстраиваться. По данным А. Терне («В царстве Ленина». Берлин, 1922), РСДРП в момент своего образования насчитывала 825 членов. Правда, позднее штатные историки КПСС насчитали в рядах партии той поры бойцов побольше. Однако высший предел, как мне известно, — 5 тысяч. За него самые жизнерадостные не рискнули шагнуть. Разве такой партии по силам сподвигнуть Российскую империю хоть на малый шаг к выполнению обширной программы? Ясное дело, нет. И выходит: для юной РСДРП жизненно важно, чтобы идеи социализма завладели умами множества сограждан.

Это по Мартову так выходит. А Ленин категорически не согласен считать «любого стачечника» социал-демократом. Тем паче он против членства в партии «какого-нибудь профессора».

Ленин убежден, что за выходцами из непролетарских слоев нужен глаз да глаз. Между тем сам Владимир Ильич ни молотом, ни напильником не орудовал, да вообще тогда, в начале века, его взаимосвязь с пролетарскими массами России никак не была неразрывной или хотя бы тесной. Известно признание Ленина, сделанное в начале января 1904 года: он очень завидовал эсдекам, которым приходилось произносить речи на многотысячных митингах, ибо сам он до того времени более чем перед пятнадцатью рабочими никогда не выступал. Известно и сетование Ленина, высказанное им

в порыве откровенности Горькому: «А мало я знаю Россию: Симбирск, Казань, Петербург, ссылка — и почти все!» Однако это нисколько не мешает Владимиру Ильичу говорить от имени русского рабочего класса, а всякого, кто с ним не согласен, бить наотмашь: «Пролетариат не боится организации и дисциплины, господа пекущиеся о меньшем брате! Пролетариат не станет пещись о том, чтобы гг. профессора и гимназисты, не желающие войти в организацию, признавались членами партии за работу под контролем организации. Пролетариат воспитывается к организации всей своей жизнью гораздо радикальнее, чем многие интеллигентники» (В. И. Ленин. ПСС, т. 8, с. 376).

...Филиппики подобного рода на страницах ленинских трудов той поры рассыпаны щедро. Они свидетельствуют о том, как важно было Владимиру Ильичу утвердить именно свое понимание членства в партии. Недаром же Ленин сам признается, что на съезде, как раз во время обсуждения устава, он «часто поступал и действовал в страшном раздражении», «бешено» (там же, с. 337).

И все же не это расхождение по уставным положениям стало причиной раскола партии.

Сами посудите: съезд большинством голосов принял редакцию первого параграфа устава, предложенную Мартовым. Поэтому кабы именно здесь прошел водораздел, то большевиками должны были бы именоваться сторонники Мартова. А те, кто высказывался за текст Ленина, — меньшевиками.

Так из-за чего же все-таки возникли в РСДРП два противоборствующих лагеря? В официальном — и не столь уж давнем — издании ИМЛ «Владимир Ильич Ленин. Биография» (М., 1987) по этому поводу сказано: «Последовательных революционеров, возглавляемых Лениным, получивших большинство голосов при выборах центральных органов партии, стали называть большевиками, а оппортунистов, оставшихся в меньшинстве, — меньшевиками».

Однако на той же 109-й странице того же первого тома официальной биографии Ленина приведены списки руководящих органов партии, избранных на II съезде, — Центрального комитета и редакции «Искры» (ЦО). Они невелики, в каждом по три человека. В редакцию вошли Ленин, Плеханов, Мартов. В Центральный комитет — Кржижановский, Ленгник, Носков. Над ЦК и ЦО стоял Совет партии, председателем которого избрали Плеханова и в который входили еще четверо: двое — от ЦК, двое — от редакции.

Итак, шесть человек во главе партии. Кто же из них те самые «революционеры, возглавляемые Лениным»? Назвать так Плеханова нелепо. По-разному складывались в разные периоды отношения двух «столпов» российской социал-демократии, но Плеханова Ленин никогда «не возглавлял». Явно не подходит это определение и к Мартову, который тоже никогда не действовал под ленинским «руководством». Сложнее обстоит дело с Носковым. Человек в то время еще совсем молодой (в 1903 г. ему было 25 лет), он, поскольку начинал вместе с Ульяновым в петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», некоторое влияние Владимира Ильича на

себе испытал, но, в общем, тоже не может считаться ни ленинским учеником, ни апологетом — словом, «возглавляемым». Тем паче что сразу после съезда проявилось очень серьезное несходство взглядов между Лениным и Носковым. И молодой цекист позволил себе дерзкие отзывы о деятельности Владимира Ильича. Одним из первых Носков выразил возмущение диктаторскими замашками «Старика», а затем — в феврале 1905 года — стал едва ли не главным инициатором исключения Ленина из состава Центрального комитета, решение о котором ЦК принял единогласно.

Вот Ленгник и Кржижановский — другой коленкор. То были действительно люди Владимиру Ильичу близкие, они, как правило, шли в ленинском фарватере. И на том этапе, и в последующие годы Ленгник вел себя как убежденный сторонник ленинского «якобинства». Кржижановский, в общем, тоже, хотя и не без существеннейших отклонений от «линии».

Но коли так, получается в лучшем случае ничья: три — три. А где же победа «последовательных революционеров», та самая, что породила слово «большевик»?

Одну победу «в кадровом вопросе» Ленин на II съезде РСДРП действительно одержал, гордился ею чрезвычайно, считал значительным своим успехом. Когда обсуждался состав редакции «Искры», было два предложения. Одно — оставить ЦО без изменений, то есть чтобы выпускали его те же шесть равноправных редакторов, что и прежде: Аксельрод, Засулич, Мартов, Плеханов, Потресов, Ульянов. Другое предложение: избрать только троих — Мартова, Плеханова, Ульянова. Второе выдвинул Ленин, и как раз оно и прошло (19 — за, 17 — против). Это большинство в два голоса и послужило исходной точкой в создании сперва фракции большевиков, а потом и «большевицкой партии нового типа».

Однако и тут для полноты картины требуются еще кое-какие немаловажные уточнения. Дело в том, что на II съезде присутствовало 43 делегата с 51 решающим голосом (т. е. восемь «двуруких» — тех, кому несколько местных комитетов РСДРП дали право голосовать за себя) и 14 делегатов с совещательным голосом. Между тем, если мы сложим вместе голоса тех, кто был за редакционную шестерку, и тех, кто высказался за тройку, получится всего 38. Куда же девались остальные? Вопрос важный, если учесть, каким большинством одержана «всемирно-историческая победа». Объяснение этому (по крайней мере частичное, касающееся семи делегатов, среди которых, возможно, были и «двурукие») дал сам Ленин через несколько месяцев после II съезда. Когда решался вопрос о численности редакции «Искры», семеро делегатов (пять «бундовцев» и двое из группировки «Рабочего дела») покинули съезд, ибо не нашли в тот момент — по разным мотивам — общего языка с прочими его делегатами. Ленин так комментирует это событие: «Как раз уход именно *семи* делегатов повел к провалу предложения об утверждении старой редакции... Эту семерку составляли... делегаты, оппортунизм которых десятки раз был признаваем съездом и признан, в частности, Мартовым и Плехановым...» (там же, с. 261).

Не станем подвергать сомнению эту оценку: пусть вся «великолепная семерка», покинувшая съезд, состояла из прожженных оппортунистов. Дает ли это хотя бы самое ничтожное дополнительное подтверждение официальной версии? Ровным счетом никакого! Не было, по сути дела, победы во время выборов в центральные органы партии «последовательных революционеров, возглавляемых Лениным», — вот единственный вывод, к которому нас приводят факты. А коли так, позволим себе и несколько более рискованное утверждение: ни ход II съезда, ни полемика, возникшая на нем, не давали серьезных оснований для раскола только что созданной партии на две враждующие фракции. И более того: на II съезде такого раскола РСДРП не произошло.

Потухший взгляд

Судьба Николая Васильевича Вольского (Н. Валентинова) сложилась довольно удачно. Во всяком случае, по сравнению с другими людьми, делавшими революцию, ему невероятно повезло: дожил он (хоть и на чужбине) до глубокой старости.

К марксизму примкнул Николай студентом Питерской политехники в 1898 году, 24 лет отроду. В 1904 году был большевиком. Потом меньшевиком. Летом 1917-го вовсе вышел из партии. В период нэпа редактировал «Торгово-промышленную газету», орган ВСНХ. А в 1928 году ему удалось выехать в Париж, откуда он уже в Россию не вернулся и где прожил многие годы. Валентинов опубликовал изрядное количество статей в эмигрантской и во французской прессе. И что для нас особенно важно, выпустил книгу «Встречи с Лениным», солидный том, который подробно рассказывает о недолгом периоде близкого общения автора с Владимиром Ильичем.

В конце 1903 года Николая Вольского арестовали в Киеве. Он объявил голодовку, и, поскольку времена начинались смутные, власть предрешающие сочли за благо временно выпустить строптивого арестанта на волю. Понимая, что «высшая милость» — штука ненадежная, Николай, как только предоставилась возможность, поспешил нелегально выбраться из пределов Российской империи. В первых числах января 1904 года он прибыл в Женеву и сразу же отправился на рю де Фойе, в дом 10, где снимали квартиру Ульяновы.

Распоров подкладку его пальто, Надежда Константиновна извлекла оттуда шифрованное письмо старого друга Ленина Глеба Максимилиановича Кржижановского (одного из немногих, с кем Владимир Ильич был на «ты»), которое рекомендовало «подателя» с самой лучшей стороны.

Сам же Николай был давним почитателем трудов Ленина (особенно книги «Что делать?») и знакомству с автором этого сочинения был несказанно рад.

Практик, организатор, непосредственно связанный с рабочей массой, атлет, обладавший могучей мускулатурой (а Ленин считал важной для борца за дело пролетариата способность дать физический отпор «фараонам»), Валентинов несколько месяцев пользовался симпатией и даже «благоволением» Владимира Ильича.

Вот фрагмент из записей Валентинова от 5 января (ст. стиля) 1904 года: «На мой вопрос, в чем суть партийных разногласий, Ленин... ответил:

— В сущности никаких больших принципиальных разногласий нет. Единственное разногласие такого рода — параграф I устава: кого считать членом партии. Но это очень несущественное разногласие. Жизнь или смерть партии от него не зависят. Параграф I устава был принят на съезде не в моей редакции, а Мартова. Оставшись в меньшинстве, ни я, ни те, кто меня поддерживал, о расколе не помышляли. И все-таки он произошел... Некоторые партийные «генералы» обиделись за неизбрание их в редакцию «Искры» и Центральный комитет. И отсюда пошла вся склока. После того, как Плеханов, под давлением обиженных генералов, стал настаивать на приглашении в редакцию всех прежних редакторов, я плюнул и, уйдя из «Искры», перебрался в Центральный комитет, избравший меня своим заграничным представителем. А как только это произошло, началась немедленная атака на ЦК, на сверхцентр, где засел самодержец Ленин, бюрократ, формалист, человек неуживчивый, одно-сторонний, узкий, прямолинейный. Я спрашиваю — где тут принципы? Их нет.»

Думаю, в данном случае с Владимиром Ильичем не сможет не согласиться даже самый заклятый его враг. С принципами здесь, и верно, туго. Дефицит их явный. Зато эмоций в избытке, и все сплошь отрицательные. Вот и возникает догадка: не эти ли эмоции — то есть взаимная неприязнь двух эмигрантских кружков, взаимные претензии и старых «партийных генералов», и молодых — стали если не единственной, то, во всяком случае, главной причиной раскола в РСДРП после II съезда. И лишь затем представители двух уже вставших на тропу войны групп взялись подводить под свои антипатии стратегические, тактические, организационные и всякие прочие фундаменты.

Но коли так, возникает вопрос: кто и почему (руководствуясь отнюдь не интересами угнетенного пролетариата России, а какими-то побочными целями) первым открыл военные действия?

Вернемся к книге Николая Валентинова. Свидетельства его имеют для нас уникальную ценность, ибо в период, когда Владимир Ильич относился к Николаю с «благоволением», Валентинов играл при Ленине особую роль. Дело в том, что Владимир Ильич, написавший за краткий свой земной срок великое множество книг, статей и произведений самых разных жанров, от философских трудов до листовок, петиций, резолюций, имел особую манеру творческой работы. Прежде чем сесть за письменный стол, Ленин проговаривал вслух зарождавшийся в его голове очередной фрагмент будущего сочинения. По всей видимости, в процессе говорения фрагмент и

составлялся. Но для того, чтобы мысль обретала ясность и последовательность, Ленину требовался слушатель. Эту роль обыкновенно выполняла Крупская. Однако с января по апрель 1904 года, то есть как раз в период, нас интересующий, своим «внимателем» или, скажем, конфидентом Ленин избрал именно Валентинова, что, как свидетельствует Николай, вызвало даже сильный приступ недовольства у обычно смиреннейшей и покорнейшей Надежды Константиновны.

И вот это выслушивание в течение нескольких месяцев ленинских монологов (каждый из которых сразу по возвращении с совместной прогулки записывался Валентиновым с тщательностью молодого «послушника») превратило Николая в своего рода магнитофон, зафиксировавший смену ленинских умонастроений в тот период.

Первые месяцы 1904 года для Ленина были этапом очень тяжелой духовной работы, которая изматывала его и морально, и физически. Давний знакомец Владимира Ильича Лепешинский, знавший Ленина долгие годы, повстречав его весной 1904 года, отмечал в своих воспоминаниях: «Я был свидетелем такого подавленного состояния его духа, в каком никогда мне не приходилось его видеть ни до, ни после этого периода».

Валентинов, наблюдая за Лениным, как говорят доктора, в динамике, свидетельствует: «В конце января или в начале февраля Ленин начал писать «Шаг вперед, два шага назад». В течение трех месяцев, понадобившихся ему для написания книги, с ним произошла разительная перемена: крепко сложенный, полный энергии, жизненного задора, Ленин осунулся, похудел, пожелтел, глаза — живые, хитрые, насмешливые — стали тусклыми, матовыми, мертвыми. В конце апреля одного взгляда на него было достаточно, чтобы заключить: Ленин или болен, или его что-то гложет и изводит».

Что же повергло в столь глубокую кручину борца за светлое будущее, которому естественно быть оптимистом, полного сил крепыша во Христовом возрасте?

Причин на то немало. Съезд, которого он так ждал, к подготовке которого приложил столько сил, не мог его не разочаровать. Победа над тремя «старыми генералами» оказалась иллюзорной. Как мы знаем, Плеханов не воспринял это самое большинство в два голоса всерьез и, пользуясь властью председателя Совета партии, вернул «генералов» в «Искру», которую Ленин считал своим детищем, а потому своей вотчиной.

Естественно, после этого обстановка в ЦО сложилась такая, что работать вместе стало невыносимо. Потому переход Ленина в ЦК был, по всей видимости, вынужденным.

Ленин в те дни жил как бы в вакууме. Большинство сторонников Владимира Ильича составляли люди молодые, практики. У них руки чесались поскорее принести человечеству конкретную пользу, потому они за границей не застревают. В конце 1903 — начале 1904 года в Женеве был очень малый кружок сторонников Ленина, и Владимир Ильич буквально гонялся за каждым своим потенциальным «послушником».

Правда, казалось бы, в этой ситуации сам собою напрашивается

вывод: надо возвращаться в Россию, где можно и даже нужно возглавить Центральный комитет, откуда приходят письма горячих сторонников.

Однако именно в тот год выявилось особое отношение Ленина к нелегальщине, которое потом, до самого апреля 1917 года, бывало камнем преткновения в его отношениях с товарищами по партии. Анализируя сложившуюся ситуацию, Н. Валентинов (уже не с позиций «послушника», с более поздней позиции — человека, не приемлющего большевистского лидера) по этому поводу писал: «...Гармонии слова и дела, приписываемой Ленину, у него как раз не было. Он никогда не пошел бы на улицу «драться», сражаться на баррикадах. Это должны были делать другие люди, попроще, отнюдь не он. В своих произведениях, призывах, воззваниях он «колет, рубит, режет», его перо дышит ненавистью и презрением к трусости. Можно подумать, что это храбрец, способный на деле показать, как не в «фигуральном», а в физическом смысле вступать в рукопашный бой за свои суждения. Ничего подобного! Даже из эмигрантских собраний, где пахло начинающейся дракой, Ленин стремглав убегал. Его правилом было «уходить подобру-поздорову» — слова самого Ленина! — от всякой могущей ему грозить опасности. Мы знаем, например, из его пребывания в Петербурге в 1906—1907 годах (он жил тогда под чужим именем), что эти опасности он так преувеличивал и пугливое самооберегание доходило до таких пределов, что возникает вопрос: не есть ли тут отсутствие личного мужества».

Конечно, это суждение Валентинова можно бы проигнорировать — мало ли что способен измыслить человек, убежавший от большевиков на Запад? Однако и самые апологетические биографии Ленина не засвидетельствовали его прямого участия в баррикадных боях, восстаниях, военных действиях и т. п.

На ту же особенность личности большевистского лидера указывает и Абдурахман Авторханов, знаменитый западный советолог, досконально знакомый с историей нашей компартии и ее вождей. В своей книге «Мемуары» («Посев», 1983) Авторханов вводит эту особенность личности Ленина в весьма неожиданный контекст: «Я абсолютно не сомневаюсь, что, сиди... вместе с Зиновьевым и Каменевым на скамье подсудимых сам Ленин, Сталин и его бы заставил признаться, что он никогда не был большевиком, а всегда был фашистом... (Ленин не был наделен природной физической храбростью, он писал в «Детской болезни левизны», что для сохранения жизни надо уметь пойти на «компромиссы» и «лабиринты», например, бандит угрожает вам убийством, если вы не отдадите ему машину, лучше заключить с ним «компромисс» — цена «компромисса»: он сохраняет вам жизнь, а вы отдаете ему машину; кстати, такой случай с Лениным и его сопровождающими был в Москве в 1918 г.) Исторической заслугой Сталина я считаю то, что он не только перед собственной страной, но и перед всем миром разбил миф о „героическом большевизме” и его „героических вождях”».

Можно бы, конечно, пренебречь и этим высказыванием бывшего партаппаратчика, а затем яростного антикоммуниста. Но вот суж-

дение по тому же поводу, принадлежащее Троцкому, который подошел к щекотливой теме несколько с иной стороны, проявив и деликатность, и дипломатичность, а заодно еще и высокую способность к диалектическому мышлению. Для того чтобы всему «дать толк и меру», Троцкий прибегает к исторической параллели: «К. Либкнехт был революционером беззаветного мужества. Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды. Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что во время войны он должен обеспечить безопасность главного командования».

Правда, Троцкий не учел одного обстоятельства: Ленин не с рождения занимал высокие посты. И поэтому на тот момент — начало 1904 года, о котором идет речь, — его забота касалась не столько «неприкосновенности руководства», сколько попросту собственной неприкосновенности.

...Однако не будем углубляться в эту тему. Обладал Ленин личной храбростью или нет — сие от него не зависело. Как говорится: чего Бог не дал, того взять неоткуда. Но факт несомненный: однажды испытав арест, тюрьму, ссылку, Владимир Ильич приложил немалые усилия к тому, чтобы вновь этим испытаниям не подвергнуться. И своего достиг. Хотя иной раз трудно доставалось и приходилось выслушивать явные оскорбления. Но Ленин стоически терпел брань, а на Родину — ни ногой. За весь период с 1900 по 1917 год провел он непосредственно в России всего девять месяцев. Пребывание в Финляндии в счет не беру, там действовала особая конституция. Эсдеки-нелегалы ездили туда как на курорт — отдохнуть от постоянной слежки.

Словом, так ли, этак ли, но в 1903—1904 годах Ленин не выказал никаких поползновений к возврату на родину. Поэтому оставалось одно — коловращение в узком эмигрантском слое, постоянные щипки и уколы со стороны «генералов» и ближнего их окружения.

Вот, к примеру, один из давних деятелей «генеральского» кружка товарищ Александр (настоящая фамилия Исув), давний приверженец марксизма, тощий, будто сжигаемый каким-то внутренним жаром, с горящими глазами фанатика, словом, всем обликом борец без страха и упрека, взял да и распространил в среде своих друзей письмо, в котором назвал Владимира Ильича «дезорганизатором слагающегося единства партии», обвинил в диктаторстве, заявил, что Ленин с помощью «стада баранов» пытается командовать РСДРП. А вывод чего стоит? Ленин заслуживает бойкота партии!

Или еще: на одном «генеральском» сборище (дошел слух) некий оратор расшалился: мол, Ленину нужна дирижерская палочка, чтобы ввести в партии дисциплину, подобную той, что утверждена в казармах оркестрантов Его Величества Преображенского полка.

«Вот уровень, на котором держится полемика! — жалуется Владимир Ильич своему confidentу Валентинову в январе 1904 года. — Словечко «дирижерская палочка» я употребил впервые два месяца назад, отвечая письмом в «Искру» на статью Плеханова «Что не

делать»... Дирижерская палочка в оркестре не принадлежит всякому, на нее претендующему... Право на дирижерскую палочку дается тому, кто обладает особыми свойствами...»

И в такой атмосфере, возможно, придется прожить долгие годы? Невыносимо! Валентинов пишет: «Этот период мне представляется одним из важнейших в политической жизни Ленина. Он стоял на повороте. Перед ним стоял выбор — какой дорогой идти: той ли, на которую указывали его властная натура, характер, психология, убеждения, идеология, то есть дорогой развернутого большевизма, приведшего к власти в 1917 году, или другой, во имя единства партии пойти на ряд самоограничений... Из того, что я слышал, я мог понять суть раздиравших Ленина колебаний, узнать, какие мысли он насильственно в себе подавляет и почему, в конце концов, такое большое различие между тем, что я слышал от него, и тем, что потом напечатано в «Шаг вперед, два шага назад». Чисто случайные обстоятельства дали мне возможность быть, так сказать, «за кулисами» этой работы Ленина — отправного пункта, откуда, отмежевываясь от меньшевиков, пошло организационное выделение особой большевистской ленинской партии».

А несколько страниц спустя Н. Валентинов делает свой вывод о роли Ленина в появлении среди российских эсдеков двух фракций: «Произошел бы на съезде раскол, завязалась бы после него партийная склока, если б не было Ленина? На это почти с уверенностью можно ответить отрицательно».

Еще раз проявим разумную осторожность. Ведь Валентинов недаром пишет «почти». Да — и опять же — не станем (как часто нас призывали в недавние времена) терять бдительность. Писаны приведенные строки в эмиграции, писаны в годы, когда у автора не было ни малейших оснований хорошо отзываться о Ленине и созданной им партии. Поэтому наберемся терпения и станем дальше сопоставлять факты...

Решительные «Шаги»

В нашем распоряжении есть свидетельство, которое, думается, любой, даже самый ярый ленинец признает безусловным и абсолютно надежным, — книга Ленина «Шаг вперед, два шага назад», представляющая собой по большей части пересказ с комментариями хода главных дискуссий о целях и средствах борьбы, а также о строении РСДРП, происходивших в июле — августе 1903 года на II съезде партии и вскоре после него.

Сам выбор темы заставляет несколько насторожиться. Ибо если в смысле скоростей перемещения с места на место начало нашего столетия, конечно же, значительно уступало дням нынешним, то зато в смысле быстроты выхода в свет книг оно значительно превосходило современные темпы, ставшие грустно привычными для нашего отечества. Так вот, к январю 1904 года, то есть ко времени, когда Ленин принимается за свой труд, уже опубликованы и стали предметом широкой гласности те самые «Полные тексты протоко-

лов... Второго съезда», что позднее изучал один из авторов «Вех». Казалось бы, чего же еще? Если кому охота вникнуть в суть внутрипартийных разногласий, есть для того самое ценное, незаменимое — первоисточник. Ленин и сам дает совет изучать эти протоколы как можно внимательнее. Ибо оценивает съезд как «большое собрание» (В. И. Ленин. ПСС, т. 8, с. 263).

Но на первых же страницах «Шагов» выясняется: одних протоколов мало, чтобы понять, какие процессы происходят в пока еще, как мы помним, отнюдь не массовой РСДРП. Есть, оказывается, еще литература «большинства», видимо, немалочисленная, ибо про нее поминается, что в ней только лишь «значение споров о параграфе первом (устава. — *И.Д.*) отмечалось уже много и много раз» (там же, с. 188). Нетрудно догадаться по целому ряду полемических выпадов автора, что не так уж малочисленна и литература «меньшинства».

Словом, за полгода перья и одного и другого направления поработали изрядно. И если пожелать российского социал-демократа из пролетариев или загнанного филерами нелегала, которым, видимо, по замыслу автора «Шагов», всю эту грудку уже имеющихся материалов необходимо внимательнейшим образом проработать, то, казалось бы, достаточно дать краткий обзор разных точек зрения. Хватит! Куда больше?

Однако Ленин придерживается иного мнения. Он считает необходимым еще раз «обратить внимание читателя на два действительно центральных, основных пункта, которые представляют громадный интерес, которые имеют несомненное историческое значение... Первый такой вопрос — вопрос о политическом значении того деления нашей партии на «большинство» и «меньшинство», которое сложилось на втором съезде партии и отодвинуло далеко назад все прежние деления русских социал-демократов. Второй вопрос — вопрос о принципиальном значении позиции новой «Искры» по организационным вопросам...» (там же, с. 187).

В конечном счете два этих пункта сливаются в один более общий — на каких главных принципах должна строиться деятельность партии? Ленин подробно излагает в книге свою позицию по этому поводу: «Сколько раз тов. Мартов и всякие другие «меньшевики» (слово пока ставится в кавычки, да и вообще — насколько мне удалось установить — употребляется впервые: именно здесь, в этом месте «Шагов», был найден впоследствии столь широко разнесенный по миру неологизм. — *И.Д.*) занимались... изобличением меня в следующем «противоречии». Берется цитата из «Что делать?» или из «Письма к товарищу», где говорится об идейном воздействии, о борьбе за влияние и т. п., и противопоставляется «бюрократическое» воздействие посредством устава, «самодержавное» стремление опереться на власть и проч. Наивные люди! Они уже забыли, что *прежде* наша партия не была организованным формально целым, а лишь суммой частных групп, и потому иных отношений между этими группами, кроме идейного воздействия, и быть не могло. *Теперь* мы стали организованной партией, а это и означает... превращение авторитета

идей в авторитет власти, подчинение партийным высшим инстанциям со стороны низших» (там же, с. 354—355).

Понятна логика? Подчинение теперь уже не требует «авторитета идей». Пора идейных убеждений прошла. Теперь есть устав, а значит, все куда проще: получил сверху приказ — и под козырек.

Впрочем, все же, может быть, это полемический перехлест? Ничего подобного! Несколько дальше в тексте «Шагов» та же идея дается в еще более развернутом виде. «...”Практик“ новой ”Искры“... избочивает меня в том, что партия представляется мне ”как огромная фабрика“ с директором, в виде ЦК, во главе... ”Практик“ и не догадывается, что выдвинутое им страшное слово сразу выдает психологию буржуазного интеллигента, не знакомого ни с практикой, ни с теорией пролетарской организации. Именно фабрика, которая кажется иному одним только пугалом, и представляет из себя ту высшую форму капиталистической кооперации, которая объединила, дисциплинировала пролетариат, научила его организации, поставила его во главе всех остальных слоев трудящегося и эксплуатируемого населения... Дисциплина и организация, которые с таким трудом даются буржуазному интеллигенту, особенно легко усваиваются пролетариатом именно благодаря этой фабричной ”школе“... Русскому нигилисту... барский анархизм особенно свойственен. Партийная организация кажется ему чудовищной ”фабрикой“, подчинение части целому и меньшинства большинству представляется ему ”закрепощением“..., разделение труда под руководством центра вызывает с его стороны трагикомические вопли против превращения людей ”в колесики и винтики“...» (там же, с. 379—380).

Итак, партия, построенная по принципу фабрики, Ленина не пугает. И даже ироническое высказывание — кажется, Аксельрода — по поводу превращения соратников по борьбе в «колесики и винтики» (оказывается, зря за него так старательно клеймили Сталина — он лишь плагиатор) не вызывает никакого протеста.

Нет, тут не полемические оговорки. Суть и смысл труда Ленина в том и состоит, чтобы обосновать не то что право на жизнь, но необходимость именно такой партии-фабрики с «колесиками и винтиками». В чем Владимир Ильич, бесспорно, прав, так это в том, что у подобной организации, даже немногочисленной, построенной по ротной-батальонному принципу, больше шансов, чем у какой-либо другой, прийти к власти. Но разве не столь же ясно должно быть сторонникам таких взглядов, что ничего иного, кроме казарменного рая, им не под силу построить?

Не станем гадать. Тогда, в начале 1904 года, до завоевания власти «ленинской гвардией» было еще далеко, как до Луны. Крошечному объединению «якобинцев» противостоял пока еще прочный, не расшатанный ни войнами, ни стачками государственный механизм, который (при всем множестве его природных пороков, слабостей, несовершенств, мерзостей) легко мог отстоять себя и от противника куда более могучего, чем группка эсдеков. Поэтому самые грозные потрясения отнюдь не мозолистыми руками особой опасности для Российской империи не представляли.

Зато в обращении с товарищами по партии, с теми, кто был (как уже говорилось, весьма условно) зачислен в «меньшинство», вырабатывался стиль отношений, который со временем стал универсальным. Но и его изобрел не сам Ленин. Еще в прокламации «Молодая Россия» (1862 г.) есть ставшая знаменитой фраза: «Кто... будет не с нами, тот будет против; кто против — нам враг, а врага следует истреблять всеми способами». Впрочем, может П. Т. Зайцевский (автор прокламации) тоже не был первооткрывателем? Так или иначе, но борьба с «ближним инакомыслием», нетерпимость ко всякому чужому мнению становится с той поры для Ленина и его «послушников» нормой поведения со всеми страшными последствиями, отсюда проистекшими.

Здесь, как мне представляется, простая логика. Если партия — это фабрика, если любой мыслящий несколько иначе, чем тот, кто считает себя монопольным владельцем истины, то есть любой, «кто не с нами», уже и «против нас», то необходимо представить миру этого «не с нами» (для начала) в самом, насколько то возможно, неприглядном виде. Именно так и поступает Ленин, по свидетельству уже знакомого нам Валентинова. Во время одной из прогулок он заявляет своему confidentу: «Диагноз партийной болезни теперь твердо установлен. В партии находятся не просто путаники, истерики и болтуны, а определенно правое, ревизионистское крыло, под флагом борьбы с «бонапартизмом» сознательно разлагающее партию. Нам они не товарищи, а враги».

Вот и найдено главное слово, которое столь много определит в судьбе России, в судьбе многих стран и народов!

Правда, в тексте «Шагов» «меньшевики» «врагами» не названы. Это, видимо, одна из многочисленных купюр, которые Ленин сделал при позднейшем саморедактировании, работе, как мы знаем, изматывавшей и вымучившей Владимира Ильича. Ибо, видимо, и очень хотелось договорить все до конца, и страшновато было, что такая откровенность может окончательно проредить и так не слишком густую толпу «послушников».

Однако всякие намеки на «диагноз партийной болезни» в тексте варьируются постоянно. Январское признание о том, что никаких принципиальных разногласий на съезде не было, сменяется утверждением, что съезд выявил существование в РСДРП двух идейных антиподов — тех самых: революционного крыла и оппортунистического. Взаимная неприязнь двух эмигрантских кружков обернулась с выходом книги «Шаг вперед, два шага назад» «идейным размежеванием».

Пожалуй, трудно было нанести по только что начавшей складываться крошечной РСДРП, по интересам миллионных пролетарских масс, чаяния которых она пыталась понять и выразить, более сокрушительный, более страшный удар.

Именно так расценил выход книги Ленина Плеханов, отозвавшийся на «Шаги» одним из первых. В статье «Теперь молчание невозможно», опубликованной в «Искре» в мае 1904 года, он писал: «Деятельность наших заграничных представителей пропитана духом

той политики, которую я называю политикой мертвой петли, туго затягиваемой на шее партии. Наиболее видным и последовательным носителем принципов этой политики являлся и является тов. Ленин. Зачем вы молчите теперь, когда вам следовало бы не только говорить, а прямо греметь, трубить во все трубы, кричать со всех крыш о вашем отношении к бонапартизму? Прервите же ваше молчание! Скажите нам прямо и решительно: как понимаете вы централизм, что вы думаете о бонапартизме или, короче, одобряете ли вы политику Ленина? Это тем более полезно сделать теперь, когда Ленин выпустил брошюру, которая в истории наших внутренних отношений будет играть роль масла, подлитого в огонь. Вы не отняли у Ленина его полномочий, и он, пользуясь ими, продолжает делать все от него зависящее, чтобы толкать партию прямо к расколу. У него для этого есть свой и совершенно понятный расчет».

О расчете, на который намекает Плеханов, легко догадаться. Впрочем, чтобы не было сомнений по поводу того, что имеет в виду председатель Совета партии, избранный на II съезде, приведем несколько высказываний других лидеров эсдеков. Ю. Мартов: «Ленин выработал организационный план, сводящий классовую политическую партию к ее центру, а центр — к ее лидеру». В. Засулич: «Партия для Ленина — это его план, его воля, руководящая осуществлением плана».

Еще определеннее обрисовал ту же схему Мартынов: «Диктатура пролетариата у них (единомышленников Ленина. — И. Д.) превращается в „диктатуру диктатора”».

Впрочем, афоризмы Мартова, Засулич, Мартынова прямо с «Шагами» не связаны. Но они вполне подошли бы, если бы каждый из этих авторов взялся рецензировать только что опубликованную тогда книгу. Реакция этой группы для Ленина не могла быть неожиданной. Пожалуй, лишь резкость и однозначность Плеханова должна была бы его несколько озадачить. К патриарху российского марксизма Владимир Ильич испытывал уважение, и на II съезде и позднее они часто выступали плечом к плечу. Скажем, именно Плеханову принадлежала очень четкая формулировка пролетарской диктатуры — «подавление всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих интересам пролетариата», — которая у Ленина иных возгласов, кроме «Браво!», вызвать не могла.

Правда, потом была история с возвратом «генералов» в редакцию «Искры», да и в тексте «Шагов» кое-где патриарху задавалась таска, однако вряд ли ожидал Ленин получить столь мощный отпор. «Петля на шее партии!» — крепко сказано.

Вообще же, если прикинуть расклад сил в РСДРП, не сразу догадаешься, на одобрение какой части партии мог рассчитывать автор «Шагов», провозглашаая политику раскола. Ведь и «послушники» за год — еще начиная с осени 1903 года — писали ему из России, что они за единство РСДРП, старались остеречь от разжигания конфликтов. Н. Вилонов, эсдек из рабочих, двадцатилетний романтический юноша, прежде внимавший беспрекословно едва ли не каждому слову «Старика», в ноябре 1903 года писал: «Мне совсем непонятна

борьба, которая ведется теперь между большинством и меньшинством. Очень многим она кажется неправильной...» И старый соратник Г. Кржижановский, тот самый член ЦК, которого мы признали «возглавляемым Лениным», тоже явно недоволен происходящим: «Конкретные пункты раздора для меня пока все-таки не выяснены. Состояние разброда и разъединенности теперь, в настоящий исторический момент, представляется таким громадным несчастьем, я бы сказал, политическим самоубийством, что умиротворению и объединению партии должны быть принесены в жертву все другие менее важные соображения». И Красин, еще совсем недавно твердокаменный, в ту же дуду: «Если бы Вы видели тот громадный труднопоправимый вред, который уже сейчас нанесен делу этими раздорами...»

И все же можно предположить, что автор «Шагов» имел основания думать: провозглашенный им курс не обречен на провал. По всей видимости, главная ставка делалась на молодых «рекрутов», которым всегда по сердцу максималистские течения. Рассуждая на эту тему, отец Сергей Булгаков в своей статье «Героизм и подвижничество», помещенной в «Вехах», писал: «Такой максимализм имеет признаки идейной одержимости, самогипноза, он сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни. Этим дается ответ на тот исторический вопрос, почему в революции торжествовали самые крайние направления... Отчего эти более крайние и явно безумные направления становились все сильнее и сильнее и при общем полевении нашего трусливого и пассивного общества, легко подчинявшегося силе, оттесняли собой более умеренные...»

Ту же мысль развивал и другой «веховец» — А. С. Изгоев, который, вторя С. Булгакову, писал: «Во времена кризисов народных движений или даже просто общественных возбуждений крайние элементы у нас очень быстро овладевают всем, не встречая почти никакого отпора со стороны умеренных».

Ленин, должно быть, уловив эту тенденцию, спешил утвердиться в роли «крайнего», что (помимо прочих эффектов) давало увеличение числа «послушников» из числа самых зеленых юнцов.

Но, по всей видимости, еще важнее другой логический ход. Уж что-то знал Владимир Ильич превосходно, так это психологию своих оппонентов. Он нисколько не сомневался: сделанный им выпад не окажется безответным. Оппоненты поспешат со своими контрмерами, а это приведет к затяжным боевым действиям. Ибо стиль мышления его оппонентов был как бы зеркальным отражением стиля мышления самого Ленина и его ближайшего окружения.

Жители Зазеркалья

Размышляя о расколе в РСДРП, мы пока сосредоточили внимание на том, кто и почему первым бросил камень.

Теперь пора обратить взор в иную сторону. Пора попытаться

понять, что представлял собою кружок оппонентов Ленина: фракция меньшевиков — течение меньшевизма — позднее меньшевистская партия.

Здесь, чтобы не потерять объективности, нельзя упускать из виду одно обстоятельство. Те из меньшевиков, кому судьбой уготовано было дожить до октября семнадцатого, в немалом числе подверглись «окороту» еще при ленинском режиме (посажены в тюрьмы, выгнаны из страны), а кто прожил еще дольше, были репрессированы или расстреляны в тридцатые. Потому ореол мучеников невольно просветляет их лики. Начинает казаться, что как раз в этой группе эсдеков упор в названии партии делался на второй его части — то есть не столько на социализме, сколько на демократии, а значит, возникает надежда, что, окажись у власти эта группа, общественный строй в нашей стране мог выйти с не столь безобразной физиономией.

Перебирать подобные варианты: что было бы с историей, кабы так повернулись события или вот эдак, — дело крайне соблазнительное и заманчивое, но вполне бесполезное, ибо нет ни малейшей возможности проверить «мысленный эксперимент». Поэтому попытаемся лучше поворошить реальные факты, которыми располагаем, оглядеть их с разных сторон.

Первое, что невольно бросится в глаза, — это странность самого зарождения меньшевизма. Тут нечто вроде непорочного зачатия или, если на современный лад, имплантации. А точнее всего, метод папы Карло, самолично изготовившего из полена Буратино. Взял хотя бы название. Жил себе кружок социал-демократов, что-то утверждал, с чем-то спорил, но никаким именем себя не обозначал. Имя ему придумал главный оппонент — Ленин. В общем-то, скорее даже не имя, а кличку. Притом обидную: ведь человеческое мышление так устроено, что как-то приятнее примыкать к большинству, ибо принято думать, что, ну скажем, дураки все же составляют меньшую часть рода людского.

Но Бог с ним, с названием. Куда важнее другое. Как по-нормальному родятся фракции, течения, партии, вообще любые объединения единомышленников? Собираются люди и заявляют: мы исповедуем такие-то принципы, стоим за такие-то идеи, добиваемся своего намерения так-то. А с меньшевиками ничего похожего. Опять же Ленин объявил: есть у нас в партии такая-сякая компания. И определил-то Владимир Ильич, что за компания, исходя не из внутренней сути исповедуемых ее сочленами идей, принципов и прочего, но как бы от противного. Взял да и заявил: я и мои сторонники — это большевики, «якобинцы», то есть революционное крыло; а те, кто не с нами, меньшевики — крыло оппортунистическое. Правда, буратины в ответ не кивали, по поводу обвинения в оппортунизме еще как заголосили! Но факт существования своего объединения (как чего-то большевизму чуждого) с поразительной легкостью стали признавать. Хотя на первых порах особенно) основания для этого были крайне зыбкими. Недаром же, вспоминает Михаил Александрович Сильвин (участник социал-демократического движения еще с середины 90-х гг. XIX в.): когда он осенью 1904 года спросил

Плеханова о причинах раскола, услышал в ответ раздраженную реплику: «Вы думаете, что я понимаю. Я ничего не понимаю». И далее Плеханов твердо заявил, что сам себя не считает ни большевиком, ни меньшевиком (ЦПА, ф. 563, оп. 1, д. 5, ч. 1, л. 107).

Так вот, мне представляется, что самое точное и самое близкое к истине объяснение столь странному поведению тех эсдеков, кто был отнесен Лениным к меньшевикам, дает тот же Сильвин в своей замечательной рукописи «Телега жизни», и нынче не опубликованной, хранящейся в Центральном партийном архиве: «Меньшевики оказались не менее упрямыми, чем большевики... Упрекая большевиков в групповой психологии, в механических мерах очищения партии, в желании превратить ее в организацию заговорщиков, в секту, меньшевики сами были проникнуты... стремлением к бюрократическому централизму, и недаром главного вдохновителя этой группы, Дана, называли "меньшевистский Ленин"... Это копирование Даном Ленина, это подражание меньшевиков организационным приемам большевиков в свое время подметил и Парвус. "Видя Ваше отношение к другим, — писал он Потресову, — начинаю приходить к выводу, что Ленин только наиболее яркий представитель ленинизма, сидящего во всех вас"» (там же, л. 115—116).

В другом письме тому же адресату умный и циничный Парвус вновь возвращается к высказанной ранее мысли, но на этот раз делает из нее далеко идущие выводы: «Ленинизм не исчерпывается одним Лениным, он еще сидит во всех вас и сводится к игнорированию влияния «стихийного» политического развития, к переоценке полезного, как и вредного влияния отдельных личностей. Вам кажется, что вы делаете движение, а между тем вы только повар у исторического горшка и даже не успеваете снять накипь с бульона, а теперь передрались между собой и готовы расплескать исторический суп, хлебать который вы давно созывали всю Россию».

Это сравнение Парвуса удивительно схоже с оценкой несколько более позднего этапа той же конфронтации между вожаками тех же двух эмигрантских кружков уже в совсем иных исторических обстоятельствах, которую дал Виктор Павлович Ногин. В грозном письме из России, где Ногин ценой невероятных усилий пытался восстановить разбитые в годы реакции комитеты РСДРП, он, обращаясь к Ленину, Зиновьеву, Каменеву и другим эсдекам-эмигрантам, тяготевшим к большевизму, пытается удержать их от действий, ведущих к окончательному расколу партии: «...Известие как о манифесте голосовцев, так и о вашем "раскрытии заговора" встречается одинаково враждебно и вызывает лишь возмущение авторами. В ответ на них группа партийных большевиков и меньшевиков написала по адресу всех заграничников письмо, в котором между прочим есть такое выражение: "Лейте, господа, друг на друга грязь сколько угодно, но не выливайте свои помои в Россию"» (ЦПА, ф. 2, оп. 5, д. 272, л. 1).

О времена! О нравы!

До того момента, как эти слова будут написаны, пройдет еще шесть лет, наполненных целой обоймой воистину исторических, судьбоносных для России событий. Но господа из двух компаний политэмигрантов будто бы спешат исполнить еще не данный им совет с максимальной тщательностью. Они будто ищут возможность подтвердить суждения отца Сергия Булгакова о соотношении марксизма и нравственности, высказанные им в одной частной беседе: «Марксизм по самой своей сущности импотентен внушить какие-либо нравственные идеи. Ему известны злоба, мнительность, гнев и чужды жалость, любовь, горячая симпатия. Свой идеал — установление социалистического общества — он строит на развитии чувства зависти и ненависти, проповеди кровавого насилия, идеализации классового интереса рабочих, а как бы ни прикрывали этот классовый интерес — он есть и может быть только эгоистическим».

Однако не будем спешить с оценками. Вернемся к тем событиям, которые стали сотрясать предместья Женева (где расселились враждующие группы эсдеков) после выхода в свет книги Ленина «Шаг вперед, два шага назад» и первых откликов на нее, среди которых, конечно, важнейшим был отклик Плеханова с его убийственной оценкой ленинского труда: «Петля на шее партии».

Тогда же, в мае 1904 года, сам виновник покотившейся волны страстей отбывает на отдых. Как мы помним, писание труда или «брошюры», как выразился Плеханов, далось Ленину очень тяжело. Он выглядел совершенно больным, погруженным в глубочайшую депрессию. Официальная биография Ленина (та самая, изданная Политиздатом в 1987 г.) сообщает об этом факте с интонацией сдержанного умиления, как и о прочих бытовых подробностях жизни «нашего Ильича»: «Крайнее переутомление вынудило Ленина временно оставить все дела. Вместе с Надеждой Константиновной он неделю отдыхал в Лозанне. а затем, надев рюкзаки, они отправились в горы, бродили по диким тропкам, забираясь в самую глушь... После путешествия в горах Ленин и Крупская август прожили в глухой деревушке около озера Лак де Бре (под Лозанной). С большим удовольствием работал Владимир Ильич в огороде, помогая хозяину дома, швейцарскому крестьянину. Физический труд на воздухе был для него лучшим отдыхом».

Не правда ли, звучит и демократично, и трогательно? Не какие-нибудь там буржуйские санатории или пансионаты, а пеший туризм, жизнь в крестьянской хижине. Но, с другой стороны, что же тут особенно демократичного? Молодая супружеская пара имеет возможность совершить вовсе недурное путешествие по швейцарским Альпам. Посещают красивейшие места — озера, перевалы, долины. Поселяются там, где им заблагорассудится, отправляют домой открытки с видами местных достопримечательностей...

А в самой Женеве два кружка политэмигрантов, подхватив военный клич, брошенный Лениным, применяют самые разные способы

боевых действий — от разоблачительных газетных выпадов до попыток перетянуть тех или иных конкретных эсдеков на свою сторону. Бдит разведка и контрразведка и того и другого стана. И когда, к примеру, меньшевикам становится известно, что Ленин перед отъездом лишил Валентинова своего «благоволения» (Николай оказался знатоком гносеологии, он попытался несколько раз в самой популярной форме объяснить Владимиру Ильичу, что теория познания Маха — это серьезно, после чего немедленно был отчислен из «послушников»), меньшевиками проводится операция, цель которой — обратить Валентинова в свою веру. Николай хоть и крайне раздосадован нежеланием Ленина вникать в суть возражений оппонента, его деспотизмом, но еще не решил, достаточная ли это причина, чтобы перейти в другую фракцию. Однако дорога назад «в большевики» ему уже отрезана. Бдительное око большевистской контрразведки отметило встречу Валентинова с Мартовым. И Ленин, вернувшись в Женеву, дает окончательный «гон» своему бывшему confidentу — формулировка убийственная: яхшался с меньшевиками. Объяснения и оправдания в учет не берутся.

Или другая история. Летом того же 1904 года до Женевы добирается Сильвин. Добирается в виде самом плачевном. После длительного путешествия (естественно, нелегального — бежал из ссылки) в его кармане — ни гроша, ни сантима, ни пенса или хоть какой-нибудь еще монеты. Нет у него и ни одного адреса явочной квартиры. Единственная надежда голодного странника — встретить хоть кого-нибудь из соотечественников. И тут ему повезло. Проходя по женевским улицам несколько часов, он наконец услышал русскую речь. К тому же он встретил не просто соотечественников, но товарищей по партии, социал-демократов. Радости беглеца нет предела. Ему выделяют крошечную комнатку в доме, который снимают сообща случайно попавшиеся на улице товарищи. Он, конечно, накормлен, приодет и так далее.

Однако Сильвин, не по своей воле оторванный надолго от партийной жизни, не сразу понимает, что встретившиеся ему люди не просто эсдеки, но меньшевики. Впрочем, и когда они сообщают ему о партийных разногласиях, о том, что их стан противоположен ленинскому (а Сильвин с Ульяновым связан общей работой в петербургском "Союзе борьбы" и ссылкой в Минусинский край), хозяева не лишают Сильвина ни крова, ни пищи. "Меньшевики ничего не сообщали о своих планах и намерениях, — пишет Михаил Александрович, — они советовали мне читать литературу раскола и определяться, решительно примкнув к той или другой стороне..." (ЦПА, ф. 563, оп. 1, д. 5, ч. 1, л. 132).

Сильвин, прежде чем сделать окончательные выводы, естественно, стремился повстречаться с Ульяновым. «Об адресе Ленина, — вспоминает он, — я спросил сейчас же по приезде. Но его не было в Женеве, он взял отпуск и уехал в горы на два с половиной месяца... Узнав о возвращении Ильича, я поспешил к нему со своими сомнениями. Принял он меня неожиданно сухо. Может быть, до него дошло, что я поселился в самом гнезде меньшевиков... Я... сразу

почувствовал, что это уже не прежний Ильич, старый товарищ и друг, лектор и любезный собеседник. В нем было уже то, что впоследствии так хорошо подметил Локарт: "В этих стальных глазах было что-то такое, что привлекало мое внимание; в его пристальном взгляде сквозили отчасти презрение, отчасти насмешка, говорившая о безграничной самоуверенности, о сознании своего превосходства..." Я заговорил с Владимиром Ильичем непринужденным тоном старого товарища и сразу поставил вопрос о незначительности большинства в два голоса для решения судеб партии.

"Если вы приехали нас мирить, — (был ответ Ленина. — *И.Д.*), — так вам лучше убраться поскорее..."

...Ленин спросил меня, читал ли я «Шаги». Я признался, что читал, но и "Шаги" не объяснили мне, почему надо раскалывать партию. Ленин сухо оборвал разговор. Я ушел от него с тяжелым чувством невозвратимой потери... Надежда Константиновна писала обо мне сидевшему в московской тюрьме Ленгнику: "Бродяга (партийная кличка Сильвина. — *И.Д.*) стал меньшинством"» (там же, л. 134, 136).

Вообще надо заметить, что уже в то время по отношению к инакомыслящим Владимир Ильич проявляет предельную строгость. Особенно недоброжелателен он к «измененникам» — к тем, кто еще недавно состоял в «послушниках», а затем вдруг предался ереси.

Редко когда в таких случаях он обходится увещеваниями, наказаниями, призывами, нотациями, как с Г. М. Кржижановским, который в том же 1904 году стал выражать сомнения по поводу политики Ленина. В письме к Глебу Максимилиановичу Владимир Ильич убеждает старого товарища: «Не верь вздорным басням о нашем стремлении к расколу, запасись некоторым терпением и ты увидишь скоро, что наша кампания прекрасная и что мы победим силой убеждения. Непременно отвечай мне. Лучше бы всего, если бы ты изловчился выбраться на недельку сюда (письмо послано из Женевы в Россию. — *И.Д.*), — не для дел, а исключительно для отдыха и для свидания со мной где-либо в горах» (В. И. Ленин, ПСС, т. 46, с. 360—361).

Чаше же интонация Ленина по отношению к «зашатавшимся» куда как резка. Своим посланцам в Россию — А. А. Богданову, Р. С. Землячке и М. М. Литвинову, — которые отправились на родину, чтобы раздобыть средства для задуманной им газеты (она должна была выходить — по замыслу Ленина — за границей, но троица, выслушав резоны русских нелегалов, стала клониться к их мнению — к тому, что газету целесообразнее выпускать в России), Владимир Ильич дает такую отповедь: «Если хотите работать вместе, то надо идти в ногу и сговариваться, действовать по сговору (а не вопреки сговора и не без сговора), а это прямо позор и безобразие: поехали за деньгами для органа, а занялись черт знает какими гонимыми делами» (там же, с. 415).

По мнению Сильвина, меньшевики, даже впадая в гнев, вели себя в подобных ситуациях более лояльно и слова подбирали более

цензурные, тем паче что в данном случае один из ленинских адресатов — молодая дама.

Однако тут скорее дело формы, нежели существа, — в ненависти по отношению к оппонентам обе группы эсдеков одинаково страстны, даже кровожадны. Авторы официальной биографии Ленина (Политиздат, 1987), чтобы убедить читателей в этих качествах меньшевиков, приводят строки из письма Потресова Аксельроду, относящегося к маю 1904 года, по поводу одной антибольшевистской публикации: «Итак, первая бомба отлита и — с божьей помощью — Ленин взлетит на воздух. Я придавал бы очень большое значение, чтобы был выработан общий план кампании против Ленина — взрывать его, так взрывать до конца, методически и планомерно».

Что и говорить, не самое гуманное заявление. Но будем справедливы. Когда интересы большевиков хоть как-то пытались ущемить, они тоже отвечали настоящими словесными бомбами. Одну из них подбросил (по наущению Ленина) Валентинов.

После того как книга «Шаг вперед, два шага назад» была подвергнута уничтожающей критике Плеханова, Владимир Ильич счел, что его личного полемического ответа на рецензию будет мало. Надо бы подложить под председателя Совета партии нечто более грозное. А тут очень кстати подвернулся случай. Волею судеб было так определено, что Николай Васильевич Вольский (Валентинов) родом был из города Моршанска, где полицейским исправником служил родной брат Георгия Валентиновича — Григорий Валентинович Плеханов. Конечно, такое родство вряд ли особенно радовало патриарха русских марксистов, и тот его не афишировал. А тут вдруг об этом факте Валентинов случайно сообщает Ленину. И в голове Владимира Ильича рождается «конструкция бомбы».

Сразу после выхода плехановской рецензии, как вспоминает Валентинов, сторонники Ленина, которых предварительно обошла Крупская, стали — по указанию Владимира Ильича — готовить свой ответ Плеханову. Первоначально текст этого ответа написал Мартын Лядов. На совещании, собравшемся в квартире Ульяновых, Ленин публично текст одобрил. Однако — по секрету — обратился к Валентинову со странной просьбой: уйти от него вместе со всеми, но потом отколоться от компании и вернуться. Николай искусно выполнил этот хитрый маневр. Когда они остались с Лениным с глазу на глаз, тот сказал «послушнику», что лядовский текст слаб, надо сочинять другой. И попросил зайти на следующее утро. А утром Ленин вручил Валентинову уже готовый ответ Плеханову, который написал сам и которым был очень доволен. Ибо считал, что уж этот-то ответ застрянет у Плеханова «как кость в горле». Все, что требовалось от Валентинова, — переписать текст своей рукой, подписать и передать в «Искру». Николай текст старательно переписал, но, поскольку он все же не был его автором, решил не ставить под статьей свою фамилию или известный в среде эсдеков псевдоним, а подписал первым пришедшим в голову именем — Н. Нилов.

Однако Плеханов, которому Лядов передал этот ответ, печатать его отказался, сославшись на то, что ему неизвестно, кто такой Ни-

лов, состоит ли он в РСДРП. В письме Лядову по этому поводу Плеханов заявил, что по этой причине даже не считает себя обязанным отвечать Нилову.

Из всего этого материала и была сотворена «бомба». На одном из состоявшихся вскорости собраний Валентинов съязвил: мол, товарищу Плеханову, конечно, трудно приходится — многие социал-демократы живут не под своими именами. Но, если ему вправду требуется установить настоящую фамилию Н. Нилова, он может обратиться за помощью к своему брату, полицейскому исправнику города Моршанска, ибо «Нилов» именно оттуда родом.

Дальнейшие события, как вспоминает Валентинов, развивались так: «Дня через два появилась карикатура, нарисованная Лепешинским. Немного позже вместе с другими карикатурами («как мыши — меньшевики — коты, т. е. Ленина, хоронили») она была литографирована. В большевистском стане она имела большой успех. Она изображала полицейский участок, где, окруженный своими помощниками-меньшевиками, заседает в военной форме с большими эполетами важный «исправник» Плеханов. Перед ним большевики, протягивая свои паспорта как свидетельство об их неанонимности, ходатайствуют, чтобы им дали разрешение обращаться с письмами, объяснениями, статьями в редакцию партийного органа, в «Искру»... Карикатура Лепешинского, начиная с 1924 года, была воспроизведена в книге воспоминаний «На повороте», в «Пролетарской революции», в «Ленин в зарисовках художников» и других изданиях. В то время уже трудно было представить, что меньшевики когда-либо и как-либо могли притеснять большевиков. «Меньшевистский полицейский участок» был плодом фантазии, тогда как большевистский полицейский участок стал во времена Ленина подлинной действительностью, а во времена Сталина... — главным учреждением, душой тоталитарного государства».

Однако вновь проявим заботу о том, чтобы более поздние события не оказывали влияния на восприятие событий того периода, о котором ведем речь. А для этого еще один пример, свидетельствующий о нравах противоположного Ленину кружка. Сильвин вспоминает: «Выходя однажды (дело происходит в конце 1904 г. — *И.Д.*) с заседания редакции («Искры». — *И.Д.*) вместе с Редкозубовым..., вдруг слышу от него: «Не правда ли, какая сволочь и те и другие! Не знаю, кто хуже: большевики или меньшевики?» Этот Редкозубов, член нижегородской организации, привез меньшевикам порядочную сумму денег, около 4000 рублей, о которой меньшевики помалкивали. В письме от 20 октября (1904 г. — *И.Д.*) Мартов писал о них Аксельроду: «Показывать ли эти деньги? Мы решили, что, пока дело соглашения так непрочное, показывать нет смысла, лучше давать комиссии деньги понемногу. С Николаем (Редкозубовым. — *И.Д.*) договорились, что о его капитале знаем только Блюм, я и Мартынов... Но, с другой стороны, имея в виду, что у нас есть «запас» в 6000 рублей, можем уже не бояться «выдать» комиссии «немецкие деньги»... Немецкие деньги, о которых говорится в этом письме, были после Международного социалистического конгресса в Амстердаме

(август 1904 г.) ассигнованы Германской социал-демократической партией в помощь РСДРП. Они были получены Аксельродом через Бебеля. Меньшевики припрятали и эти деньги» (ЦПА, ф. 563, оп. 1, д. 5, ч. 1, л. 140—141).

Но опять же, чтобы меньшевики не казались более повинны в нечистых «играх» с партийной кассой, чем их оппоненты, напомним, что последние также не раз были изобличены в подобных надувательствах другого кружка и прочих не очень-то светлых финансовых операциях. А в полицейской перлюстрации письма Кондрата Антонюка (он же Антоненко, он же Пузилов), по всей видимости, примыкавшего к меньшевистскому крылу (письмо было направлено из Вены в Каменец-Подольск в сентябре 1911 г.), есть такие строки о делах большевиков, ставших известными всей партии: «Тут есть все: и захват партийных денег, и расходование их на нужды, ничего общего с партией не имеющие, и экспроприация, и шантаж, и обвинения в провокации членов, не удобных Ленину. В общем, целая куча грязи» (ЦГАОР, ф. 102, ОО, 1910, д. 5, пр. 2, л. 17).

Словом, если вспомнить знаменитый вопрос Чацкого: «Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?», — то мы имеем все основания ответить на него: в предместьях Женевы, где жили в 1904 году предводители двух противоборствующих кружков русской социал-демократии, найти таковых «отцов» было нелегко.

Чтобы покончить с этой темой, чтобы стало вполне ясно, до какого смешения всех основных жизненных понятий довела враждующие группировки взаимная ненависть, приведу еще один эпизод из книги Валентинова. Вот как рассказывает он о своей последней встрече с Лениным — осенью 1904 года. Николай был специально вызван Владимиром Ильичем на уличное свидание, где ему было объявлено о том, что он не просто лишен «благоволения» (это и раньше было ясно), но, так сказать, «предается анафеме со всех большевистских амвонов».

«До сих пор Ленин толкал и поощрял своих товарищей к отъезду в Россию, — свидетельствует Валентинов. — Он знал, что многие из них оседают за границей и не спешат... уехать, далеко не всегда с охотой меняют жизнь в Женеве на угрожающую тюрьмой жизнь в подполье и с фальшивым паспортом в России. В отношении меня этот вопрос получил странный оборот. О моем желании уехать в Россию Ленин говорил как о чем-то меня порочащем. Он связывал его с двурушничеством, с каким-то обманом. Потеряв доверие ко мне, он, надо предполагать, думал, что с деньгами и паспортом, полученным от большевиков, я, приехав в Россию, переметну во вражеский стан, к меньшевикам...

Я напомнил Ленину, что член большевистской группы Икс (не хочу называть его имя), получив деньги и паспорт для отъезда в Россию, по пути к ней пропил деньги в лупанарии (публичном доме. — И.Д.) одного большого города, учинил там в пьяном виде скандал и, вместо России, снова очутился за границей...

— ...Я сейчас объясню вам, в чем вопрос, — (отвечает Вален-

тинову Ленин. — *И.Д.*). — Вы, вероятно, в лупанарий не пойдете и деньги партийные, наверное, не пропете... Но вы можете сделать гораздо худшее. Вы можете снюхаться с Мартыновым, человеком, всегда бывшим и остающимся закоренелым противником нашей ортодоксальной революционной старой «Искры». Вы можете одобрить реакционную буржуазную теорию какого-то Маха, врага материализма. Вы можете восхищаться якобы исканием истины Булгакова. А это все вместе образует лупанарий в несколько раз худший, чем тот бордель с голыми девками, в который пошел Икс. Этот лупанарий отравляет, затемняет сознание рабочего класса, и если с этой, единственно правильной для социал-демократа точки зрения подойти к вам и к поступку Икса, — выводы будут различные. На вас за подмену марксизма надо показывать пальцем, а на поступок Икса надо смотреть сквозь пальцы. Икс партийно стойкий, превосходный, выдержанный революционер. И до съезда, во время съезда и после съезда он засвидетельствовал себя твердым искровцем, а это зная, что бы ни болтали всякие Аксельроды. Если Икс пошел в лупанарий, значит, нужда была...

— Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек...

— ...Вот мы и приехали к сентиментам хлюпкого интеллигента, желающего утопить партийные и революционные вопросы в морализующей блевотине... Это старые песни тех, кто из борцов-революционеров желает сделать мокрых куриц...

О том, сколь успешно был развит со временем этот ленинский подход к «ближнему инакомыслию», пишет А. Авторханов, которому в тридцатые годы довелось учиться в Институте красной профессуры, кузнице большевистских идеологических кадров: «Особенно доставалось «еретикам» внутри партии и меньшевикам... Помню, как один из них (преподавателей ИКП. — *И.Д.*) в подкрепление своей критики приводил стихи, кажется, Демьяна Бедного из дореволюционной большевистской «Звезды» по вопросу: «кем ты можешь быть на худой конец, но кем нельзя быть при любых условиях». Слов не помню, но хорошо запомнил содержание: будь анархистом, будь морфинистом, будь негодяем, будь разбойником, будь прости-туткой, но не будь меньшевиком!»

Да уж, воистину далеко зашло размежевание двух кружков российских эмигрантов-эсдеков. Так далеко, что на самый задний план отодвинулись замечательные цели, столь четко и определенно сформулированные в принятой II съездом РСДРП программе. Борьба со всемирным злом подменяется чем-то совсем иным, не связанным с идеей создания рая на земле.

Как тут не согласиться с Михаилом Александровичем Сильвиным, который в своей «Телеге жизни» делает вывод: «Исследователь этого периода в жизни партии не может не отметить, что за всеми заявлениями..., которые делались той или другой фракцией..., всегда скрывалась одна лишь мысль: поставить противоположную партию (точнее, фракцию. — *И.Д.*) на колени» (ЦПА, ф. 563, оп. 1, д. 5, ч. 1, л. 113).

Представители двух кружков эсдеков-эмигрантов были столь увлечены этой деятельностью, что она заслонила от них и события, происходившие в отечестве. Тот же Сильвин свидетельствует: «9 января независимо от результатов этого великого события было несомненно моральным ударом для партии. Рабочие в своем неопределенном стихийно развившемся движении охотно читали наши книжки и газеты и распространяли наши прокламации, но вызвать массового политического движения среди них, которое шло бы под нашими знаменами, нам не удавалось...» (там же, л. 144).

Еще более определенно сходное суждение высказывает Луис Фишер, автор грандиозного (почти в тысячу страниц) исследования «Жизнь Ленина» (Лондон, 1970): «Ленин и большевики не были организаторами революции 1905 года. Она была скорее стихийной, чем организованной извне».

Именно скромная роль российских марксистов в рабочем движении России и привела к тому странному для нашего восприятия факту: берлинские коммерсанты в январе 1905 года вождями русских рабочих именовали не Ленина, Плеханова, Мартова или кого-либо другого из руководства РСДРП, но Горького и Гапона.

Аляповатые фетиши

Весьма эффективный способ «ставить на колени» инакомыслящих был разработан Владимиром Ильичем в первые годы нашего столетия. Суть его открытия — умелое применение «образа врага», в который с помощью довольно несложной словесной эквилибристики легко обрядить недавнего друга или единомышленника, проявившего хотя бы незначительное несогласие с «линией».

Со временем ленинский метод стал универсальным. В его разработку внесли заметный вклад продолжатели дела Владимира Ильича. Они научились в совершенстве владеть приемами обработки умов, с помощью которой удается убедить массы в существовании любых «дьяволов и ведьм». «Титулы» им даются различные: «меньшевики», «враги народа», «безродные космополиты», «врачи-отравители», «агенты империализма» и т. д. Название подбирается в зависимости от исторического момента, географии и прочих переменных параметров, а то и просто определяется богатством или бедностью воображения, характером или темпераментом очередного вождя. Но главное остается постоянным: неугодным придают такой богатый и многоцветный набор гнусных свойств и качеств, что наивные порождения фантазии Гофмана в сравнении с ними могут казаться попросту жалкой шпаной.

Ленинский прием борьбы с инакомыслием показал свою продуктивность не только в нашем отечестве, но и в ближних странах, а иногда и в дальних. Поэтому, отдавая дань его модификаторам, приспособившим общую идею к конкретике обстоятельств места и времени, негоже забывать о том, кто был первым.

И здесь особенно важно обратить внимание вот на что: прежде чем выйти на широкие просторы сперва страны, а потом мира, прежде чем вылиться в десятки кампаний, а потом и «дел», новый метод обработки массового сознания был опробован его творцом на малой человеческой общности — Российской социал-демократической рабочей партии. И лишь когда стало ясно, что и в сложнейших условиях частично эмигрантского, частично нелегального существования РСДРП метод создания «образа врага» если не ведет к полному успеху, то, по крайней мере, сравнительно легко обеспечивает его автору достижение ближних целей (скажем, спокойного и вроде бы даже очень плодотворного, нужного для партии пребывания в заграничном далеке), возникло желание применить «образ врага» в качестве универсального приема «постановки не колени» несогласных.

Естественно, после того как волею судеб партия (точнее, конечно, ее высший командный состав) оказалась полновластным хозяином всей страны, а потом и немалой части мира, подобного рода творчество стало требовать куда менее таланта и даже способностей, чем в эпоху подполья. Со временем для уничтожения неудобного безграничным властелинам не требовались ни изящные словесные выкрутасы, ни полемические фигуры. Достаточно стало громкого окрика, а то и просто удара кулаком по столу, а то и топанья сапогом об пол, а потом — хоть бы беззвучного жеста.

Но это все же разница непринципиальная: время меняло лишь формы разоблачений и формы расправ.

Главное же — создание «образа врага» как наиболее перспективный способ укрощения строптивых — оставалось неизменным на протяжении всех весьма несхожих десятилетий нашего бурного и полного событиями века.

Будем откровенны: это изобретение основателя большевизма не снято с вооружения многих партийных функционеров и сегодня. Оно и понятно: в попытке прямо (или через подставных лиц) обвинить во всем том хаосе, до которого дошла страна, кого угодно — кооператоров, цыган, «жидомасонов», сторонников «демократической платформы», словом, «вылепить» из каких-либо групп инакомыслящих «образ врага» — единственная надежда «партии победившего социализма» свалить с себя, хотя бы частично, груз ответственности за тот вселенский разор, до которого она довела страну.

С этим же связано и обратное — отчаянные попытки любыми путями сохранить в народе навязанный ему образ «всегда мудрого и всегда доброго дедушки Ленина», который с одинаковым рвением стараются удержать и авторы солидных научных монографий, и авторы журнала «Мурзилка».

Думается, что истинная победа нового мышления (если ему суждено победить) будет достигнута только тогда, когда даже самым далеким от политики нашим согражданам станет ясно, что и «образ врага», и «образ вождя» — это одинаково скверно состряпанные аляповатые фетиши, которые ничего общего не имеют ни с историей, ни с современностью, ни вообще с реальной человеческой жизнью.

Пропавший ролик

Александр Орлов в одной из глав своей книги «Тайная история сталинских преступлений» («Огонек», 1989, № 49) пишет: «Ягода... роковой августовской ночью 1936 года стоял с Ежовым в подвале здания НКВД, наблюдая, как происходит расстрел Зиновьева, Каменева и других осужденных на первом процессе». Отсюда можно предположить, что высокопоставленные инквизиторы 30-х годов не раз присутствовали при казнях невинно осужденных, на которых сами же фабриковали «дела», и, будучи изощренными палачами, возможно, испытывали при этом удовлетворение.

В связи с этим хочу рассказать следующее.

В начале 60-х годов киевская киностудия имени Довженко приняла к постановке мой сценарий «Лушка». Со мной заключили договор, выплатили аванс, но, прежде чем начались съемки, сценарий раз шесть переписывался и «дотягивался». Бесконечно собирались редколлегии и худсоветы, десятки людей давали «ценные указания» (каждый по своему разумению), что изменить, что убрать, что добавить-прибавить, и все «советы» были направлены на то, чтобы, не дай Бог, не проскочила какая «крамола», чтобы все было гладенько, розовенько, пристойненько. Словом, переделкам не было конца. Дошло до того, что, столкнувшись со мной в коридоре студии, главный редактор В. Земляк, хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул: «Вот сейчас я понял, чего не хватает сценарию! Почему у героини фамилия КУКУШКИНА? То-то и оно! Назовем ее СОЛОВЕЙКО, и все станет на свои места!» Короче, согласно всевозможным требованиям, советам, замечаниям сценарий был так переделан, что, когда в Комитете кинематографии принимали уже готовый фильм (с молодым Михаилом Державиным в главной роли) один из членов комитетской редколлегии, читавший сценарий в первом варианте, недоуменно сказал: «Что это за фильм? Это же совсем другой сценарий».

С самого начала к сценарию были прикреплены молодые режиссеры Игорь Самборский и Леонид Бескодарный (последний закончил ВГИК, мастерскую М. И. Ромма). Вот вдвоем мы и трудились над сценарием, стараясь выполнять все новые и новые «пожелания» редколлегии. Конечно, можно было все бросить и отказаться от сценария, но уж очень велико было желание «снять кино», и мы, по сути, стали послушными исполнителями чужой воли. И когда совсем запутались и выдохлись, Бескодарный предложил поехать в Москву и посоветоваться с его учителем Михаилом Ильчем Роммом. Он позвонил ему, и через несколько дней мы встретились в Роммом на его подмосковной даче.

Весь день мы провели в обществе Михаила Ильича, его восьмилетнего внука и очень милой тещи, матери его жены, известной киноактрисы Елены Александровны Кузьминой, которой, к сожалению, в то время на даче не было. И день тот стал незабываемым.

Первым делом Михаил Ильич прочел сценарий (не то четвертый, не то пятый вариант) и, прочтя, сразу сказал: «Ясно, что сценарий кроился и перекраивался. Но не вдавайтесь в панику, в конце концов можно снимать и такой». Мы рассказали, какие еще претензии нам предъявляют по части переделок. Михаил Ильич счел их абсурдными и, видимо, чтобы утешить нас, рассказал, как принимали на худсовете один из сценариев, который он собирался снимать. Во время обсуждения поднялась молоденькая редакторша, недавняя выпускница университета, начала пылко «разносить» сценарий и закончила свою речь словами: «Михаил Ильич, так, как написано, в жизни не бывает. Вы не знаете жизни». Мы спросили, что же он ей ответил. Ромм рассмеялся, развел руками. «Милая девочка, — сказал я. — В жизни такое бывает, что и во сне не приснится. Вы это поймете, когда доживете до моих лет».

Ну а вскоре мы забыли о своем многострадальном сценарии, ради которого приехали из Киева, — мы были покорены и очарованы тем радушием и гостеприимством, какие показывал нам Михаил Ильич. Он водил нас по дому, из комнаты в комнату, где почти вся мебель (деревянные кресла, кушетка, скамьи, стулья, кровать) и часть посуды из дерева были выточены, выпилены, выстроганы его руками. Потом мы собирали грибы в лесу, примыкавшем вплотную к даче, потом обедали на просторной веранде, которую хозяин тоже сработал сам. И в лесу, и за обедом Михаил Ильич о многом, очень о многом рассказывал, и мы слушали, что называется, раскрыв рты. Мало того, что он был потрясающим рассказчиком, так ведь и «сюжеты» были какие! О том, как Сталин сам принимал каждый новый фильм (правда, в те времена выходило десять — пятнадцать картин в год), как и кому раздавал свои Сталинские премии, какие, прямо-таки шоковые, ситуации при этом случались, как один известный режиссер, услышав первую неодобрительную фразу из уст Вождя в адрес его фильма, прилюдно упал в обморок, не успев дослушать следующую, уже похвальную фразу. Теперь я ужасно жалею, что не записала по свежим следам те едкие, смешные и грустные рассказы Ромма.

Но память и теперь еще многое хранит. Например, в тот день я впервые услышала незнакомое мне имя одного из его учеников: «Андрюша Тарковский». Он несколько раз вспоминал Андрюшу: «Недавно Андрюша принес мне сценарий...», «А вот мы с Андрюшей...» И, обращаясь к другому своему ученику, будущему режиссеру нашей «Лушки», спрашивал: «Леня, правда Андрюша Тарковский очень талантлив?» И еще одного своего ученика вспоминал он не раз в тот день: «Вася начал рассказы писать. У него скоро сборник выйдет». И прочил Васе, как и Андрюше, большое будущее. И радовался, что Вася Шукшин будет снимать в Москве картину «Живет такой парень».

Историю с этим сценарием наша киевская тройца хорошо знала. Василий Шукшин, в то время молодой актер, снимался на студии имени Довженко. На этой же студии он и хотел поставить фильм «Живет такой парень» с Куравлевым в главной роли. В сценарном отделе долго «изучали» сценарий, крутили носом, тянули с окончательным ответом: снимать — не снимать. Шукшин ждал, нервничал. Наконец от сценария отказались, признав его слабым, непригодным к постановке. Шукшин уехал в Москву, там его поддержал Михаил Ильич, помог получить постановку. Уже позже, когда лента вышла на экраны, имела большой успех и была удостоена премии на одном из кинофестивалей, заместитель В. Земляка по студии имени Довженко А. Сизоненко (первый противник принятия сценария) с трагическим пафосом (чему я свидетель) восклицал в своем кабинете: «Ах, дурни, дурни! Такого маху дали! Премия из рук выпустили!..»

В то лето, когда мы были у Ромма, он после шумного успеха, выпавшего на долю его фильма «Девять дней одного года», на который буквально ломился народ, уже начал работать над документальной лентой «Обыкновенный фашизм». Как сказал он сам, это была «каторжная работа». Нужно было просмотреть тысячи километров пленки, десятки сотен коробок с киноголиками, отснятыми нашими кинохроникерами до войны и во время войны, просмотреть трофейную немецкую кинодокументалистику. Надо было поднять из киноархивов горы коробок с пленкой, пропустить через экран и отобрать то, что затем станет самостоятельным, оригинальным фильмом.

И вот, рассказывая нам за обеденным столом об этой «каторжной работе», Михаил Ильич вдруг понизил голос и уже тихо, приглушенно поведал о том, ради чего, собственно, я и пишу все это.

В тот день он один просматривал материал в маленьком проекционном зале. В киобудке, за стеной, девушка-киномеханик заряжала в аппарат ролик за роликом, а он смотрел на экран, иногда делал для себя пометки (это, дескать, может пригодиться), иногда просил девушку-киномеханика прокрутить еще раз тот же ролик. Словом, шла привычная работа. Проплывали кадры — бомбежка... танковая атака... гитлеровский концлагерь... газовые камеры... беснующийся фюрер на трибуне... И так — ролик за роликом, час за часом.

И вдруг — на экране что-то непонятное. Какие-то затемненные кадры. Явно ночная съемка без подсветки. Но вот появились люди в нижнем белье. Их толкают дулами винтовок люди в темной форме. Толкают к высокой кирпичной стене. Теперь понятно: это тюремный двор. И понятно, что выводят на расстрел. Звука нет, выстрелов не слышно. Но люди у стены падают, падают... А следующий кадр — угол глухой стены. На стуле сидит кто-то в длинной шинели. Усатый. Воротник шинели поднят. Смотрит, как расстреливают. И все. Изображение пропало. Ролик кончился.

Михаил Ильич сказал, что при виде человека в длинной шинели у него побежали по спине мурашки — он узнал Сталина. Он нажал кнопку, попросил прокрутить еще раз ролик. И снова узнал Сталина. Увиденное так потрясло его, что оставаться в проекционной он уже

не мог. Он запер проекционную, поднялся в кинобудку, сказал девушке-киномеханику, что она свободна, может ехать домой, но коробки пусть остаются в кинобудке, завтра он еще раз просмотрит все эти ленты.

Вечером он позвонил старому другу, попросил утром приехать на киностудию, зайти в нему в такой-то проекционный зал. И позвонил еще одному другу. Тому и другому сказал, что завтра покажет им такое, отчего у них волосы встанут дыбом. И больше ничего не говорил. И больше никому не говорил, ни одной живой душе.

Утром следующего дня друзья пришли к нему в проекционный зал. Начали смотреть ролики. Просмотрели все. Но того, с расстрелом в тюремном дворе, не было. Он поднялся в кинобудку, сам пересмотрел все коробки. Одна коробка бесследно исчезла. Девушка-киномеханик тоже недоумевала: куда же могла подеваться коробка? Вчера, после его ухода, она сразу же заперла кинобудку, сдала, как положено, ключи, сегодня взяла ключи. Он ей верил.

Михаил Ильич объяснял исчезновение ролика просто: его домашний телефон прослушивался, звонки друзьям насторожили прослушивающих и дали повод тайно, ночью побывать в кинобудке. К тому же он сам облегчил им задачу: на студии не одна проекционная, а он по телефону назвал номер своей, то есть указал точный адрес.

Недавно я позвонила в Киев режиссеру Игорю Самборскому, спросила, помнит ли он рассказ Михаила Ильича о пропавшей из кинобудки коробке с пленкой. «Конечно, помню, — ответил он. — Такое не забывается».

Выходит, не только свирепые инквизиторы XX века — Ягода и Ежов — присутствовали при расстрелах своих жертв, но и «отец народов» имел пристрастие наблюдать за кровавой процедурой. Возможно, он испытывал удовольствие, взирая, как лишают жизни его бывших сподвижников по партии? Возможно, хотел воочию убедиться, что они мертвы, не встанут больше, не убегут, как убегали когда-то (и он тоже) из царской ссылки, не крикнут больше, как крикнул перед казнью Бухарин: «Зачем тебе понадобилась моя жизнь, Коба?»

И все же: куда делся тот ролик, такое убийственное, такое наглядное доказательство кровожадности «любимого вождя»? Сожгли ли пленку верные сталинские ищейки, смыли ее? А быть может, где-то и лежит та коробка, затерянная среди тысяч других в дебрях Госфильмофонда? Найти бы ее.

г. Щорс



Памяти Венедикта Ерофеева

Слова заупокойной службы утешительны: «...вся прегрешения вольныя и невольныя... раба Твоего... новопреставленного Венедикта...»

Не могу, нет мне утешения. Не учили, что ли, как следует учить, не умею утешиться. И нет таких науки, научения, опыта — утешающих. Наущение есть, слушаю, слушаюсь, следуя ему. Себя и других людей утешаю: Венедикт Васильевич Ерофеев, Веничка Ерофеев, прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему. Никогда не замарав неприкосновенно опрятных крыл души и совести, художественного и человеческого предназначения тщетой, суетой, вздором, он исполнил вполне, выполнил, отдал долг, всем нам на роду написанный. В этом смысле — судьба совершенная, счастливая. Этот смысл — главный, единственный, все справедливо, правильно, только почему так больно, тяжело? Я знаю, но болью и тяжестью делиться не стану. Отдам лишь легкость и радость: писатель, так живший и так писавший, всегда будет утешением для читателя, для нечитателя тоже. Нечитатель как прочтет? Вдруг ему полегчает, он не узнает, что это Венедикт Ерофеев взял себе печаль и муку, лишь это и взял, а все дарованное ему вернул нам не насильным, сильным уроком красоты, добра и любви, счастьем осознания каждого мгновения бытия. Все это не в среде, не среди писателей и читателей происходило.

Столь свободный человек — без малой помарки, — он нарек героя знаменитой повести своим именем, сделал его своим соименником, да, этого героя повести и времени, страдающего, ничего не имеющего, кроме чести и благородства. Вот так, современники и соотечественники.

Веничка, вечная память.

Белла Ахмадулина

Жить в России с умом и талантом...

(Беседа с В. Ерофеевым
7 марта 1989 г.)

В.Е. Родился в 1938 году, 26 октября. Родители были: очень грустная мамочка и очень веселый папочка. Он был начальник станции. Он всё ходил и б....вал, ходил и б....вал и, по-моему, кроме этого, ничем не занимался.

Корр. Л.П. А мамочка?

— А мамочка переживала.

— Туг запереживаешь.

— Еще бы, е...а мать. И вот папенька б....вал, б....вал, б....вал, б....вал и доб....вался до того, что на него сделали донос. И папеньку в 38-м году, когда я родился, только и видели. И действительно, папеньку мы увидели только в 54-м. Естественно, по 58-й статье. Там были суммарные доносы. Ему припомнили, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол.

— Честно говоря, трудно представить, что были люди, которые в открытую ругали советскую власть.

— А почему бы и нет — на этой маленькой станции, да еще в поддании. На станции Пояконда в районе Полярного круга.

— А куда же его сослали из-за Полярного круга?

— В том-то и дело — в Крым.

— Действительно в Крым?

— Шутка. Его сослали всего-навсего на 12 или там на 10 тысяч километров к востоку.

— Значит, ты рос безотцовщиной? И вы так с мамой и прожили на этой крохотной станции?

— Нет, меня перетащили в детский дом г. Кировска Мурманской области, и там я прозябал.

— А маменька-то куда делась?

— Маменька сбежала в Москву.

— И тебя бросила?

— Да.

— А с какого момента ты себя помнишь?

— В средней школе я уже писал. Сочинения.

— А самые первые в жизни ощущения?

— Самые первые воспоминания почему-то самые траурные. Покойная мать сказала всем старшим братьям и сестрам: «Подойдите к кровати и попрощайтесь с ним». Со мной, то есть.

— Почему?

— А всё врач. Он сказал: п..дец. Очень, очень умный врач. Это был 41-й год, значит, мне было два с половиной года. Очень умный врач.

— Врачи с тех пор не изменились...

— Врачи, я думаю, не поглупели.

— Значит, в школе ты учился в детском доме. И, конечно, самые светлые воспоминания?

— Ни одного светлого воспоминания. Сплошное мордобитие и культ физической силы. Ничего больше. А тем более — это гнуснейшие года. 46 — 47-й. В сорок седьмом, например, доходили слухи, что в Мурманске мясо продают на рынке, но в этом мясе находили человеческие ногти.

— Я помню, правда, это уже было в 50-х и в Москве, — так вот ходили слухи, что из детей варят мыло.

— Короче, все это невыносимая мукозвонщина, и я твоим слухам не удивлюсь ничуть.

— Веничка, а амнистию 1953 года ты никак не запомнил?

— Очень запомнил, потому что я в это время учился в 8-м классе, а весь Кольский полуостров был переполнен этими лагерями, одним словом, мы больше видели колючей проволоки, чем чего-нибудь другого. И до 10-го класса. И вдруг их отпустили. И тут скверный, дурашливый народ пустил слухи... и в самом деле, вот эти отпущенные на волю — как их тогда называли: бандиты, — они действительно вели себя не лучшим образом, но этот слух был настолько искусственно раздут, чудовищно раздут в 53-м году, я тогда переходил из 8-го класса в 9-й, вот это было время на Кольском полуострове совершенно чудовищное. Во всяком случае, мать нас загоняла в дом с наступлением сумерек, а ночи там осенью наступают сам понимаешь, когда.

— Значит, мамочка к тому времени вернулась?

— Вернулась. Я в детском доме учился до 8-го класса.

— И как ты ее принял?

— Ну что — мать. Иначе она не могла.

— Вень, а ты в детдоме был среди тех, кого били, или — кто бил?

— Я был нейтрален и тщательно наблюдателен.

— Насколько это было возможно — оставаться нейтральным?

— Можно было найти такую позицию, и вполне удавалось занять вот эту маленькую и очень удобную позицию наблюдателя. И я ее занял. Может быть, эта позиция и не вполне высока, но плевать на высоту.

— А сочинять ты начал в детдоме или уже в школе?

— Начал еще до поступления в школу.

— И что же ты в таком нежном возрасте сочинял?

— «Записки сумасшедшего».

— Кто же был сумасшедшим?

— Ну я, конечно.

— Что — в шесть лет?

— А сумасшедшим можно быть в любое время.

— *Каково же это — в шесть лет ощущать себя сумасшедшим?*

— Очень интересно.

— *То есть ты себя так ощущал или создал себе такую маску?*

— Разумеется, маску. К сожалению, эти глупые матушки — они ничего не сохраняют. Вот молодец моя сестра Тамара Васильевна, которая сохранила все мои письма с 55-го года и до 88-го. Вот это она молодчага. А первая теща вообще ставила на мои рукописи сковородки с разной х..тенью.

— *Веня, а ты не можешь сейчас вспомнить содержание этих записок?*

— Это знает только одна моя матушка. Убей меня бог, не помню. Первое осмысленное писание началось с 56-го года, тогда, когда я кончил 1-й курс МГУ. Вот тогда началось то, что я бы сейчас немножко уделал, немножко бы...

— *А оно сохранилось?*

— Сохранилось. Но я попросил человека, у которого это все лежит — это пять толстых тетрадей, — чтобы он до моей кончины не издавал.

— *Хорошо ли это, Ерофеев?*

— Хорошо. Потому что там так много того, что не годится, так много непечатного, если так, по-русски говорить...

— *Непечатного по языку или стилю?*

— Все эти Алешковские, Лимоновы — они плетутся в хвосте, да причем еще в двадцатилетнем хвосте...

— *А кто-нибудь, кроме того друга, это читал?*

— Нет, не читали. Однокашники, правда, читали...

— *То есть нельзя сказать, что это оказало какое-то влияние на Лимонова и Алешковского?*

— Упаси бог! Просто это хронологически опережает, но никакого влияния...

— *Вернемся назад. После 7-го класса ты уже учился в обычной школе?*

— С 8-го по 10-й я уже учился в общей школе.

— *Большая разница?*

— Большая. Но я ее одолел. Представь себе, у нас был 10 «А», и 10 «Б», и 10 «В», и 10 «Т». Я учился в 10-м «К» и единственный из всех десятых получил золотую медаль. У нас были дьявольски требовательные учителя. Я таких учителей не встречал более, а тем более на Кольском полуострове. Их, видно, силком туда загнали, а они говорили, что по зову сердца. Мы понимали, что такое зов сердца. Лучшие выпускники Ленинградского университета приехали нас учить на Кольский полуостров. Они, б..дюги, из нас вышибали всё что возможно. Такой требовательности я не видел ни в одной школе потом.

— *Может быть, это и дало тебе такую образованность?*

— Возможно, возможно. То есть ребята преподавали...

... *Ерофеев, ты широко образованный человек. Я сомневаюсь,*

чтобы у родителей была хорошая библиотека, сомневаюсь, что и в детдоме она была, и в школе...

— Я наблюдал за своими однокашниками — они просто не любят читать. Ну вот, скажем, есть люди, которые не любят выпивать. Поэтому выделиться там было нетрудно, потому что все были, как бы покороче сказать... ну, мудаки. Даже еще пониже, но — чтобы не оскорблять слуха... Таков был основной контингент. А когда я кончал 10-й класс, в это время на Ленинских горах воздвигали этот идиотский монумент на месте клятвы Герцена и Огарева. И я решил туда к нему припасть. Я Герцена до сих пор уважаю...

— За что же — не за то ли, что он был одним из первых диссидентов?

— Я, когда читаю переписку Маркса с Энгельсом, всякое дурное слово об Александре Герцене мне прямо душу щекочет. Я уважаю его не за диссидентство, а за то, что он блестящий мыслитель и блестящий человек, и его любят все, в этом сходятся все, начиная от Кайсарова до Аверинцева, от Эйхенвальда до Эйхенбаума. Вот Герцен в этом. Если в отношении Радищева есть маленький спор, то Александр Герцен не вызывает возражений. И правильно делает, что не вызывает.

— И у тебя, при твоём критическом уме?

— И у меня не вызывает. Я вот недавно прочел второй том, настолько молодчага парень, что разеваешь... всю разеваешь.

— А как же Петр Чаадаев?

— Что говорить о Петре Чаадаеве, когда его только-только издали. И этот мудак Урнов говорит, что есть произведения, которые набальзамированы долговечностью, неиздаваемостью. Он, мудака, хотя бы взял в образец хотя бы Радищева или Александра Грибоедова, Петра Чаадаева — неужели оттого они настолько живучи, что набальзамированы долгим запретительством? Как он говорил: что есть произведения, набальзамированные долгим запретительством, а иначе их бы не читали.

— Как ты относишься к поразительной в российской истории вещи, что такой верноподданный человек, как Александр Грибоедов, стал выдающимся сатириком? Написал такую блистательную сатиру на весь строй, как «Горе от ума»?

— Мало того — он еще очень дружил с самыми подоночными людьми в России, и это, как говорит советская власть, ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет, что он был большой друг Николая Греча и Фаддея Венедиктовича Булгарина.

— Что это — свойство таланта: диктовать пишущей руке, даже несмотря на убеждения?

— Черт его знает.

— А каково жить в России с умом и талантом?

— Можно. Можно тут жить. Если приложить к этому усилия. То есть поменьше ума выказывать, поменьше таланта — и тогда ты прекрасно выживешь. Я это за собой наблюдал, и не только за собой.

— Как же? Насколько я знаю, ты никогда на продажу не шел.

— Еще бы!

— *А искушения были у тебя?*

— Ни разу. Со мной этого не случилось. Я как раз из числа мудаков неискушаемых и неискушенных.

— *Хорошо. Не покупали. Но попугать-то пытались. Я это знаю определенно.*

— Ну, мало ли что. Это было в 50-х годах.

— *И в 70-х было. Помнишь, ты скрывался от призыва в армию...*

— Не в этом дело. Весна 62-го года. Приходит человек и говорит: «Вы Ерофеев?» — «Да». — «Вам нужны пистолеты?» — Представь, город Владимир. Я лежу в похмелюге. Мне надо похмелиться во что бы то ни стало, а тут этот мудак спрашивает: «Так вам нужны пистолеты?» Я говорю: «На кой ляд мне ваши пистолеты?! Дайте мне грамм пятьдесят похмелиться, а потом поговорим о пистолетах». А он не отстает: «Нет, вы скажите, вы Ерофеев или не Ерофеев?» — «Ерофеев, мать вашу..!» — «Ага. Значит, вам нужны пистолеты».

— *Веничка, а как ты оказался в МГУ?*

— Как только я кончил 10-й класс и как только мне вручили из... сколько там было 10-х классов — хрен его упомнит, и я из 10 «К» получил золотую медаль, вот и двинул, и впервые в жизни пересек Полярный круг, только уже в направлении с севера на юг.. И вот я на семнадцатом году жизни впервые увидел высокие деревья, коров увидел впервые...

— *Что же у вас, кроме зеков, там водилось?*

— Кроме зеков, ничего не водилось... А тут увидел я корову — и разомлел. Увидел высокую сосну и обомлел всем сердцем... И вот 55-й год. Там с медалью было только собеседование, и этот мудак так меня доставал, но достать не смог. Я ему ответил на все вопросы, даже которые он не задавал. И он показал мне на выход. Что ему еще оставалось? А этот выход был входом в университет. На филологический.

— *А как же ты потом во Владимире оказался?*

— Это уже нескромный вопрос.

— *Насколько нескромный?*

— Потому что между МГУ и институтом был кочегаром, приемщиком посуды, милиционером...

— *В таких случаях обычно пишут — стюардом и репортером.*

— До этого не дошло.

— *А писать осознанно начал в МГУ?*

— Писать начал в университете. И отличные вещи...

— *За что и был изгнан?*

— Нет, нет! Там не было никакой скверны, никакой политики... была какая-то иная струя, которая будоражила всех...

— *А кто читал это?*

— Читали мои знакомые, и этого довольно.

— *А из-за чего выгнали?*

— Я просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары. И скучно было, да и незачем. Я приподнимался утром

и думал: пойти на лекцию или семинар, и думал: а на ..я мне это надо, — и не вставал, и не выходил.

— *Скажи, а ты не вставал от самопогружения или после вчерашнего?*

— Какое там переживание вчерашнего! Просто я, видимо, не вставал, потому что слишком вставали все другие. И мне это дьявольски не нравилось. Ну, идите вы, п..дюки, думал я, а я останусь лежать, потому что у меня мыслей до х..ща.

— *А вот эта знаменитая песня «Проснись, вставай, кудрявая...» — она тебя не будоражила?*

— Будоражила. Потому что я очень люблю Дмитрия Шостаковича.

— *И все равно не вставал?*

— И все равно — брал себя в руки и не вставал.

— *За это и был вышиблен — сколько же можно не вставать?!*

— Вышиблен был в основном военной кафедрой. Я этому подонку майору, который, когда мы стояли более или менее навтыжку, ходил и распинался, что выправка в человеке — это самое главное, сказал: «Это фраза Германа Геринга: "Самое главное в человеке — это выправка". И между прочим, в 46-м году его повесили».

— *А насколько к моменту вышибания из университета была велика в народе твоя популярность?*

— К тому моменту она ограничивалась двумя-тремя комнатами, и, честно говоря, отнюдь не 19 государств.

— *Не искушали ли тебя? Не нашептывали ли, что коли пишешь, то надо печататься?*

— Нет. Среди них были такие, вроде чуть-чуть видящие, вроде Володи Муравьева, — опять же мой однокурсник.

— *То есть удивительно приличная у вас подобралась публика?*

— Да. Похоже немножко на царскосельскую, на кюхельбеккерскую такую, в несколько заниженном варианте. Я там представлял что-то вроде барона Дельвига.

— *То есть ты был такой же толстый?*

— Нет, наоборот. Я не был толст, а во всем остальном...

— *А скажи, вот мы сейчас вздыхаем, что не осталось таких понятий, как честь и совесть. В этом вашем братстве были такие понятия?*

— Вот в том-то и дело. Нас и презирали за то, что они в нас ужились... вся эта ненавистная братия — я забыл их фамилии, и, значит, их фамилии ни к чему. Никто и никогда не вспомнит их фамилии. Все остальные смотрели на нас, как на зачумленных детей.

— *То есть именно по присутствию в вас этих понятий?*

— Хотя бы поэтому.

— *Муравьев, кто еще? Может быть, кого-то еще вспомнишь?*

— Они немного переродились... ну, хотя бы Катаев... не из тех Катаевых.

— *Хорошо. Произошло изгнание из МГУ широко известного в узких кругах писателя. Как-то это на общественном мнении отразилось?*

— Ничуть. Я ушел тихонько, без всяких эффектов. Вот спустя пять лет, когда я уходил из Владимирского пединститута имени Лебедева-Полянского, каждый человек, который со мной встречался, задавал вопрос, где продается водяра — в этом магазине есть, а в этом нет, — этот человек подлежал немедленному исключению из института. Вот до какой степени я был опасен, а всего-навсего я говорил то, что это — пародия на «Москва — Петушки». Я, в сущности, говорил только о водяре. Решительно только о водяре...

Ну почему к книге придрались? Почему ее изымали при всяком обыске? Немыслимые люди эти большевики.

— *Веничка, а что делал ты после ухода из университета, когда тебя, естественно, выкинули из общежития?*

— Я с тех пор сменил примерно 12 профессий.

— *А где жил?*

— Господи! Жил в Тамбове, в Ельце, в Брянске — это можно называть все города. И Золотое кольцо, и не золотое.

— *То есть из Москвы ты уехал сразу?*

— Ну, естественно. Короче: я бы так и исцвел на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмури глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем, и попал в город Петушки. Это было в 59-м году. Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведений был Владимирский пединститут.

— *И поступил с ходу?*

— Еще бы! А золотая медаль?

— *А собеседование?*

— Там его практически не было. Какое там на х... собеседование.

— *Теперь расскажи: как же ты разложил Владимирский пединститут настолько, что даже имя твое стало запретным?*

— Да. Они сейчас извиняются. Мне смешно, когда владимирская газета «Комсомольская искра» печатает обо мне более или менее мутные биографические данные, хотя та же самая газета весной 1962 года требовала выдворения меня за пределы города Владимира и Владимирской области навсегда. Всякий человек, встречающийся с Венедиктом Ерофеевым, подлежит немедленному выдворению из Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского. И вообще с территории.

— *То есть ты попал в «персоны нон грата»?*

— Хорошо бы еще в «персоны нон грата». То есть человек, который кивнул бы мне при встрече, уже сам стал бы «персоной нон грата». А хрен ли обо мне говорить.

— *Чем же ты их все-таки так «достал»? Все же Владимир близко к столице. Что же они так напугались-то?*

— Вот этого я не знаю. Я немножко их понимаю. Все-таки, когда я стал жениться, приостановили лекции на всех факультетах Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского, и сбежалась вся сволота. Они все сбежались.

Притом они не знали, куда сбегаться, потому что не знали, на ком я женюсь. Но на всякий случай меня оккупировали и сказали мне: «Вы, Ерофеев, женитесь?» Я говорю: «Откуда вы взяли, что я женюсь?» — «Как? Мы уже все храмы... все действующие храмы города Владимира опоясали, а вы всё не женитесь». Я говорю: «Я не хочу жениться». — «Нет, на ком вы женитесь — на Ивашкиной или на Семаковой?» Я говорю: «Я еще подумаю». — «Ну, мать твою, он еще думает! Храмы опоясаны, а он еще, подлец, думает!» Это апрель 62-го.

— *Но ведь времена-то на дворе еще либеральные...*

— Какие либеральные! Вот опять я повторил этого мудака, не знаю, жив он или нет, лучше бы не жив. Вот этот декан филологического факультета, который отсидел... сколько он отсидел, я забыл, но во всяком случае не меньше 15 лет отсидел, сволота. И мне в лицо заявил: «Я очень сожалею, Ерофеев, что сейчас не прежние времена. Я бы с вами обратился гораздо более круто». Вот тут-то я понял, с кем имею дело, с каким вонючим дерьмом, и...

— *Веничка, и всё же — чем ты их так напугал?*

— Понятия не имею. Я лежал себе тихонько и попивал. Народ ко мне... в конце концов получилось так, что весь институт раскололся на две части. Вот так, если покороче, то есть, как говорили девушки, тогда одиозно очень поверхностные, называя вещи своими именами, — весь институт раскололся на попов и на... там было много вариаций, но в основном — на попов и комсомольцев. Этак я оказался во главе попов, а там глав-зам-трампампам оказался во главе комсомольцев моим противником, и у нас даже выходило... «Подходите, — говорил человек (не помню фамилию), — подходите, только без рукоприкладства». За мной стоит линия, за ним тоже линия. Мы садимся — это я предлагаю садиться за стол переговоров, чтобы избежать рукоприкладства, и всё такое. Они говорят: давай, садимся. И вот мы садились и пили — сначала по сто грамм, потом по пятьдесят, потом по сто пятьдесят, потом... и понемногу, ну, набирали...

— *А что же вы пили, Веничка?*

— Не помню. Какую-то «бормотуху». Ну, во всяком случае, вырабатывали какую-то общую терминологию...

— *Попы с комсомольцами?*

— Попы с комсомольцами садились тихонько... Ну, одним словом, они занимались делом. А я сидел и чувствовал себя человеком, который предотвратил кровопролитие.

— *Признаться, трудно представить тебя в роли предводителя религиозной общины. Поэтому мне представляется, что название «попы» следует понимать достаточно условно.*

— Конечно, конечно.

— *Писал ли ты, Веничка, во Владимире?*

— Еще как писал. Даже наоборот, когда я поступил во Владимирский пединститут, мне сказали: «Венедикт Васильевич, если вам не на что будет жить, то у нас есть «Ученый вестник» Владимирского пединститута, и мы вам охотно предоставим страницы». Но

как только я охотно сунул им в эти страницы всего две статьи о Генрике Ибсене, они заявили, что они методологически никуда не годятся.

— *А что значит — методологически?*

— Я и не стал спрашивать. Еще бы я стал спрашивать, е...а мать! Они сказали: это, опять же, никуда не годится. Неужели человек не понимает, чего он городит?

— *А прозу писал?*

— Тогда — нет. Писал тогда исключительно о скандинавах, потому что я был тогда ослеплен вот этой скандинавской моей литературой. И только о ней писал.

— *Отчего же ты был ими так очарован?*

— Потому что они — мои земляки.

— *А кто конкретно из скандинавов?*

— Ну как это — кто конкретно? Опять же Генрик Ибсен, Кнут Гамсун в особенности. Да я, в сущности, и музыку люблю только Грига и Яна Сибелиуса. Тут уже с этим ничего не поделаешь.

— *Когда же ты впервые стал писать беллетристику — после тех тетрадей? Был большой перерыв?*

— Нет, не большой перерыв, просто... зимой семидесятого, когда мы мерзли в вагончике, у меня явилась мысль о поездке в Петушки, потому что ездить туда было запрещено начальством, а мне страсть как хотелось уехать. Вот я... «Москва — Петушки» так и начал примерно в последних числах января, а кончил примерно второго-третьего марта.

— *А между тетрадями и «Петушками» было еще что-нибудь?*

— Да, ну конечно, было. Вот это... черт, ее надо восстановить и возделать...

— *Рукопись хоть существует?*

— Вот часть рукописи доставили люди из Гусь-Хрустального.

— *Это тоже такая же грустная?..*

— Отнюдь. Мне она не нравится, и правильно сказала одна очень такая литературная женщина, что это подделка под Пильняка. Вот ведь что. А как это — подделка под Пильняка, которого я до сих пор не читал ни строчки?

— *По-моему, Ерофеев не может ни под кого подделаться, так же как никто не может подделаться под Ерофеева. Как хоть называется?*

— «Благая весть».

— *Веничка, литературные дамы читают, а широкие круги миролюбивой общественности до сих пор — нет. Хорошо ли это?*

— Ну, ее надо получше обделать, потому что там много... как бы это... кто умеет выражаться помягче...

— *А в каком году ты ее написал?*

— В 63-м.

— *А между 63-м и 70-м было что-нибудь?*

— Вот тут был провал. Я слишком жил: кино, бабье и эт цетера.

— *Хорошо. «Петушки» написаны. Как же они стали известны народу? Откуда народ вокруг тебя появился?*

— Ну вот, допустим, Слава Лён. Я, допустим, сижу во Владимире в окружении своих ребятшек и бабенок, и вдруг мне докладывает Вадя Тихонов: «Я познакомился в Москве с одним таким паразитом, с одной такой сволотой». Я говорю: «С каким паразитом, с какой сволотой?» Он говорит: «Этот паразит, эта сволота сказала мне, — то есть Ваде Тихонову, — что даст... уплатит 73 рубля (почему 73 — непонятно) за знакомство с тобою»... Ей-богу.

— *То есть Лён прочел «Петушки».*

— Ну да. Я удивился, а Лёну Губанов сказал: «Вот Вадя Тихонов хорошо с ним знаком...» — вот тогда он и залепился со своими 73 рублями.

— *А ты еще не был тогда знаком со смогистами?*

— Абсолютно!

— *То есть ты как бы в безвоздушном пространстве существовал?*

— Почему в безвоздушном?

— *Ну, если брать эту московскую культурную среду, — ты о ней ничего не знал?*

— Об этом я понятия не имел. И тут мне Владислав Лён предложил 73 рубля за одно только знакомство.

— *И благодаря ему ты стал известен в мире?*

— Не благодаря ему. Благодаря совсем другим людям, которые сейчас уехали. Эти люди, которым я обязан, живут теперь в Тель-Авиве... и так далее.

— *Лён утверждает, что это он передал «Петушки» на Запад и благодаря ему они были опубликованы.*

— Как всегда, врет.

— *Раз они за кордоном, и им ничего не грозит, то не грех их и упомянуть.*

— Отчего бы, действительно. Во-первых, это Виталий Стесин, потом Михаил... поэт, который при всех регалиях приходил ко мне в больницу... Михаил...

— *Веня, а почему на твоей афише (вечера в ДК МГУ) написано: 20 лет творческой деятельности? Ведь гораздо больше.*

— Плевать! Пусть что пишут, то и пишут. Пусть напишут: «Десятилетие графа Льва Толстого...» Поэт... женщина очень хорошая... опять забыл фамилию... надо бы спросить у девки. Михаил Генделев и Майя Каганская.

— *И впервые было опубликовано в израильском издательстве...*

— «Ами».

— *А ты знал, что готовится эта публикация?*

— Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: «А ты знаешь, Ерофеев, что тебя издали в Израиле?» Я решил, что это очередная его шуточка, и ничего в ответ не сказал. А потом действительно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

— *В 72-м издали?*

— В 73-м.

— *А как складывались материальные отношения с издателями за границей — ведь потом издавали еще во многих странах?*

— Это действительно очень больной вопрос. Например, Англия и Соединенные Штаты... Два издательства в Соединенных Штатах не платят ни копейки по той причине, что они купили — Соединенные Штаты, — они купили у Британии.., а Британия купила у Парижа... То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

— *Замечательно! А вот есть у нас такая организация, называется ВААП.*

— Она есть, но ее вот эти деяния распространяются только на страны Варшавского пакта. А вот на страны НАТО не имеют даже малейшего влияния.

— *Ерофеев, погоди. Эта организация дерет со своих клиентов жуткие проценты и могла бы нанять самых лучших адвокатов. Кто-нибудь из них к тебе обратился: «Давай, Ерофеев, мы будем защищать твои права!»?*

— Ни разу не было ко мне такого обращения. Было только в случае с Венгрией и с Болгарией.

— *Здесь они сами обратились?*

— Это уже по пьесе.

— *Ерофеев, а как ты сам отнесся к своей всемирной известности?*

— Какой провокационный вопрос.

— *Нормальный вопрос, Веня, нормальный. Ощущаешь ли ты себя великим писателем?*

— Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, — это более или менее мудозвонство.

— *Ерофеев, а если бы тебе предложили определить свое место в пантеоне великих, куда бы ты себя поставил — между Гомером и Эпикритом или...*

— Между Козьмой Прутковым и Вольтером.

— *А кто все-таки впереди?*

— Козьма Прутков.

— *Хорошо. Вернемся в 69-й год на кабельные работы. Ерофеев пишет «Петушки». Делился ли ты с коллективом? Давал ли читать бессмертные страницы товарищам по профессии, и одобрили ли бы они твои писания?*

— Наоборот. И хорошо, что я не давал им этих записок. Они говорили: «Ты что, Ерофеев, хочешь в институт поступать? Все равно ни х.., ни за что не поступишь! Сейчас туда только по блату берут. Только по блату. Только по блату». А я свесился с верхней полки и говорю: «Ну неужели только по блату?» А они мне говорят: «То-о-олько по блату!» Вот как обстояло дело.

— *А насколько биографичны бессмертные твои записки?*

— Почти...

— *Скажи, ты действительно никак не мог попасть на Красную площадь, а всегда попадал на площадь Курского вокзала?*

— Да-да-да! И между прочим, вот меня обычно спрашивают об этих сценах в «Петушках», вот хотя бы с этим дурачком контроле-

ром. А ведь действительно, я ведь стоял зимой, зимой тряся весь от холода, стоял, и у меня была в нагрудном кармане эта самая бутылка... бутылка... ну известно чего. Бормотуха, 0,8. И когда вошел контролер, один контролер сразу последовал туда, а этот остановился и сказал: «Ва-аш билетик! Ва-аш билетик!» Я говорю: «Нет у меня билетика. Нет у меня билетика». И он тогда внимательно присмотрелся, а я тогда неосторожно выставил эту свою 0,8... «А это что у тебя?» Я говорю: «Да это так просто» — «Это как то есть так? А ну-ка вынь!» Я вынул, и он тут же немедленно сделал: бум-бум-бум-бум-бум-бум. И мне протянул: «Езжай дальше, молодой человек». Как они не понимают, из чего делаются литературные произведения? То есть вот из такого... такой малости.

— *А правда ли, что ты, будучи бригадиром на кабельных работах, ввел пресловутые графики?*

— Еще как! Это Вадим Тихонов свидетель.

— *Ерофеев, я знаю, что одно из своих бессмертных творений ты потерял то ли в электричке, то ли еще где. Что это было за произведение?*

— Ну, я вообще не люблю называть жанры. Ну просто — «Шостакович».

— *Не биографическое же эссе?*

— Еще бы! И то — Шостакович там присутствовал только самым косвенным образом. Там как только герои начали вести себя, ну... как сказать... Вот, у меня этот прием уже украден — как только герои начали вести себя не так, как должно, то тут начинаются сведения о Дмитрие Дмитриевиче Шостаковиче. Когда родился, кандидат того-то, член того-то и член еще такой-то Академии наук, почетный член, почетный командор легиона. И когда у героев кончается этот процесс, то тут кончается Шостакович, и продолжается тихая и сентиментальная более или менее беседа. Но вот опять у них вспыхивает то, что вспыхивает, и снова продолжается: почетный член... итальянской академии Санта-Чечилия и то, то, то, то... И пока у них все это не кончается, продолжает ломиться это. Так что Шостакович не имеет к этому ни малейшего отношения.

— *А почему Шостакович, а не Хренников?*

— Тихон Хренников очень хороший человек.

— *Чем же?*

— Мне у него нравятся ранние песни.

— *Одна или все?*

— Все.

— *Тогда действительно хороший человек.*

— Очень славный малый.

— *Старый хрен Тихонов и молодой Тихон Хренников — очень старая шутка.*

— Причем, заметь, мною же изобретенная в 56-м году.

— *А что же ты пил, Веничка, что дошел до такого, что потерял...*

— ...твою мать — он задает мне вопросы какие! Он ведет допрос, как самый неумелый из следователей.

— Как это? Я веду допрос по всем правилам. Как завещали отцы и деды.

— Х...о ты ведешь допрос.

— Пил ли ты в этот день коньяк?

— Еще как!

— А «зубровку»?

— Пил и «зубровку».

— «Зверобой», и «охотничью», и «полынную», и «померанцевую», и «кориандровую»... весь ностальгический набор.

— Очень жалко «Дмитрия Шостаковича», потому что, когда я писал, действительно спрашивал сосед: «Ерофеев, ты чего, опять какую-то б.... приводил?» Я говорю: «Какую же это я приводил б....?» — «Ну как же, ты всю ночь смеялся!» Я говорю: «Почему же, ну... я просто так...» — «Я человек бывалый. Я человек бывалый. Так я тебе и поверил, так я тебе и поверил, что ты просто так. Опять какую-нибудь б.... проволок».

— А где ты жил тогда?

— На станции Электроугли.

— Снимал угол?

— Какой там — снимал угол, когда крысы бегали из угла в угол.

— Значит, «Дмитрий Шостакович» — 72-й, а «Розанов»?

— «Розанов» попозже на год. 73-й. И то меня пригласил человек, который возглавлял журнал «Евреи и мы».

— «Евреи в СССР»?

— Нет...

— «Страна и мир» есть...

— «Евреи в СССР», по-моему. Он еще приехал ко мне, я снимал маленький домик в Болшеве, он ко мне приехал и демонстрировал мне вот эту вот желтую звезду... и все такое. И с ним была целая публика с этими желтыми звездами, а в ответ у меня в этот же день были люди, слишком православно настроенные, там... ну, известная заваруха. Рождественская заваруха 73-го года.

— То есть уже тогда общество «Память» существовало?

— Оно тогда у меня на глазах возникало.

— И они у тебя в доме встретились?

— В том-то и дело. Все встретились у меня в доме: и воинствующие иудаисты... забыл я фамилии... Воронель, который был главным редактором «Евреи в России», и вот эти вот, которые их ненавидели...

— Не произошло ли у них конфликта?

— Маленький был, но я исполнял роль вот этого, маленького...

— Арбитра? Ты им говорил: «Брек!»?

— Я им этого не говорил, но они поняли.

— Ерофеев, а родная советская власть — насколько она тебя полюбила, когда слава твоя стала всемирной?

— Она решительно не обращала на меня никакого внимания. Я люблю мою власть.

— За что же особенно ты ее любишь?

— За всё.

— За то, что она тебя не трогала и не сажала в тюрьму?

— За это в особенности люблю. Я мою власть готов любить за всё.

— А что больше нравится тебе в твоей власти: ее слова, ее уста, ее поступь и поступки?

— Я всё в ней люблю. Это вам вольно рассуждать о моей власти, е...а мать. Это вам вольно валять дурака, а я дурака не валяю, я люблю очень свою власть, и никто так не любит свою власть, ни один гаденыш не любит так мою власть.

— Отчего же у вас такая невзаимная любовь?

— По-моему, взаимная, сколько я мог заметить. Я надеюсь, что взаимная, иначе зачем мне жить?!

— Хорошо. Между «Розановым» и «Вальпургиевой ночью» — 13 лет. Что-то было в этом промежутке?

— Какое кому собачье дело?! Кому какое идиотское собачье дело, было чего-нибудь или не было? Это — вторгаться в интимные отношения.

— Но от тебя, как от Шекспира, ждут новых эпохальных произведений...

— Это я понимаю. Я если чего-нибудь пишу, то эпохальное, как говорит мэтр Тихонов.

— Кстати, ты замечательно создал образ Тихонова. Твой друг Вадя так прочно вошел в наш фольклор, а, кстати, сам Вадя подозревает, что он настолько остроумен и гениален?

— Он не подозревает. За него приходится придумывать даже вот эти шутки, вроде: «Двадцать шесть бакинских комиссаров — ты бы мог слопать?»

— Так это ты Вадю изобразил в «Вальпургиевой ночи»?

— Вадю стоит везде изображать. Во Владимире, когда мне сказали: «Ерофеев, больше вы не жилец в общежитии». И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: «Ерофейчик. Ты Ерофейчик?» Я говорю: «Как то есть Ерофейчик?» — «Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?» Я говорю: «Ну, допустим, Ерофейчик». — «Значит, ты Ерофейчик?» Я говорю: «Ну, в конце концов, Ерофейчик». — «Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище».

— Ерофеев, ты заявил «Вальпургиеву ночь» как первую часть трилогии и у меня на дне рождения сказал, что заканчиваешь вторую часть.

— Мало ли чего по пьянке не брякнешь.

— А может, все-таки напишешь?

— Ну, не знаю. Это надо мне за город поехать и печку затопить.

— Ну давай я тебе дачу найду.

— Я сам найду и сам...

— Ладно, Веничка. Последний вопрос. Кто из советских литераторов или политических деятелей оказал на тебя наибольшее влияние?

— Если говорить о влиянии, то культуртрегерское — Аверинцев. Аверинцев.

— А Лотман?

— Лотман пониже, как говорят дирижеры. И Муравьев. Я знаю, о чем говорю, е...а мать!

— *А из политических деятелей?*

— Аракчеев и Столыпин. Если хорошо присмотреться, не такие уж они разные.

— *А кого из членов большевистского правительства ты бы не удавил?*

— Пожалуй, Андропова.

— *Душителя диссидентов?*

— Нет, он все-таки был приличный человек.

— *Не кажется ли тебе странным, что за 70 лет единственный приличный человек — и тот начальник охранного отделения?*

— Ничего странного. Наоборот. Хороший человек. Я ему даже поверил. Потом он снизил цены на водяру — четыре семьдесят. Подумаешь там, танки в Афганистане...

— *Ну, танки Брежнев ввел.*

— Плевать, кто вводил и куда. Этого уже народ не помнит. Но вот что водка стала дешевле!

Беседу записал
Леонид Прудовский

Крохотное послесловие

Те, кто хорошо знал Веничку, поймут, для тех же, кто не имел счастья быть с ним знакомым, поясню, что интервью это никак не может быть рассматриваемо в качестве документа для биографии. По правде говоря, это вообще не интервью. Просто я сказал: «Ерофеев, давай высечем твой бесмертный облик для потомства». «Секи», — разрешил Ерофеев.

И я достал магнитофон.

Здесь, как и в других интервью, Веничка часто прибегает к мистификации, аберрации и популяризации Вадима Тихонова.

Исследователи, давно и плодотворно занимающиеся творчеством Ерофеева, до сих пор не пришли к согласию по вопросу чрезвычайной важности: а был ли «Шостакович»?

Смещены и некоторые даты, а также изменены события. Так что, прав же, для тех, кого Ерофеев вольно или невольно задел, повода для обиды нет.

Что же касается меня, то я лишь задавал вопросы, а потом добросовестно перенес все сказанное с пленки на бумагу, убрав повторы, но насколько не вмешиваясь в стилистику.

Л. Прудовский

Дмитрий КАФАНОВ

Тихий дом на окраине

Глава 1

— Ген, а Ген! Вставай, мутить пора. Просыпайся, черт обломанный. Да проснись ты!

Генка сел на кровати, ошалело повертел головой, но очухался ото сна быстро, спросил:

— Где собрались? В туалете?

— Нет, у главврача. Давай быстрее, тебя ждем.

Одеваясь, Генка заметил про себя, глянув на ноги: «Смотри-ка, поправился на казенном коште. Удивительное дело! Больничную еду и едой, пожалуй, не назовешь. Соляночку особенно, ее ведь как готовят? Сначала капусту-то сутки в воде отмачивают и уж только потом в котел бросают. А после солянку эту на свалке голуби и те не клюют... Свалка, что около пищеблока, у птиц да у кошек вроде закусочной. И зимой и летом крутятся вокруг нее. А люди с непривычки есть не хотят. Нет, хотеть они, может, и хотят, а вот не могут — это точно. Передачами, или дачами, по-тутошнему, живут. Генка — дело другое. Он все смолотит. Привычка. Вот и сказывается регулярное и, что самое главное, бесплатное питание. Поправился.

Палату осмотрел. В окно глянул на соседний корпус — архитектура! Тот, кто строил в прошлом веке, видать, без юмора парень был. Его б сюда на месячишко, шутника гребанного.

Спал народ. Сапогов только сидел на койке и, раскачиваясь, бубнил:

— Человек человеку — бог. Человек человеку — Сапогов. Человек человеку...

Нечего сказать, веселая песенка. Прямо поэма в прозе, ну Гоголь! Ведь всю ночь так! И били его, и просили. Ничего не помогает. С таким артистом цирка не надо, через неделю сам вприпрыжку побежишь.

— Сапог, хватай сигарету и хорош буровить. Мужики спят.

Взял, что рублем одарил. Спасибо не сказал. Чума.

В отделении тихо было. Любой звук как в колодце. Невыспавшаяся и растрепанная смена считала больных. Генка, мимо проходя, обнял Тамарку, прижал к себе. Хохотнул.

— На кого оставляешь нас, Тамарочка?

Та лениво отстранила его.

— Куда пошел? Счет собьешь.

— Да вы взбесились совсем со своими проверками. Надо будет кому уйти, так уйдет. Считай — не считай. Вот так-то, таможня.

И к туалету пошел, потягиваясь и не слушая вялой матерщины медсестры. Ему можно с персоналом побазлать. Ничего больше в истории болезни накатать нельзя. Полный комплект. СУ — спецучет. Только уколами доймешь. Но ведь и власть себе не враг. Начнешь такого колоть, а он возьмет и смоемся. И запросто может. Им же по шее влепят. Генке в Москве затеряться — раз плюнуть. Но и у врачей вожжи на него есть. Набегался, знает. Обратно сюда с милицией приедешь, а тут курсовой сульфазина. Ходить не можешь, лежать тоже. От боли хоть вешайся, температура за сорок. Причем сульфазин — это цветочки. Галоперидол — ягодки. Впорят пару кубиков утром, пару вечером, и бегай с перекошенной мордой. Или шею сведет. Башка на плечо, и весь вальс в парке городском.

Сейчас Генке бегать нельзя. Власти на хвосте, и без справки ему дома делать нечего.

В туалете поздоровался с мужиками. Будивший его Серега больтал закрытую банку с чаем.

— Наконец-то! Явился король московских кичманов, владелец заводов, домов, пароходов.

— Ладно. Жаждались. Разливал бы.

Серега несколько раз перелил из банки в кружку и обратно чифир. Подал Валентину, тот, кряхтя, два раза глотнул — так на зоне пьют. Генка по три пьет — по-дурдомовски. Санек, тот тоже два. Ну, а Рыжему волю дать — все выдует. Топор, вытирая рот ладонью, с усмешкой сказал:

— Богатый Геннадий. Индией угощает.

— Да я не ты. И угостить могу.

— Все могут.

— Только не Владимир Топорков. От тебя в голодный год чужого говна не допросишься.

Валентин стоит, слушает. Не вмешивается. Они вместе с Генкой второй раз лежат. Тогда Генка совсем зеленый еще был, в рот ему смотрел. Но обкатался, обтерся. Не шестерит. То ли поумнел, то ли заматерел от жизни хорошей. Как привели Генку в отделение, присматриваться начал к нему. Да только Генка себя быстро показал. Отмолотил двух пацанов, что Валентину шестерили. А ведь знал,

кого бьет. Не мог не знать. Сейчас вот солдатиков-экспертизников собрал вокруг себя. Солдатиков всю жизнь в больницах гоняли все, кому не лень. Теперь попробуй тронь их. Сожрут, волки позорные, как пить дать, сожрут.

Генка с Топором ругаться кончили. Правда, слова словами, а про чай не забывают. Между словами отхлебывать успевали. И мужики следили за их перепалкой вяло, без того интереса, с которым слушают споры, перерастающие в драку. В дурдоме словами ничего не докажешь. Вернее, пустыми словами. А если ругаются долго — значит, по-мирному разойдутся. Так и сейчас вышло. Генка напоследок матюкнулся зло, окуроч в унитаз выщелкнул и попер к выходу. Ему еще свою команду поить, забот больше, чем хлеба в стране. Хорошо, Колька вовремя подскочил. Генка его за ребятами отправил. В темпе все. Подъем вот-вот. Сам — на кухню, хоть ругался только что, а банку прихватил, не забыл. В раздатку пальцем тихонько стукнул. Ждет. Другие кулаком молотят. Не так надо, тихонечко. На кухне услышат, остальным об том знать не следует. Кормушка распахнулась, и рука высунулась оттуда. Он банку сунул, просит:

— Нинок, пальца два не доливай, радость моя.

— Рехнулись с чаем со своим! На, бери.

Генка крышку навернул, банку в карман и в свою палату. Один раз его заведующая поймала так с банкой в кармане и специально, как будто знать ничего не знает, потрепалась минут пять. Думал тогда, навеки жареным будет на один бок... В палате уже сидят, дожидаются.

Пакет с чаем, конечно же, не достали. Ох, лопухи.

— Чего уставились, кипятик стынет! Я-то уж попил, вы ни с чем останетесь.

Сам пакет развязал, отсыпал дозу. Теперь пусть настоится минут десять. Нет, одного Генка понять не может. Ладно, он в чифире толк понимает. Эти-то зачем хлещут! Им от него толку чуть, разве обблются вот. А не признаются, пьют с серьезными мордами и втихаря потом два пальца в рот. Да, невесело Генке сейчас на них смотреть. Таким же был четыре года назад. Или пять лет прошло? Куда ребятки зубы отращивают? На хрена такие клыки в жизни? Не знают еще, что злым хуже приходится. Ой, хуже. Всегда один. Люди вокруг, а все равно один.

Ржет, заливается толпа в туалете. До визга смех, а у кого и до слез. Толик бежит кругами, лупит, что есть силы по горящему карману и выкрикивает-выплевывает:

— Чума, чума-тварь! Чума...

Ни вытащить бычок, ни залить его водой не может. Мудреное это для него дело. Он и есть не умеет. Персонал с ложки кормит. А тут нужно проявлять какую-никакую смекалку. И именно поэтому всем так смешно.

Рыжий смеется громче всех. Как же, ведь именно ему пришла в голову эта замечательная мысль. И он старается объяснить всем окружающим всю ее глубину:

— Нет, мужики, вы послушайте только. Стою, смотрю на него.

А потом заметил. Он чинарик забыкует и — в карман. Дай, думаю, ему горящий туда брошу. Бросил, а он ни звука. А как разгорелось — забегал. Умора. Интересно, есть у него мозги?

Мужики заржали.

— А ты проверь! Давай, расковыряй ему жбан, посмотрим!

Рыжий в предчувствии нового развлечения весь подобрался и к Толику. Набрал воды в рот и залил карман. Толик, видя, что не горит, успокоился. А Рыжий его к стене поставил. Да так, чтобы голова до кафельной плитки сантиметра два не доходила.

— Смотрите, мужики! Сейчас проверим, что крепче, плитка или Толиков черепок. Я за черепок мажу на пачку «Астры». Кто против?

Ребята обступили тесным кольцом Рыжего. Кто-то уже смея ради замазал против. Рыжий отступил на шаг и всем весом бросил кулак. Толик глухо стукнулся о стену. Кафель уцелел. Но Толик вырвался, несколько раз тыкнулся по сторонам и упал около умывальника. Зрители хотели было разбежаться. Да Генка голос подал:

— Ну что, мужики, вы поржали. Теперь пускай Толик повеселится. Иди сюда, Рыжий.

— Ты чего, Ген?

— Иди, иди. Вот тебе пачка «Явы».

И впрямь пачку тянет. Рыжий неуверенно взял. И в ту же секунду удар. Из носа сильно пошла кровь. Генка же рывком поставил его на ноги и толкнул к стене. Никто даже не успел проследить за ударом — настолько он был быстр. Так бить научился он давно. Не кулаком, а локтем. Плитка брызнула белым взрывом. А Рыжего рвало сквозь выбитые зубы. Генка повернулся к сникшим ребятам.

— Ну, а вы что скажете? Почему бы моей башкой плитку не побить? Давайте, держайте. Ясно, нет желающих? Ладушки. Теперь помогите мне этого лопуха до шконки дотянуть. Сам он, пожалуй, не дойдет.

Глава 2

Молоденькая дежурная медсестра Верочка, только недавно устроившаяся работать, приподнявшись на носки, достала с верхней полки стенного шкафа книгу расхода лекарств. Генка, битых полчаса уже отиравшийся в процедурке, посмотрел с сожалением на выглянувшую из-под полы халата ногу.

— А ходули у тебя, Верок, в порядке, есть на чем глаз остановить.

— Есть, да не про вашу честь, — сказала она. — Сходил бы, позвал толпу, пора пилюли раздавать.

— Это мы час, это мы мигом. Только, Верунь, уговор, если за двадцать минут управимся — моей банде кипяток, а мне чего-нибудь вкусенького.

— Ладно, там посмотрим.

Генка вышел, и уже через несколько минут его ребяташки влокли дураков и ставили их в очередь у дверей в процедурную. Они

заходили поодиночке и, взяв у Веры таблетки, запивали их из пластмассовых мензурок. Вера же отмечала их в тетради. Некоторые фамилии были подчеркнуты красным, этих ребят нужно было контролировать, чтобы не выплевывали колеса. Вот зашел Сапогов, бормоча, как всегда, впрочем, нынче он был возбужден и поначалу отказался пить лекарство, но Колька шустренько дал ему пинка, и Сапог, пометавшись по углам, все же проглотил свою дозу. При этом он злобно и нелюдямо косился на Верочку, а когда та, отвернувшись, наклонилась над столом, он молниеносно схватил ее за ягодицу и так же молниеносно рванулся вон. Мужики аж взвыли со смеху. А медсестра, покраснев, выматерила Сапога, как умеют это делать молоденькие ПТУшники — неумело и без рифмы.

Раздав лекарства, Верочка записала их в журнал, поставила чайник, как обещала, и, выгнав всех, кроме Генки, за дверь, сунула ему несколько колес, предварительно выдавив их с листа. Не дай бог, начальство поймает, да с листом! Вмиг с работы выпишут. Генка уже собрался было уходить, да заметил закатившуюся под стол иглу. А у него как раз выборки нету. Через тонкую же иглу выбирать — одна морока. Генка подсел к столу и разлился соловьем. Между анекдотами он, поправляя тапочек, прихватил и иглу. Некоторое время спустя он завял и, посидев еще немного, отправился к себе в палату, не забыв закипевший чайник.

В отделении палаты были рассчитаны на двенадцать коек, но была одна маленькая, на четыре. Тут обычно лежали больные, проходящие курс инсулина. Считается, что инсулин забирает сахар из клеток головного мозга, затем дают сахарный сироп, и мозг получает новый сахар. Вот и все. А так как с инсулином шутки плохи, то и лежат ребяташки в отдельной палате.

Но в данное время курса не проводили, и в палате обосновались шустрые молодцы. Генка тоже уломал заведующую и переселился сюда. Около палаты на полу сидел «колпак» и то поднимал, то опускал, держа перед собой двумя руками, пластмассовую кружку, привязанную бечевкой к поясу халата. Кружки «колпакам» стали привязывать после того, как одного комика застали за поеданием кала. Мужики решили, что западно пить из кружек, из которых, возможно, пьет чума. Вот привязали каждому свою. Генка, зайдя в палату, достал из тумбочки чистую кружку, налил туда кипятку и отдал чайник ребятам. Хлопцы пошли мутить в туалет. Оставшись один, Генка приподнял свою шконку, и из ножки выпал в подставленную ладонь шприц, завернутый в платок. Генка промыл найденную иглу в кипятке и положил баян на кровать. Затем растолок колеса на бумаге, высыпал порошок в ложку с кипятком и, намотав на иглу ваты, выбрал раствор. Несмотря на то что в палате ночник горит круглые сутки, вечером не видно ни хрена, и попасть в вену тем более сложно. А ширять нужно только в ногу, на руках дырок быть не должно. Наконец, попав в вену, Генка двинул «с ветерком». Посидел чутка и, промыв машину, спрятал ее обратно. Кайфец, конечно, был не тот. Да где в дурдоме шырева путного достать? А если и достанешь, так где варить его? Но, чтобы скоротать скучный

вечер, подходила и эта ерунда. В больнице ведь скучота вечером. Телек смотреть, так там каждый вечер одно и то же, с мужиками базарить не о чем — за месяц уже обо всем переговорили. Вот Генка машину и надыбал. Лежа на койке, он закурил и, закинув руки за голову, тащился потихоньку. Заметил возле себя пятно крови и усмехнулся, вспомнив, как прошлой ночью лопухнулась смена. В отделении лежал паренек завернутый, но в меру. А тут под вечер понес какую-то ерунду и так надоед, что дежурная заперла его в этой палате, пока мужики кино смотрели. Другой же паренек «голоса» слышал и тоже ее достал. Она и его сюда же. После фильма, покурив, хлопцы пошли спать, и дежурная открыла палату. Заглянула и так и села на задницу. Стены, как из ведра, были облиты кровью. Эти двое целый час друг из друга души вынимали и так усердно колоутились об углы да об спинки коек, что прямо «Вечер стрелецкой казни» получился. Ничего, палату отмыли, белье заменили, вот только пятнышко небольшое осталось. Генка повалялся, повалялся, вспоминая эту хохму, да и уснул в одежде прямо. Вот и вечер пролетел нескучно.

Глава 3

Забрякали, щелкнули ключи, открылась дверь, и в телевизионную впустили посетителей. Свиданка. Одна медсестра села у выхода, а другая выкрикивала фамилии и впускала больных. Ребята бодро влетали, и в темпе целовались-здоровались, и в темпе же принимались молотить принесенную родней жратву, пытаясь умять как можно больше. Ведь придешь в отделение, а там иногородние да те, к кому сегодня не пришли, налетят. Как им откажешь? А если слаб или совсем здорово повернут, так и просто отберут, спасибо не скажут. Вот и нажимают по-стахановски. Хоть и не все. Вон Витюша рядом со старушкой-матерью сидит, морду кривит, губы выпячивает. — Ээ... Ээ...

Она его все пытается накормить, а он ни в какую, отталкивает. Говорят, Витюша однажды отнекивался да отнекивался и вдруг как наварит мамке с правой. Бабка со стула брык, и тишина. Санитар к Витюше утихомиривать. Звали того санитаря Слона, и силушка была соответствующая. Ну и ему досталось. Через стол перелез без помощи рук и ног, да еще минут пять в себя прийти не мог. А Витя повернулся и спокойно пошел в отделение. Мать, наверное, с месяц потом не появлялась. Слон теперь в приемном покое работает и когда приводит очередного клиента в отделение, так Витюшу обязательно пинком отоварит. Не со всей силы, понятно. Если Слон от души вмажет кому, то пульс можно и не щупать, сразу приступать к вскрытию.

Ну так вот, свиданка идет, мужики кишку трамбуют, родня языком чешет. Ребята поддакивают им. Мол, угу, а как же, да что ты говоришь? Ни жене, ни брату, ни свату не понять, что их интересуют только два вопроса. Что пожрать и когда выписка? Да и страш-

новато посетителям. В дурдом пришли, к сумасшедшим. И мужик их тоже вроде как больной. Глаза ввалились, жрет прямо руками, не жуя. Их тут не кормят, что ли?

Генка покурил, повалялся в палате, не спится. Потрепаться не с кем, москвичи на свиданке, бесхозные — там же, выпрашивают чего бы пожрать. Смена плохая, колес вытянуть даже думать не могли — продадут Алле с потрохами. Ждать теперь вечернюю смену. Тоска. Генка не ждал свиданок, не было у него никого. Не приходили и к Рыжему. Он матери с отцом и не видел никогда. Вырос в детдоме для отстающих детей и кочевал по больницам. Выйдет, покантуется с месячишко по воле, попойет парфюмерии, и с ментами с Курского вокзала обратно сюда. Или с Белорусского, где возьмут, в общем. И впереди у него была, судя по всему, загородная больница до конца жизни. Веселья ему такая житуха не прибавляла, а все же барахтался, крутился-вертелся. А что делать? В петлю? Так ума бог не дал, никто не присоветовал. Ах, как он завидовал этим счастливым. У них был дом, родные, жизнь у них была! Какая-никакая, но была. Пусть с тюрьмами, принудками, горем и неприятностями, а все же жизнь. Своя. А тут черная безнадега, из которой выхода быть не могло. Выход есть у больного, тем более у здорового. Рыжий же — ни рыба, ни мясо.

Генка о будущем думать боялся, на это ума хватало. Прожил день — лады, о завтра будем колотиться завтра. Сегодня он думал о другом. Орлы от дури молодецкой выжрали весь чай, осталось грамм сто — слезы.

В палату Колян влетел и стал переключивать в тумбочку передачу. Среди прочего Генка засек книжку.

— Это что?

— Да мать фантастики подогнала.

— Подари, я на колеса ее обменяю у Верки.

— В натуре?

— В натуре, в натуре. Только метлой не шибко звони.

— Да ты че, Ген, разве когда трепался, бери, конечно. Давай похаваем, мать колбасы принесла, угу?

— Давай. Только вот что. Ты сейчас иди матери сумку отдай, ну, потрепись за жизнь и скажи, мол, тут парень лежит, простудился, а эфедрина нету в аптечке. Пусть принесет, кайфец сварим. Только поправдивей проси. Не приведи господь, пойдет у Аллы спросит. Нам тогда с сульфы век не слезть.

Колька ушел. Генка, лежа на койке, разглядывал женский портрет, вырванный из журнала и наклеенный под стекло ночника. С этой картинкой хохма недавно приключилась. Ее туда прилепили, чтобы свет ночью в глаза не бил. Мужикам и удобно, и весело. Посмотришь перед сном, а на тебя женщина смотрит. Да паренька нового привели. После запоя. Ну, укололи его, чтоб уснул, а он ночью проснулся, глянул и чуть дубаря не врезал со страху. Морда на него чья-то смотрит синяя — обложка-то с тыльной стороны цветная. Башкой повертел-повертел, зажмурился. Открыл глаза — смотрит. Он медсестру звать. «Уберите, — кричит, — эту морду, спать не да-

ет». Медсестра спать только легла, разозлилась. Ребят разбудила. Те спросонья тоже недобрые. Насовали мужику по репе и привязали к кровати, чтоб не будил. Тот верещит, отбивается. Добавили. Хорошо, с утра доперли, развязали. Смеху было. Это еще что, вот к Генке Гагарин приходил, вот это был цирк шапито. Он колес перebrал. Лег спать. Просыпается — на шконке Юрий Алексеевич, первый космонавт сидит. Генка шуганулся, башку под подушку и опять спать. Решил: не век же он тут торчать будет, посидит-посидит, надоест ему, он и уйдет. Просыпается. Опять тут. Улыбается. Ну, Гена сил не пожалел, вмазал от всей широкой души. Сидит, не уходит. Генка его подушкой, не помогает. Тумбочку ухватил, воротать начал. Ну, тут хлопцы прибежали, скрутили. Стали расспрашивать. Он орет:

— Я его грохну сейчас!

— Кого?

— Гагарина!

— Так он умер давно.

— Заливаете! Вон он сидит.

Еле его уговорили не трогать космонавтику и из компании увели. Генка потом до вечера сюда зайти боялся. Стыдно было перед ребятами — край.

Колька пришел. Ему, оказывается, в передаче мать воблы принесла. Собрали хлопцев. А тут опять радость. К одному солдатику брательник приезжал, денжат подогнал. Пошли на кухню, купили чаю у раздатчицы. Чифирнули всласть, с рыбкой. Чем не лафа?

После обеда Генка сменял-таки у Верки колеса на книжку. Рисковали в принципе. Девка новенькая, могла и бровью в принцип упереться. Вообще-то купить или поменять тут все можно. Были б деньги. И водяру покупали у санитаров. У медсестер колеса. Чай брали у раздатчиц. Врачи вот только не покупались. Да и то, как сказать. Алла, говорят, если что, деньгу тоже будь здоров как любит. Водярой, понятное дело, не торгует, а отмазать от ментов вполне может. Ну, это — не пойман, не вор. Говорить-то все могут. Может, и не берет. Но гаек золотых у нее мно-о-ого.

Короче говоря, колеса они достали, ужалились и сидели теперь на подоконнике в сортире у открытого окошка. Торчали. Шebutной вечерний майский ветер бередил душу. Выйдем на волю по июню. Лето! Житуха — лучше не надо. Уьемся в смерть. Погуляем от души, можно на юга прокатиться. Оторвемся за все месяцы, проведенные в дурдоме. Пожрем по-человечески, баб цепанем. А бабки нароем. Это пустяки. Тащились они, спал за больничной стеной город, спал дурдом. Только где-то гулко гремела ведрами в отделении старушка-нянечка — божий одуванчик. У нее за двушник вполне можно было купить флакон парфюма.

Глава 4

Алла Георгиевна захлопнула папку истории болезни, несколько секунд посмотрела, как ее корешок отражается в полировке стола,

и, раздавив далеко не первую сигарету в пепельнице, отправилась наводить утренний марафет. Делала она это не с целью наведения порядка, а скорее ради самоутверждения. Старшая сестра на протяжении многих лет пыталась командовать отделением через голову Аллы Георгиевны. И именно поэтому заведующая шла сейчас по отделению, выискивая недочеты в работе персонала. Первым под руку попался Колька. Алла Георгиевна точно и быстро прощупала полы его пиджака. Туда обычно таблетки прячут. Колька смотрит невинными глазами, а в душе — как будто с двадцатого этажа вниз смотрит. Колеса у него в кулаке полусжатом. Но ничего, пронесло. Дальше пошла. Летит — на метр под паркет видит. Недаром двадцать с лишним лет в психиатрии. Генку и Валентина вон и обыскивать не стала. Такие пассажиры при себе ничего не носят. Зря, между прочим, Алла Георгиевна так думает. У Генки под стелькой бритва заныкана, а Валентин вчера на сон грядущий пару флаконов одеколона внедрил. Запашок-то остался...

Так, вот это интересней. Рядом с постовой сестрой в кресле сидит, развалившись, больной и курит.

— Анна Федоровна! Вы что, на посту курилку устроили?

И сразу приговор Мишке, а это был он:

— Два кубика.

Упрашивать бесполезно, еще добавит. И Мишка поплелся за своей порцией в процедуру.

— Валечка, вот этому молодому человеку парочку сульфазина. Он нынче себя в ресторане вообразил, нужно вернуть его к действительности.

Дверь в туалет рывком открыла. Мужики чуть не хором поздоровались. Рожи у всех как маслом помазаны. Она сразу к окну. Там меж двух решеток банка запрятана.

— Пономаревский, быстренько влезь и достань банку.

Федя понуро полез на подоконник. Ведь какое дело. Если сноровку проявить, ребята подумают, что выслуживается, вот и выцарапывает ее кряхтя, будто не он банку эту полчаса назад за пару секунд вытащил и потом назад пристроил. Алла Георгиевна банку взяла, но мало ей этого показалось. Заставила всех продемонстрировать языки. Языки были коричневые. Не успели их ребята сахарком протереть. Двоих увела с собой. Благо от сортира до процедуры рукой подать.

Валька биксу со шприцами закрыть не успела, как опять колоть. Да еще втык получать за то, что банку эту проморгала и не отобрала. Да как же ей быть, если она ее ребятам и дала? Алла Георгиевна стоит рядом — смотрит, чтоб всю дозу вколола Валя. Последним Сашка был. Подождал, покуда заведующая уйдет, выпросил анальгина и сам понуро ушел.

Через три минуты в процедуру просочился Генка. И как по пиsanому зачастил:

— Вальюша, родненькая, прости ради бога! Кто же знал, что она в сортир попрется? Отдай баночку, ненаглядная моя.

— А потом опять сгорите? И меня с работы попрут?

— Не сгорим, ненаглядная ты наша. Мы ее так спрячем, что не только Алла — прокурор не сыщет. Отдай, а?

— Бери, черт с тобой, век бы вас всех не видеть.

Генка сунул банку за пазуху и, открыв дверь, испарился.

В другом крыле отделения кипела работа. Под руководством старшей сестры больные драили коридор. Колька моет радиатор батареи. Старшая не была бы старшей, если бы не сделала ему замечание:

— Ты халтурить брось. Снаружи она чистая. Ты изнутри помой.

— Как же я изнутри ее помою. Пилить тогда надо, чтоб внутрь влезть.

— Ладно, ты дурочку из себя не строй, доиграешься.

— А я и не строю. Я не в академии наук нахожусь, а в дурдоме — значит, и есть дурак.

Старшая аж задыхнулась от такой наглости. Но на то она и есть старшая, чтоб больные тихими были. Через весьма короткое время Колька лежал привязанный к кровати, а Валентина думала, чертыхаясь, как привязанному на спине человеку сделать укол в известное место. Хорошо Колька, оценив пиковую ситуацию, выгнулся, насколько мог. И Валька вкатила ему шесть полновесных кубиков — по три на половину. Кольке было девятнадцать лет...

Обход пошел по палатам. Там безнадежные, находящиеся в этой больнице не один год, а зачастую не одно десятилетие. На жаргоне дурдома их называют «колпаками». Тут лечение сводится к оглушению больного мощными препаратами. Чтоб не бузил. Здесь Алла Георгиевна закончила быстро. Все. Обход завершен. Обычный обход, какой бывает в больнице каждый день, кроме воскресенья. Такие обходы есть в любой обычной больнице. И вопросы те же — на что жалуетесь? Как сон? Больные только вот другие. Эти больные знают, что они неизлечимы. Те, которые сохранили хоть немного рассудка. Мало того, они с этим смирились. Ну а «колпаки», те и вообще вряд ли думают. Они живут. Как говорится, «блаженны нищие духом...»

Глава 5

В отделении переполох. Старшая собрала сестер и вкладывает им ума. Незадолго до этого ей самой в хвост перца вставила заведующая. Крику! Всем вместе и в розницу шею накручивает.

— За продуктами больных отправлять только в сопровождении санитаря, на уличные работы никого не выпускать, с поста у дверей никуда не отходить. Теперь о режиме. Чтобы после отбоя — ни одного больного в коридоре. Распустили их, а они нам на голову и рады сесть. Передачи не проверяем, а на той неделе двое напились до остекленения. Думаете, не знаю? Все мне известно. В ванной они пили. И кто ключи от ванной им дал — тоже знаю. Еще один такой случай, и виновные полетят отсюда по статье. Я за вас соб-

ственную ж... подставлять не буду. Дальше. В Верино дежурство больные чифирить начали просто в открытую. Сидят около тебя на посту и пьют. Ты им кипяток и даешь. Это ж издевательство чистой воды. Днем мы их с чаем гоняем, а вечером, как только я уйду, — пейте на здоровье. Я этого никогда не терпела и, смею вас уверить, дальше терпеть не буду.

Угу, пошла-поехала. Терпеть она не будет. Работать-то кто у нее такой терпеливой будет? Оклад у сестер, прямо скажем, не министерский, все они получают доплату за нянечек. А мыть полы и сортиры им, понятное дело, неохота. Вот и просят мужиков помочь. Не задаром, естественно. Коридор помыть — большая кружка чая. Сортир и столовую — тоже. Ну, а если кто помог шибко буйного привязать или там дураков вымыть, как ему колес не дать, если попросит? Да вообще, мало ли работы в отделении? Стенгазету вон оформить, художника, что ли, приглашать?

Весь сыр-бор разгорелся из-за солдатики. Его признали вменяемым и должны были отправить в часть. Служить ему там тяжело, и сначала он решил вздернуться — повеситься то есть. Не до конца, конечно, — только чтобы закосить. Посоветовался с ребятами. Ну, Генка ему лекцию прочитал о последствиях. Не один такой солдатик думал таким макаром домой к мамке уехать. Вот, например, один казашонок вены себе бритвой почикал и в петлю влез. Ну, прямо Есенин. Вытащили его, перевязали. Алла его тормознула еще на месячишко и весь месяц на сульфде держала. Через день пичкала его. Он под конец одного только хотел — обратно в часть, хрен с ней, с дедовщиной. Только бы не кололи. Паренек послушал, послушал, головой покачал и приуныл. А прошлой ночью обвязал решетку полотенцем, сунул в петлю ножку от стула, затянул, и отогнулась решетка. Он пролез в щель на подоконнике, оттуда на пожарную лестницу и приветик. Зря он так. Куда ему податься в больничной робе, в тапочках в огромной, незнакомой Москве? Покантуется по подвалам пару дней, оголодает, и обратно сюда менты привезут. Если по-крупному косить, так голову нужно иметь. Мужика одного недавно хотели в загородную отправить. Это минимум месяцев на шесть, и режим не чета тутюшнему — вилы. Ну, мужик этот подходит к медсестре:

— Что-то, — говорит, — чувствую себя хреново, дай-ка мне градусник.

Она ему без задней мысли и дала.

— Посиди тут, у процедуры, — дел хватает, некогда ей за ним смотреть. Проходит минут десять.

— Ну, давай сюда.

— Чего давать? — удивляется этот малый.

— Как чего — градусник.

— Эка ты хватилась, да я его проглотил.

— Как проглотил?

— Горлом, не задницей же.

Сестра к заведующей. Беда, больной градусник проглотил. Что делать? Что делать, что делать — на рентген нужно этого гада вести.

Может, и не глотал вовсе, а мозги просто крутит. Но и тянуть нельзя — в градуснике ртуть. Привели орла этого на рентген. Правда, проглотил. Ну, его на «скорую» и в обычную больницу брюхо резать. Вытащили там градусник, в палату положили. Он теперь за этой больницей и числится. Ведь историю болезни вместе с ним отправили. Лежит себе, в ус не дует. Вот швы ему сняли, говорят, все — завтра обратно в дурдом. А хлопец одежку набросил, из дома родней принесенную, и в дверь. Тю-тю.

Так, конечно, редко кто решается свалить, все же страшно. А с прогулок, считай, каждый месяц бегут. Но тут случай особый. Больной решетку выломал, и никто этого не заметил. Поэтому и сношает старшая персонал. Теперь несколько дней кипятка у сестер не допросишься. Потом уляжется эта кутерьма, и все по-новой.

Ушла старшая к себе в кабинет. Сестры потрепались и тоже по местам разошлись. Но кое-кому из мужиков сказали:

— Ищите, кто-то стучит.

Вот тут начались разборки так разборки. Подозревали всех. Собирались небольшие группки и томительно гадали:

— Кто кладет?

Предположения, одно бредовой другого, выдвигались и рассыпались. Спорили и обсуждали тихо, но весьма горячо. Ночью, не договорившись и не разобравшись, отметили аж несколько человек. Особо горячие молодцы из блатных предлагали трахнуть подозреваемых. Хорошо еще, что их не поддержали из страха последующего наказания. Алла в этом случае шутить бы не стала. Еще сутки галдеж и гам продолжался, постепенная стихая. И никому не пришла в голову простая мысль. На хрена кому-то кого-то закладывать? Выгода какая с того? Ведь, если здраво разобраться, что можно сообщить старшей или заведующей? Что чай пьют и поддают потихоньку? Так это всегда было, есть и будет. И та и другая об этом знают. А больше ничего секретного, скрываемого от врачей, в дурдоме нет. Это не тюрьма. Тут, наоборот, что хочешь, то и говори. На то ты и больной, затем здесь тебя и держат. В общем страсти стали стихать, и все стало возвращаться в привычное русло, когда от медсестер узнали, что стучал санитар Володька. Этот был тот еще прыгун. В свое время он належался по дурдомам предостаточно. И однажды устроился сюда санитаром.

Мужиков почти не гонял, тех, кого побаивался, вообще не трогал, работал себе потихоньку. Побухивал, ширялся иногда, если путевый кайф доставал. Алла это знала, но терпела. Попробуй найди санитаря. Нету таких дураков — за 80 рубчиков психов сторожить. Вот и терпела. И, видать, за это терпение Вова и помогал ей просвещаться. Ну, подумали ребята, покумекали и, как всегда бывает, если руки коротки, посчитаться решили с ним потом, на воле.

— Ладно, — кричали они. — Бог правду видит, сквитаемся.

Эх, сколько раз слышали больничные стены подобные угрозы. Ни разу только вот слова в дело не переходили. Да и, впрямь, кому охота, вырвавшись отсюда, опять влезать в дерьмо, кого-то ловить и башку расшибать. Никому такой радости не надо. Вот и успокои-

лись понемногу. Опять забегали мужики с банками, обливаясь на ходу кипятком и шипя от боли в ошпаренных руках, опять стали поддавать втихаря. Ну, а Генка, само собой, — ширяться по вечерам. Впрочем, он и не прекращал.

Глава 6

На шконке лицом вверх умирал человек. Он уже ничего не видел и не слышал, только иногда открывал глаза с желтыми белками и негромко стонал. Отекшие грубые пальцы с грязными ногтями сжимались и разжимались. Несколько часов он не приходил в себя и, видимо, так и должен был умереть без сознания. Что о нем можно сказать? Пил, наверное, с юности и нажил к сорока годам цирроз печени. Да и что еще он мог нажить, кроме этого? Разве только прободную язву. И вот сейчас он умирал — негромко и без лишней суеты.

Дело было вечером, дежурили в отделении одна медсестра и нянечка. Валька уже позвонила в приемный покой, чтобы выслали санитаров и дежурного врача. Ей ответили:

— Что вы нас заранее теребите, помрет, тогда и придет врач. А санитаров дать не можем. У вас больных много, до морга донесут.

Валюха спросила у мужиков:

— Кто поможет? Барбамила дам.

Барбамил — это раствор барбитуратов, предназначенный для успокоения буйных. Хлопнул мензурку, и кайфец. А если поболее, так вообще, как тут выражаются, — лом. То есть ломовой кайф. Колька как услышал, так за Генкой сбегал. Сидят, ждут смерти, как вороны. Генка сходил посмотрел на носилки, на которых предстояло тащить тело, и позвал еще Мишку с Саньком. Больно тяжелы — вдвоем не управиться. Да и сам умирающий весил, наверное, центнер без малого. Не меньше. Значит, мертвого его вообще не поднять будет.

Мужик загибался помаленьку, а рядом сидели четверо, попивая чифир, и обсуждали негромко — когда? Покурили. Санек пошутил:

— Может, помочь ему? Горловину прижмем, и готово.

— Прижми, а врач посмотрит и увидит синяки на шее. И поедем парикмахерами елки чесать. Их там много, сам знаешь.

Колька нервно хохотнул. На него неодобрительно посмотрели.

— Ты чего ржешь, пацан, не видишь, падло, человек помирает?

Тот сник. Генка вдруг встал с койки, на которой они сидели, и подошел к постели умирающего. Пощупал пульс и попытался закрыть ему глаза, да никак веки ухватить не мог — руки мелко тряслись.

— Не так, — сказал Санек, подойдя к нему, нажал на веки двумя пальцами и потянул вниз. Глаза не закрывались.

— Да ладно, пусть так лежит, — сказал Генка.

— Коль, иди к Валюхе, пусть врача зовет.

Пришла Валя, посмотрела и села вместе с ребятами покурить.

— Я ждала, ждала, да и вздремнуть легла.

— Чего ж мне не сказала, — ухмыльнулся Генка, — я б тебе вздремнуть помог.

— Угомонись, черт бесстыдный. Чего это мне так не везет? Тогда в мою смену помер парень, теперь этот. Рука, наверное, легкая.

Месяца полтора назад в отделение привели парня. Лет двадцать ему, наверное, было. «Голоса» у него начались. Достал всех. Подходил к кому-нибудь, сжимая кулаки, и зло спрашивал:

— Ты моего отца на ... посылал? — И в морду.

Валька его велела привязать, да в историю болезни не заглянула. А у него тромбофлебит. Утром подошли к нему, чтобы покормить, а он холодный уже. Валька пистон от заведующей хороший получила.

Тем временем пришел дежурный врач — невыспавшаяся женщина со сбившейся прической — и осмотрела труп. Записала что-то в бумажках и сказала уходя:

— Ну, несите в морг.

Ребята сняли с покойника белье, связали бечевкой ноги и руки, как Валька велела, и положили его на носилки. Колька все боялся, что заметят его страх, и болтал без умолку. Его одернул Сашка:

— Умолкни, щенок. На нервы действуешь.

Подняли носилки и пошли вслед за Вале́й в морг. Кто эти носилки только придумал? Наверное, на руках было бы проще донести, до того они сами по себе тяжелые. Генку как-то с ребятами попросили помочь отнести из старческого отделения старуху на рентген. Вот намучились они. Здание старое, коридоры узкие, и с носилками этими не развернуться. Вдобавок они бабку забыли привязать, и на какой-то лестнице она упала с носилок и сломала бедро — кости-то хрупкие. Подняли ее, обратно положили. Старуха даже не застонала. Смотрела пустыми глазами, не двигаясь и ни на что не реагируя. Ходят под себя, кормит их персонал, и нет им дела ни до чего.

После возвращения из морга Валька, как и обещала, налила барбамила. Генка с Шуриком проглотили и пошли как ни в чем не бывало. А Мишка с Коляном пили его в первый раз и попросили добавки. Это-то их и подвело. Через полчаса они метались от стены до стены, еле добрались до своих коек и рухнули спать. Кольку-то с утра сумели кое-как поднять и отвести сначала в столовую, а потом в душ, где, поливая холодной водой, привели более или менее в чувство. Мишку поднять не успели — старшая засекла. И проснулся он, уже уколотый сульфазинном.

Глава 7

Валентин кинул новенького, только вчера угоревшего в дурдом. Дело вот как вышло. Сразу видно было, что он, этот мужик, первый раз здесь. Сначала, как привели его, минут пятнадцать у дверей стоял — башкой вертел. Потом сестра его увела и записала, как полагается в таких случаях. Отвела в палату и место показала. Ну, сел он на койку, мешок рядом кинул, оглядывается. К нему, понятное дело, сразу шакалов толпа. Дай закурить да чего пожрать есть? Он, теле-

нок, направо-налево и раздает. Немного погодя отцепились от него. Сразу редко у кого до дна расстреливают. Несколько человек потом ходят вокруг него и тащат все подряд под видом лучших друзей. А как кончатся запасы у бедолаги, все — дружба кончилась. Если же ему передачи богатые носят, тогда — другое дело, всю дорогу с хвоста не слезут. Ладно, отстали от него, разошлись. Потянулся и он из палаты, покурил. По коридору стал гулять, стеблем крутить — шеей то есть. Тут к нему Валентин подскочил, спрашивает:

— Землячок, кличут-то тебя как?

— Сергей.

— Ну, а я Валентин.

— Слышь, Валентин, а тут как порядки, ничего?

— Да сам увидишь, но вообще-то жить можно.

— А как насчет выпить?

Ну кто его за язык тянул? Ясное дело, Валентин насторожился, выспрашивать начал. Выяснилось, короче, что у лопуха этого деньги есть. Валя, само собой, быстренько их прибрал к рукам. Наплел ему, что гонец есть и по пятнашке возьмет водяры к обеду. А чтоб не гонять его зазря, нужно дать ему сразу все бабки. И отдал Сережа полтинник кровный. Валентин ушел куда-то с деньгами. Мордошлеп ждет его. Вернулся, говорит, мол, деньги отдал, все тип-топ будет. Деньги он и впрямь отдал. Разменять. Чтоб пятерку сдачи отдать. Это сразу обговорили. Ходят они вместе, гуляют, ждут. Валентин все рассказывает, какой он хороший и честный, что кента в жизнь не продаст. А сам про себя заливается! Вот и обед прошел. Валентин все поет. Вот и ужин кончился. Сережа беспокоиться начал, шея, видать, длинная, от земли до мозгов далеко-о. Валентин опять убежал. Нету его и нету. Приходит. Морда печальная, руками разводит.

— Браток, беда вышла. Гонец сгорел с водярой вместе. Но ты не бойся, он парень надежный, нас не продаст. Вот, сдачи даже принес.

И пятерку ему сует.

— Он пузыри-то взял, а на главной вахте на врача нарвался. Она и засекла. Ну, падло буду, правда.

Сережа видит, что кинули его, да выеживаться страшно. В первый раз ведь! Да кого угодно в дурдом засунь — всяк растеряется. Стоит, хлопает глазами. Валентин вокруг покрутился, посочувствовал и уплыл. Все бы так и закончилось, да Сережа на другой день Генке проболтался. Генке, в общем-то, до него дела не было. Страдай, если такой дурак. Но вечером в столовой, когда в домино играли, сказал Валентину:

— Валек, а мужика этого ты с подлянкой кинул. Не по-людски вышло.

— А тебя, малолетка, не спрашивают. Сученыш.

Тут Генка не прав, конечно. Кинули не тебя и не твоих кентов — сиди и молчи. Но — сученыш?

— Ты кого сучишь, козел?

— Кто козел?

— У кого рога в стороны.

Ну, тут и разнимать никто не стал. Генка от удара со стула сле-

тел. Валентин добивать. А Генка его стулом, под руку подвернувшимся, подогрел. От души вышло. Бровь надвое расползлась. Валентин настырный, вскочил сразу — опять прет. Не ясно, чья бы еще взяла, да поскользнулся он. Пол-то в столовой жирный от супов да каш. Генка осатанел. Пошел ногами метелить по башке. Так они оба воспитаны. Это из песни слова не выкинешь. Генка разошелся, за волосы схватил, об пол бьет. А Валентин не растерялся, локтем в поддых двинул. Генка аж задохнулся. Вскочили оба. Опять на кулаки. Столы, стулья по сторонам летят. Медсестры вокруг бегают, кудахтают. Цирк. Ну, тут зрители вступились. Повисли на руках, не пускают. А бойцы знай рвутся друг к другу. Мат стоит — говно в сортире тонет. И на беду вечерний обход дежурного по больнице. Санитары тут как тут и, как у Высоцкого, — «прибежали санитары, зафиксировали нас...»

Глава 8

Генка, зажмурившись и охнув сквозь зубы, повернулся на другой бок. Полежал, отходя от боли. Вот это вам не по башке получать, а потом кряхтеть и морщиться. Это другая песня из чужой арии. Слава богу, робу заранее снял. Сейчас бы не смог. Хотя и тут минус есть: пока жар, без нее легче, а вот как озноб начнется, приходится одеяло натягивать. Больно. Мысли как в тумане. Мысли не-веселые.

Да-а, Алла Георгиевна, с вами и жить не скучно, и помирать не-охота. Двадцать кубиков сульфы, как с куста! Щедро наделила, как власть колхоз... Ай да врач, ай да мамин член. Генка не раз слышал от позагоравших по больницам мужиков о дозах сульфазина, которые они получали. Слышать-то слышал, да не верил. Думал, свистят. Теперь самому свистнуло. Ладно, если десять. Хотя и десять тоже тот еще подарочек. С двух люди в голос верещат и после Канатчиково за версту обходят. А двадцать? Ведь никакое сердце не выдюжит. Вот тебе и вся лавчонка вместе с керосином.

Генка не спал уже вторые сутки. Первые его продержали вдобавок ко всему на вязках. Ох, только бы сердце не сдало. Ну, еще пару дней продержаться. Потом легче будет. Потом уж как-нибудь. Потом. Ну дурак, ну бык! На хрена ему этот махач с Валентином нужен был? Ведь выписка через неделю. Ну, гад Валентин, ну, паскуда. И сам хорош. Быки мы с ним, нашли, где сцепиться — в столовой! Теперь еще месяц загорать. Генка потянулся к куртке, лежавшей рядом, и опять застонал. Укололи его в четыре точки — по пять в каждую ягодицу и по пять под лопатки. А говорят, и в простату шибко борзым добавляют — для лучшего кайфа. Он непослушными пальцами неуклюже вытянул из пачки сигарету, морщась, закурил и, сделав несколько коротких затяжек, забычковал об угол койки. Не до курева ему было, сердце стучало аж в кадык. «Все, — подумал он, — сейчас крикну. Побейте только бы. Сил нет терпеть. Вот, поделом мне, может, поумнею теперь. Леша Попович завернутый. И Вален-

тин — то еще падло. Ничего, вот отлежусь, тогда посчитаемся». Он еще о чем-то думал, временами срываясь в бред, мотал головой по плоской больничной подушке, матерно ругаясь слабым голосом, и постепенно забылся.

Лежал на продавленной койке пацан с запавшими глазами на бледном лице. Пацан, повидавший за свои двадцать два года никем не меренное количество плохого и страшного, и сам он был далеко не ангел, и совершил он много плохого и страшного, и натворил еще не меньше. Но попал он в дурдом первый раз восемнадцати лет и больше ничего в жизни не видел и не умел, кроме как попадать сюда и получать здесь сульфазин. Да и не могло у него быть другого в жизни, у него, воспитанного дурдомом. Лежал он и бредил. А рядом храпели и бормотали во сне другие пассажиры этого лихого места. Кто попал сюда в первый раз и кто в двадцатый. Спал, скрючившись и закрывшись с головой, Витек, ноги только с черными ступнями торчали из-под провонявшего мочой одеяла. Он из этого отделения не выходил без малого двадцать лет, и не будет он выписан никогда. Ибо за это время свихнулся окончательно, не разговаривал, а только корчил гримасы и ходил, неестественно свернув шею. Ходил по палате неутомимый Сапогов. Храпел, раскинув руки, алкоголик, нырнувший сюда, прячась от ЛТП. Хоть никуда ему от проволоки не деться. И написано на роду ему умереть там ли от тетурина, а может, в больнице от цирроза. Все они были жильцами этого дома, построенного когда-то на окраине Москвы. Теперь-то это уже центр, считай. Кто-то из них уходил, но потом обязательно возвращался. Другие оставались навсегда. Но все они были ЖИЛЬЦАМИ этого дома — тихого дома на окраине.

Рада ПОЛИЩУК

Именительный падеж

Именительный: кто? что?

Родительный: кого? чего?

Дательный: кому? чему?

Тридцать шесть раз — кто? что? Тридцать шесть. раз — кого? чего?

Свихнуться можно!

И хоть бы кто ошибся для разнообразия. Куда там — поголовная грамотность. Пора трубить победу. Эй, прочищайте трубы, тащите литавры: трам-та-та-там! тру-ту-ту-ту!

Впрочем, лучше обойтись без шума, пора привыкать — поскромнее, поинтеллигентнее надо быть. Подстойнее.

Да я притом и не учительница, и всенародная грамотность — вопрос не моей компетенции. Я просто помогаю подруге — проверяю за нее тетрадки в то время, как она пытается подправить свою в который уж раз покосившуюся семейную жизнь.

Мне ее жалко до ужаса. Она такая розовощекая, быстрая, не ходит — бегаёт рысцой, не говорит — строчит из пулемета, одной рукой одно делает, другой — другое, причем и то и это успешно, глазами при этом читает, ушами слушает и все абсолютно запоминает. Не женщина — вечный двигатель. Феномен. Но это все снаружи. Внутри же трепыхается и бьется в бессилии, как попавший в клетку воробей, ее бедное, израненное сердце. Хочется вынуть и отогреть у себя за пазухой, залечить все раны, успокоить — и пусть себе стучит бесперебойно со скоростью 60 ударов в минуту.

Только клетка та закрыта наглухо, и руку не просунуть, не достать, и пальцем не дотянуться. И потому я оказываю не радикальную, хирургическую, а посильную, первую помощь: проверяю тетрадки, меняю пеленки близнецам Витюшке и Андрюшке, накрываю одеяльцем вечно простуженную Танюшку и тихо и убедительно говорю: «Да, да, я здесь, спи, маленький», — всякий раз, когда старший сын подруги Гошка тревожно вскидывается во сне и зовет: «Мама, мамочка».

Своих детей у меня нет. Зато есть чужие, и так много, что, когда я в «Детском мире» покупаю колготки или еще что-нибудь дефицитное всех размеров, какие имеются, на меня смотрят с уважением и даже иногда пропускают без очереди. Они думают, что я мать-героиня, и я их не разубеждаю: время — деньги, а я, как никто, умею ценить время.

Слишком многое надо успеть.

У меня гигантские планы, и, хоть большая часть их не осуществлена, постоянно прибывают все новые и новые. Это мой допинг. Мне нужно знать, для чего я живу, что буду делать завтра и послепосле-послезавтра. Если бы вдруг неожиданно выяснилось, что из намеченного мною уже все-все выполнено, я бы, наверное, умерла или в лучшем случае сошла с ума: один на один с собою и со своими личными неотложными заботами.

Нет, нет, нет.

Увольте, извините, отстаньте.

Не насовсем, конечно. И до себя время дойдет. Но нельзя же только о себе.

Тем более что меня просто распирает от жалости. На кого ни посмотрю — жалко. Я буквально истекаю жалостью, исхожу ею. Но, зажимая кровоточащую страшную рану в своей душе, я все ползу.

Ибо я им нужна.

Про рану, может быть, слишком сильно, но доля истины в этом есть.

Иначе отчего я ношусь, как угорелая, из конца в конец города, улаживая, навещаая, увещаая, миря, разводя, доставая, защищая и прочая, порой голодная, продрогшая, больная, и падаю на чужой

кушетке в чьей-нибудь детской, или на кухне, или, на худой конец, прямо на полу? Отчего?

Что, у меня своего дома нет? Или мои собственные заботы кто-то добровольно взвалил на себя? Нет, не взвалил. И более того — они вообще никого не интересуют, мои заботы.

Все висит на мне одной.

А где много, там еще чуть-чуть незаметно вовсе. Он ничего ровным счетом не меняет — маленький довесочек к огромной глыбе. А глыбу эту я непрерывно таскаю на спине, подобно улитке. С той лишь разницей, что улитки все такие, это у них от рождения, и таскают они свой дом, а я — добровольный урод. Сама все это придумала и валю на себя что ни попадя, все, что плохо лежит. Как крохобор: подбираю — и на себя. И остановиться не могу. Может, мне давно лечиться пора, только я точно знаю, что без этой глыбы мне хана. Я без нее растаю в тумане дымя, как будто меня никогда и нигде не было. Сгину бесследно и бесславно.

Ну, слава-то, положим, обо мне и так идет не бог весть какая. В том смысле, что меня передают из рук в руки как нечто, ну, не знаю, даже слово сразу не могу подыскать — как нечто неопределимое. Возможно, это выглядит так: ты знаешь, есть у меня одна, ей можно сказать (заметьте — не попросить; примечание мое), она все сделает, да нет же, удобно, и это удобно, и это тоже, да все что угодно удобно, я тебе говорю: ни о чем не беспокойся (главное — заметили? — чтобы о н и не беспокоились; примечание мое).

Ну, как вам рекламочка? Небось тоже клюнули? Захотелось что-нибудь сказать (не попросить, а с к а з а т ь), чтобы было непременно исполнено? Валяйте — говорите. Она постарается.

Она — это, сами понимаете, я.

Не могу понять, почему, но я все время чувствую себя в долгу перед всеми. Это какой-то парадокс, честное слово. Для меня в жизни никто палец о палец не ударил. Лично для меня, без корысти какой-нибудь и дальнего прицела. Из любви ко мне.

А ведь меня любят, любят, о, я это знаю. Это вам показалось, что ко мне, как к вьючному ослу, нет, что вы.

Муж мой меня любит, бывший. И тот, который до него был и до сих пор ходит, тоже любит. И тот, который после них обоих появился и теперь, естественно, приходит, любит. Причем говорит, что больше их обоих, вместе взятых. Это они, когда втроем соберутся, страсть как обожают обсуждать, кто из них меня больше любит. Хлебом не корми — дай поговорить о любви ко мне. Нет, кормить-то корми, это само собой, это им всегда обеспечено, и они этого просто не замечают. Иногда я уйду, приду, а они все о том же. Другие бы мужики — о футболе да о хоккее или, на худой конец, о политике, слава богу, сейчас есть о чем поговорить. А эти все о любви. Тоже своего рода чемпионат, только чемпион что-то никак не определится.

Смех с ними.

Я однажды в больнице лежала, оперировалась по женской части, так они все между собой по телефону перезванивались, выясняли, что да как, да кому первому в больницу идти, да где узнать, что мне

можно есть, чего нельзя. Так и не выбрались. Ко всем мужья приходили. Только я одна все три недели сиротой казанской у всех на виду пролежала. При трех-то живых мужиках. Я женщинам по палате про них все уши прожужжала, даже ночью не могла остановиться — так ведь не поверил никто. Так врушкой и выписалась.

А пришла домой — они тут как тут. Сидят, о любви рассуждают.

Я бы их выгнала всех троих, честное слово. У меня от них, кроме хлопот, никаких удовольствий нет. А после операции особенно. Только и знаю, что изловчаюсь обед сготовить по полной форме: первое, второе, третье, закусочка, а иногда даже и выпивка, ну, это, правда, от случая к случаю. Но тоже, заметьте: не они, а я обеспечиваю. Кому чего постирать, кому чего починить, один с женой поссорился, а мы с ней в школе вместе учились, у другого ребенок заикается, а я врача хорошего знаю, то то, то это, непрерывка с продленкой.

А недавно муж мой, единственный из всех бывший официально зарегистрированным со мной, совсем сдурев, по-видимому, упек свою мать в богадельню. Так теперь я раз в неделю, а то и чаще тащусь с полными сумками через весь город к этой несчастной женщине. Каждый раз я думаю, что это последняя моя поездка и я возьму-таки ее к себе, не в силах выдержать ее с трудом сдерживаемую мольбу. У нее пока еще пересиливает гордость, а у меня иссякают остатки здравого смысла.

Умом понимаю — я идиотка, сердцем — нет, мне жалко ее до потери сознания.

А ведь расстались мы с ним, как водится, из-за нее, ничего нового, ничего самобытного мы тут не изобрели. Собственно, я вообще ничего не изобретала — я терпеливо старалась угодить, а он: мама, мамочка, мамулечка. Мама сидела у него на голове, маму он держал на руках, мама была везде и всюду, мне просто не было места рядом с ними. И я ушла, чтоб не мешать им. Я никогда никому не хотела мешать, только помогать. И потому я, наверное, возьму ее к себе.

Когда я сказала об этом бывшему мужу, отозвав его на кухню для приватного разговора, он сначала страшно обрадовался, чуть в ладоши не захлопал, потом почему-то ужасно расстроился, засопел, зашмыгал носом, будто собирался заплакать, затем поделился моим сообщением со своими единоплебниками (так я их окрестила), и они все трое непривычно рано и понуро покинули мой дом.

После чего я вдруг испытала невероятное облегчение и всплеск лучезарной надежды: уж не финита ли это ля наша комедия? Сколько, в конце концов, можно дурака валять!

У меня и без них забот полон рот. Едва-едва успеваю. С ног валюсь, зато в своей стихии.

Впрочем, стихии-то как раз бушуют вокруг: извержения всякие, камнепады и звездопады. В моей жизни ничего этого нет, несмотря на то что я постоянно пребываю в эпицентре каких-нибудь событий. Но именно в эпицентре, в строгом смысле этого слова: не в центре, а над центром. А это, согласитесь, не одно и то же. Для тех, кто понимает суть явлений, конечно.

Так что вообще-то я вроде того котла, который сам внутри себя

бурлит и сам же внутри себя и выкипает. Только знаете что: это мое кипение — совершенно и абсолютно мое личное дело, и никого оно не касается.

У каждого на этом свете свое предназначение. И у меня оно есть, я в это твердо и свято верую.

Вот у Нельки, например, за которую я проверяю тетрадки, вы, наверное, думаете, предназначение — педагогика, воспитание нового человека нашего, нового, светлого завтра. Как бы не так. Ее предназначение, я бы даже сказала — призвание: унижаться, подчиняться и рожать. Это ей только кажется, что она своего шибздика в ежовых рукавицах держит. Беглым каторжником зовет, а сама за ним по всему свету, как полоумная, носится, стыд, совесть, детей — все позабыв. Пока на место не водворит — не успокоится. А тут как раз и начинается ее каторга, ее, конечно же, ее, как и положено, — от зари до зари, непосильная и беспросветная. Другой бы давно загнулся — я, к примеру. А она ничуть не бывало — рожает и цветет, цветет и рожает.

А сморчок-то какой, господи, заморыш, не в коня корм, а уж как Нелька его кормит, я хорошо знаю — помогаю, чем могу. Она, бедняга, думает, что путь к его сердцу лежит через желудок, а он все в лес смотрит. И ко мне сколько раз подкатывался, да ему все равно, наверное. Он из себя богему изображает — свободный художник, свободные нравы и все такое прочее. Авангардист из арьергарда. Пустое место, по всем статьям пустое. Хотя нет, детей-то у них уже четверо, значит, не по всем. Дурное, правда, говорят, дело не хитрое, но все же в наш трудный век и на это не всякий способен. Так что хоть что-то, видно, Нельке моей перепало, не совсем зазря мается.

А все равно мне ее жалко. Он же над ней измывается по-черному за то, что на привязи держит. Я не представляю, как она терпит. У меня все по-другому: с кем хочу, с тем и сплю, а с кем не желаю — уж извините, нет. Ну не то чтобы, конечно, по-щучьему велению, по моему хотению — с кем и когда захочу, нет, конечно. Я тоже не в сказке живу, и от тоскидохну, и хотения больше, чем исполнения, несбывшегося навалом, а сбывшегося — с малюсенький ноготок, а то и меньше. Да если честно — радостей этих женских по-настоящему у меня было раз-два и обчелся, а так все возня мышиная, от которой, кроме горечи и недоумения, ничего не остается. Лучше бы и не было.

И все равно — я свободная женщина, а Нелька рабыня. Напился ли муженек благоверный, злой ли, как бес, луку ли нажрался — не моги роптать, не смей сопротивляться, стели постельку и ублажай-успокаивай, пока не погонит прочь. Это ли не рабство? Да притом и добровольное. Я бы, мне кажется, убеги от меня т а к о е, пир на весь мир закатали бы, чтобы земля дрожала от радости.

Но а бы, я бы — у меня, слава богу, таких проблем нет. Они есть у Нельки, и я жутко за нее переживаю всякий раз, когда у них начинается эта игра в догонялки. И что самое смешное — я не знаю, за кого больше болею: то ли за Нельку, чтоб догнала, вернула и, забеременев, успокоилась на время, то ли за него, горемычного, чтоб быстрее бежал и получше прятался. Ну что ему, в самом деле, жизни,

что ли, себя лишить, чтобы от Нельки избавиться? Другого, выходит, у него нет пути.

Вот и сейчас сижу и думаю: кто у них на сей раз победит? Наверное, как всегда, Нелька. Главное, поскорее бы, а то она ведь всю оставшуюся жизнь пробегает, не заметит, пока сокровище свое бесценное где-нибудь в неприглядном месте не отыщет. А что мне завтра на работу, а детей из-за соплей ни в сад, ни в ясли не пустят, а оставить их дома не с кем — это у нее из головы вон. Она за мной, как за каменной стеной, — знает: нужно будет — отгул возьму, мало — отпуск оформлю, а и этого недостаточно окажется — уволюсь.

Кстати, однажды я так и сделала, правда, не из-за Нельки, а из-за другой подруги, но знают об этом все-все. И считают, что это мне так, раз плюнуть — тьфу, и все. Это у них там — карьера, престиж, непрерывный стаж, а у меня — сплошное самопожертвование. Нет, если бы самопожертвование, то, наверное, восхищались бы или хотя бы презирали. Нет-нет, у меня — служение. Я — служанка, вот нашла, кажется.

Да, именно так, по-видимому, меня и воспринимают.

В самом деле, ну что мне еще делать? Я сирота, ни мужа, ни детей не имею. Какие могут быть проблемы?

Одна моя подруга, у которой в отличие от меня все есть, решительно все, ну все, что возможно в нашей жизни, так мне и сказала однажды высокомерно-презрительно, вся в упоении собою: «Понимаешь, твои проблемы, они какие-то... неконкретные, что ли».

Это я имела глупость поделиться с ней своими переживаниями. Вообще-то я этого никогда не делаю, а тут не знаю — может быть, ее поддержать захотела: она вся в тоске и меланхолии. Ну и я, мол: одиночество всего хуже. Самое сокровенное выложила. Так-то я обычно хорохорюсь, вы это тоже, должно быть, заметили. А тут со свиным рылом, что называется, не туда встряла. И получила свое — неконкретно.

Значит, я вся, со всем, что во мне есть и чего у меня нет, неконкретная, так, не пойми что. Палочка-выручалочка, да и то какой-нибудь самой низкой пробы, не из тех, что хранят в футляре лаковом с бархатной подбивкой, а из тех, что рядом с сапожной щеткой где-нибудь под вешалкой в старой авоське на всякий случай болтаются.

Все правильно. Вообще-то они все именно так ко мне относятся, как я того и заслуживаю. И я действительно болтаюсь — ну, не под вешалкой, конечно, а в бункере. Так я называю место, где работаю. Это когда я с нормальной работы уволилась из-за подруги, чтобы за ее парализованной мамой ухаживать, потому что ей диссертацию нужно было срочно защищать, у нее вся жизнь была на эту карту поставлена, — так вот, мне тогда жутко повезло: я отхватила себе тепленькое местечко — дежурной в коллекторе. Сутки под землей, по трассе ходить, следить, чтоб неисправностей не было, и так далее, ну, это неважно, главное — трое суток свободы. И мама подругина под присмотром, и я как-никак 90 рэ в месяц имею, иначе-то мне жить не на что было бы. Подруга, правда, попробовала как бы предложить мне некоторую денежную компенсацию, но как-то это

у нее так ужасно неловко вышло, с натугой, вроде не от души. А у меня и в мыслях такого не было, чтоб я у родной подруги деньги брала, и я так яростно, так энергично замахала на нее руками, что она больше никогда об этом не заговаривала. И подарка, между прочим, ни разу не сделала, даже на день рождения. Ну, это я так, к слову, мне никакие подарки от нее не нужны были, не в том дело. Она совершенно успокоилась тогда, как только все устроилось с моей работой, и зажила себе беззаботно, припеваючи. И уж диссертацию свою защитила, из-за которой весь сыр-бор и разгорелся, и на курорт с мужем съездила — восстановиться ей нужно было, потом в командировку заграничную отправилась. В общем много чего успела за те четыре года, что ее бедная мама промучилась после инсульта. Только про маму свою словно бы позабыла, даже заходить перестала в ее комнату — запах там тяжелый был, и вообще приятного мало.

А мы с ее мамой очень даже привязались друг к другу: ей, бедняжке, хотелось тепла и участия, а я свою маму почти и не помню, и жалела ее, как родную. И рыдала на ее похоронах одна-единственная, на меня оглядывались, как на ненормальную, цыкали, шикали, а я все не могла остановиться. Пришлось уйти. Шла, помню, редела и думала: господи, какое счастье, что она умерла, не дождалась этого позора. Это я о нашем разговоре с подругой, когда та, решительно так и резко, не попросила даже, а словно бы повелела забрать ее маму к себе: у них, дескать, сын женится, и я должна понимать, что им некуда, ну просто некуда привести молодую жену — тут их спальня, здесь — гостиная, там — кабинет, а в четвертой комнате — мама, ну куда, спрашивается, куда? Я, вы знаете, просто онемела, у меня, конечно, прекрасная однокомнатная квартира, и никаких таких сложностей нет, но нельзя же маму выгонять из дома. Нельзя. Я так переживала тогда, даже язва желудка открылась на нервной почве.

А подруга моя, она, знаете ли, на меня обиделась и перестала со мной разговаривать. Один раз после похорон я зашла к ним и поняла, что мне здесь делать нечего. Надобность во мне отпала.

Зато с тех пор я застряла в своем бункере. Сначала хотела снова на нормальную работу устроиться, а потом решила так: специальность моя (я техник-конструктор по общему машиностроению) все равно ни в коей мере не соответствует моему творческому потенциалу, оно, это творчество, бурлит во мне, и я рано или поздно начну писать стихи или сочинять музыку, я уже давным-давно все это в себе слышу. Тогда уж лучше поторчать еще немного в бункере. Может, дождусь своего часа, а может, кому-нибудь еще моя помощь потребуется на длительное время, как в тот раз с подругиной мамой. Не увольняться же мне без конца. Так я решила тогда и вот уже пять лет держую: сутки — в бункере, трое — на подхвате, надомницей-подсобницей.

И ничего, все как будто бы по-прежнему. Только я стала замечать в себе кое-какие перемены. Например, раньше я совершенно не умела обижаться, ну не было у меня этого чувства начисто, отродясь не было. А теперь нет-нет да почувствую что-то такое, вроде укола в

мягкое место — больно, и сердце тут же отзывается запоздалым испугом. И вот боль уже прошла, а память о ней осталась — так маленькие бисеринки на ниточку вяжутся, одна к одной, и можно перебирать их, перекачивать пальцами туда-сюда, пересчитывать. Что я и делаю.

И так втянулась — не могу оторваться. Не знаю — наверное, это дурная привычка, и с ней надо как-то бороться, искоренять, выкорчевывать. Но, как в каждом пороке, в ней есть что-то чертовски привлекательное: сидишь, смакуешь свои обиды, и не то что приятно, нет, а как бы щекотно — и раздражает, и смешит, и плакать хочется. Так побренчишь, побренчишь по нервишкам, как по струнам, и успокоишься на время — до следующего раза.

Горько признаваться, но материалаца, подходящего для этих сеансов, у меня поднакопилось изрядно. Иногда даже страшно делается — неужели это все мое?

Взять хоть тех же единолюбцев. Поспешно слиняв после ошеломившего их сообщения о предстоящем водворении в моей обители бывшей свекрови, они явились через три дня, припوماженные, принаряженные, и такой закатали мне брифинг с обструкцией, что я потом всю ночь валерьянку пила. Они брызгали слюной, топали ногами и кричали, заходясь от собственного пафоса, что я — махровая эгоистка, что мне плевать на весь мир, что я всех близких готова продать ради своих сумасбродных идей. Я же весь вечер безуспешно тщила встрять своим слабым голосом в их безупречно согласное трио и наконец, когда уже перевалило за полночь и они слегка подустали, я-таки прорвалась и сказала им всего несколько слов.

— Вот что, мои разлюбезные, — сказала я им, — здесь вам не кафе-бар на общественных началах и тем более не дом терпимости, как, быть может, вам по недоразумению показалось. Так что валите-ка вы отсюда раз и навсегда.

Наверное, это у меня здорово получилось, потому что они исполнили мою рекомендацию незамедлительно и в точности.

Таким образом, мне удалось избавиться от всех троих одним махом. И положила руку на сердце: я ни разу об этом не пожалела.

Вообще что-то во мне стало накапливаться. Сажу вот сейчас у Нельки и думаю, что хорошо бы и других клиентов всех побокую. Вот когда они обо мне пожалеют, это будет миг моего торжества и отмщения. Кто погрустит, кто всплакнет, а кто и локти кусать будет. И поделом. А то привыкли, избаловались, и спасу от них нет. И никакой благодарности.

Вон та же Нелька — хоть бы когда спасибо сказала или извинилась за несвоевременное вторжение. Да что спасибо — хоть бы какое внимание проявила. Я ведь тоже человек. И мне, между прочим, вчера тридцать лет исполнилось, и я ей неделю назад об этом напомнила, в гости пригласила. Я многих пригласила, только никто не пришел — какой-то неудобный день оказался, хоть и суббота. Некоторые даже и позвонить не смогли. А она позвонила и завывала: «Ууууу, не могуууу, убежааал, приезжааай, уууу, не могуууу...»

И я, представляете, помчалась. В такой день все бросила и пом-

чалась. Правда, бросать мне особенно нечего было — одинокий торжественный ужин при свечах. Но все же — тридцать лет, как это ни невесело, ведь не каждый день исполняется, какое-никакое событие, юбилей.

А я вот, юбилярша, сижу здесь у Нельки и мечтаю о героическом, построенном на несчастье ближайшей подруги. Но эта Нелька — она не только совершить героическое, она и помечтать о нем всласть не даст.

Явилась. И шибздика своего приволокла. Слышу — в прихожей на стул грохнулся, как мешок, недовольство выражает, бедолага. Что-то мне его сегодня особенно жалко, опять плохо спрятался, рохля несчастный. Вот уж воистину несчастный.

Мне бы, наверное, на четвертом десятке не мешало бы укротить немного свою необузданную жалостливость и вообще кое-что в себе подкорректировать. Я еще этим займусь, надо ведь нести хоть какую-то ответственность перед своими летами, а то как-то странно получается: годы твои как бы сами по себе — откуда-то вытекают, куда-то утекают, а ты — сама по себе и вроде никакого отношения к их течению не имеешь. Не умнееешь, не солиднееешь, ничего не приобретаешь. Нет, так не годится, конечно, какая-то согласованность все же нужна.

Я, кстати, вчера вечером, когда поняла, что ко мне никто не придет, убрала со стола в холодильник все салатик и по особому рецепту запеченную баранью ногу и даже обрадовалась — в такой день не грех побыть наедине с собою. А то галдели бы, пили-ели, галиматью всякую несли или заумь — все ровным счетом не имело бы ко мне никакого отношения. Я бы потом полночи посуду мыла, квартиру проветривала и таблетки от головной боли глотала. А так — посижу, подумаю немного о себе и пожелаю себе чего-нибудь важного и замечательного. От всей души пожелаю, чтобы исполнилось.

Не тут-то было. Встряла Нелька со своим звонком, и вот я здесь, и она передо мной, всклокоченная, с пылающим лицом, не остывшим еще от нездорового азарта погоня.

— Ну как? — спрашиваю.

Она молчит и глазом косит в сторону, недовольна чем-то, а мужек так в прихожей и затих, не подает признаков жизни. Нелька ходит вокруг меня кругами, бесполезно сучит руками. Странная какая-то она сегодня. Шмыгаю носом (опять от Нелькиных ребят заразилась) и пытаюсь понять, в чем дело. Но ничего не успеваю. Нелька хватается меня руками за шею, будто хочет задушить, и, вжавшись губами в мое ухо, шипит:

— Слушай, не обижайся, иди-ка ты домой, ладно, а то он сегодня не в духе, а когда ты здесь торчишь, у него совсем настроение портится, и опять ты со своим насморком, ребят мне вечно заражаешь, а я его сегодня и так еле притащила...

Она бы, может, еще что-нибудь любопытное мне нашипела, но я вскочила, рывком сбросив с себя ее руки, пулей вылетела на кухню, выпила залпом стакан холодной воды и заорала что было мочи. Начало я еще помню, там было что-то членораздельное, вроде:

- Это я торчу?!
- Это из-за меня твои дети сопливые ходят?!
- Это из-за меня у твоего сморчка настроение портится?!
- Это все из-за меня??!

Согласитесь, вполне логичное и справедливое начало. Дальше произошел какой-то странный эффект, не знаю, как это назвать: вижу себя со стороны, вижу, что ору, хватаю с полок чашки, блюда, швыряю на пол, вижу груды черепков на полу, Нелькину полинявшую от виноватости физиономию, вижу Нелькиного шибздика, в потухших глазах которого занялась заря восхищения, слышу вдруг собственный голос, орущий сущую абракадабру: «Именительный: кто? что? Родительный: кого? чего? Дательный: кому? чему? Вот тебе — кто! Вот тебе — кого! А вот тебе — кому!»

Тут я хватаю большой красивый чайник, которого никогда у Нельки не видела, со всего маху бросаю его на пол и одновременно слышу Нелькин плачущий голос: «Ой, это я тебе на день рождения купила... ах!»

Она опускается на корточки и начинает собирать то, что осталось от чайника. Я оседаю на пол рядом с ней, беру в руки осколки и, глотая слезы, говорю:

— Ой, Нелька... спасибо тебе... какой замечательный чайник ты мне подарила...

Ноябрь 1988 года

Владимир САРАПУЛОВ

Играл Чебыка на трубе

Военный строитель, рядовой Чебыкин, на втором году службы в рядах Советской Армии, жил и кормился на мясокомбинате. Поначалу Валера обижался на единственную свою родственницу — бабушку, члена ВКП(б) с 1900 года, которая считала армейскую службу отличной школой жизни. Не писал ей писем и тайне надеялся, что бабушка от переживаний и дряхлости начнет погибаться и вызовет молодую его жизнь из этого гиблого места. Но бабушка оказалась крепкая и не погибала. И не хотела вызвать внука из армии телеграммой. Дело дошло до того, что Валера не стал знать, как ему жить дальше, чем питаться и где согреться. С первой

стадией геморроя Чебыку в санчасть не брали. В столовке, куда он было сунулся и где готов был мыть полы, чистить картофель и обувь, шить, стирать, шестерить в угоду старослужащим, — в столовке нужны были лишь педерасты, от чего он отказался. На строительном объекте ВЧ — кирпичном пятиэтажном доме с падающей торцевой стеной, мест вовсе не оказалось...

Когда ко всему безразличный Чебыка ткнулся в занесенную снегом дверь штаба ВЧ, ему вдруг открыли. Из командования там никого не оказалось: и в штабе система отопления полопалась от морозов. Открыл Валере дежурный, прапорщик, который поддерживал в своем большом теле жизнь при помощи железной печки-временки, рваного тулупа и десятка ватных матрасов, разбирая на дрова забор вокруг ВЧ. Для порядка прапорщик помахал перед носом Валеры железной арматуриной со стройки, а когда понял, что тот не лазутчик и не собирается совершать на него нападение, выпустил Чебыку, приговаривая, что верный друг его Шарик погиб намереди в неравной схватке за тулуп с пьяным и обкуренным старослужащим. А верный соратник Полкан загнулся от переживаний, запора и дряхлости. Поплакал дежурный на груди у Валеры, и начали жить...

Жили они недолго. С Чебыкой дежурному оказалось не легче. Невесело и неинтересно: онанизмом Валера занимался нехотя, как бы презирал это искусство из области гнусного. Песни пел революционные. Рассказывать истории за время жизни с бабушкой не научился. Да и вероломства, необходимого для выживания в экстремальных условиях СЕВЕРА, в себе не накопил...

«Иди, — молвил однажды дежурный Чебыке, — у меня пропитания и медикаментов на тебя не рассчитано. — Смахнул прапорщик слезу с глаза и, протянув Валере замусленный трояк, добавил: — Воровать ты не умеешь, придураться тоже. А педерастом тебе быть болезнь мешает. Вот тебе мой совет: иди в город, к людям. Да гляди в оба, там страсть как нашего брата, насильников, не любят и боятся — убить могут в целях безопасности. Можешь присосаться к какой-нибудь бабенке, их там много после зон коэффициент северный по кочегаркам зарабатывает. А у мужиков ихних от пьянки и каторги в штанах пусто. Так что действуй. Словом, спасайся, братан, до весны, как можешь. А по весне приходи, перекличка живых будет...

Сказал так дежурный, поплакал у Чебыки на груди и хлопнул за собой дверь...

Стоял Чебыка посреди занесенного снегом плаца ВЧ с гнойным свищем под мышкой от перемены климата. Со второй стадией геморроя в известном человечеству месте, множеством белых бельевых вшей в швах одежды. Вплотную он столкнулся с «райской жизнью» северного города. Теперь Чебыка был согласен бежать куда угодно. Получать каждый час по физиономии, ходить с геморроем в наряды, сносить пинки, оплеухи старослужащих, мыть полы, стирать, шить. Переживать ножевые ранения из-под низа сетки кровати. Отдавать

получку по первому требованию, но желательно, чтобы тому, кто сильнее будущих, которые еще придут, и потребуют, и избытют, но не очень.

Теперь Чебыка, пожалуй, мог бы стать педерастом. Только как-нибудь так, чтобы не помнить и не знать этого. Пусть ударят по голове или напоят допьяна. Или усыпят его бдительность добром и лаской. Ведь они это умеют...

По небу живыми волнами перекатывались разноцветные полосы северного сияния, и он стал кричать: «Люди! Помогите! Согласен на педераста!»

«Так иди в столовую, там тепло и сытно», — отвечали Чебыке. Что он и сделал. Но жестоким пинком был сбит с ног с высокого крыльца: «Много вас таких ходит! Был нужен — уже взяли!» — гулко хохотал голос.

«Люди! Помогите! Замерзаю!.. Согласен на педераста и за щеку, больше у меня ничего нет!» — кричал Чебыка слабым голосом. Одет он был в безрукавный бушлат, рваные ватные штаны и разбухшие дырчатые валенки. Ушанка на его большой голове была замотана колючей ржавой проволокой, какой много было в окрестностях части, сидела на макушке... Кричал куда-нибудь Валера. И скоро услышал шаги человека и разглядел бесформенный приближающийся силуэт. «Чего орешь?» — спрашивал Бесформенный. — «Согласен, согласен», — плакал Чебыка. Из глаз его сыпались ледяные слезы...

«Ты петь умеешь? — допытывался Бесформенный. — У нас только с голосом принимают!» Обрадованный Валера провыл любимую бабушкину песню «Таганку». И впервые за время службы вспомнил ее добрым словом, ибо услышал: «Не ссы, брат. Нас трахают, а мы крепчаем, специфика! Пошли. Будешь у нас солистом. Нам солисты нужны!»

После выпитого Чебыка начал приходить в себя и увидел на большом столе жестяные банки с консервами, много хлеба, много сала, много луку, которого давно мечтал поест от распухания десен в своем рту. Всего было много, и Чебыка начал есть на будущее... В комнате, на полу, на стульях, по углам — всюду стояли музыкальные инструменты. Входили и уходили незнакомые, со здоровыми лицами люди, от чего Чебыка начал думать, что все они сейчас сильнее его физически и запросто могут сделать его педерастом, нахмурился и перестал есть. Но его никто не собирался пока что насиловать, хоть и разговаривали с ним уж очень ласково...

«Ну что, оклемался?» — улыбнулся Валере завклубом Пилорама. — «Налить еще водки?» — интересовался только что теребивший струны гитары человек узбекской национальности. — «Подожди, дай отойти человеку!» — отвечали за Чебыку с кавказским акцентом. — Он, говорят, петь умеет!» Чебыка хохотал, как ненормальный. Он приятно захмелел и не раздумывая провыл строку из «Интернационала», но его остановили: «А еще что-нибудь можешь?» Валера выдал, как мог, «Централку». Пилорама морщился, слышались встревоженные голоса: «Уж не лазутчик ли ты?!» Но Пилорама

весело обрезал: «Ладно, не бойсь, мужик! Мы тебя на бас-трубу посадим, там слуха не надо. Знай перди себе, как шагаешь, потянет!..»

В зрительном зале клуба ВЧ на полу, на лавках, везде, где только можно, лежали матрасы, на которых расположились люди военные — человек полтора. Без стеснения прогуливались по залу полунагие, полупьяные женщины — хлопотали возле печек-временок, тазов со стиркой. Из всех концов доносились до слуха Чебыки рожденные в любовном экстазе вопли, ссоры, пьяные песни, многоязычный говор...

Валере определили место в половом пространстве зала — в углу, где почивали бессемейные «онанисты». А через три дня Чебыка вышел на дело в составе бригады воров-«коммунаров»...

В окрестностях воинской части № 41751 расположились склады северной перевалочной базы. Они всерьез никем не охранялись, были легко доступны для ограбления. Жить «коммуне» как-то было нужно, и потому раза два в месяц люди военные вооружались ножами, топорами, ломami и арматуринами, прихватив с собой сани, мешки и прочую вместительную тару. Специалисты по части взлома имелись в достатке. Склады профессионально вскрывались, из них выносилось все необходимое для зимовки. За сверхжадность воины предавались каре в соответствии с законами «коммуны». «Коммунары» в городе никого не грабили, не убивали, но, на случай столкновения с озлобленными на прочих военных группами из городского населения, вооружались. С бандами высланных после войны изменников Родины и прочего антисоветского отребья столкновений у «коммунаров» не было. Случалось, первые под дулами огнестрельного оружия заставляли воинов Советской Армии выкрикивать противостественные по причине их закалки лозунги и призывы, после чего устраивали для них пышные застолья. Были налажены бездоговорные, но дружеские отношения...

С одной стороны, в клубе вовсю шла подготовка к отчетному концерту, приуроченному к 23 февраля. С другой, организованно отражались вероломные попытки многочисленных национальных группировок из числа военнослужащих окрестных частей навязать клубной «коммуне» свою волю. В случае выявления шпионажа или предательства, попыток поджога клубной казармы виновные карались самыми допотопными, но передовыми в условиях СЕВЕРА методами: не убивались, но унижались.

Чебыку не раз будили в ночи: «Пойдем караты!» Но Валера отказывался. Скоро на него стали смотреть косо, так что Чебыка ощутил однажды после выпитого назойливо шевелящееся в голове омерзение к себе вместе со жгущим его нутро омерзением к мешающей жить «коммуне». Чувство очень основательное и сложное, как мир...

Голова пытаемого была накрыта полотенцем, глаза надежно завязаны, а уши, большие и красные, шевелились. Он стоял в позе животного, потом припал от усталости на передние лапы и захрюкал. Воины поочередно подходили к лазутчику и не без видимого презрения производили акт возмездия. Чебыку вытошнило, но он, не желая

отлынивать, превозмог себя и, как истинный патриот, мял в штанах инструмент мести. Когда Валера распалился, лазутчик потерял сознание и был оставлен для отдыха, гигиенической обработки и принятия пищи — в соответствии с законами ЧЕЛОВЕЧНОСТИ...

Валеру подтолкнули к другой двери клубной котельной. На широченной постели принимала воинов клубная библиотечка, жена замкомроты Алексеева. Чебыка был много наслышан о ее порядочности и чистоплотности: в сравнении с другими местными проститутками она считалась ИДЕЙНОЙ и работала только в «коммуне».

Алексеева лежала на широченной постели и равнодушно курила в потолок. Ей приносили выпить и закусить, ела и пила она без отрыва от «производства».

Скоро Чебыка стал чувствовать себя таким же, как все: полноценным членом «коммунистического» общества, впервые написал теплое письмо единственной своей родственнице — бабушке, члену ВКП(б) с 1900 года. А впоследствии казнил всех без разбора лазутчиков до тех пор, пока клубная казарма не сгорела дотла. Всякую весну она сгорала...

Весна для солдата — КАЙФ...

«Старики, день прошел!» — вопили молодые.

«Да и хер на него», — отвечали старослужащие хором.

Зима — сплошная ночь, а лето — день сплошной...

«Живем мы, как сыр в масле катаемся. Паек усиленный хаваем — северный. А сияние северное тут — вроде нашего грибного дождика — не редкость. А вокруг казарм белые медведи гуляют семьями, хотел было хлопнуть одного да шкуру домой отправить, но с почтой у нас плохо. Мясо жуем волокнистое — оленину. Бывает, приедет какая комиссия в папах из центра, так мы ходим перед их глазами строем, чтоб отвязались, ходим и опять спать. Спим мы все больше да стариков гоняем, но не очень: они ведь тоже люди...»

Писали бодрящие письма молодые домой, а Батя — командир части — зачитывал их на разводах. Всякое утро зачитывались на утренних разводах сводки об отданных под трибунал воинах-преступниках, каких было сотни...

Выдернув из мешковатой одетой массы новобранцев очкарика, диктовал для своего дембельского альбома старшина: «Пиши красиво, падло!.. А служить мне довелось на СЕВЕРЕ...» Старшина был с глубокими залысинами, с усами, в ладно подогнанной, постиранной молодыми повседневно, гляделся и глядел браво. Вот только уши его подводили: они были большие и красные и казалось, что шевелятся, от чего усы его метелкой и вся остальная в нем внешняя стать воинская представлялись ложными...

Подгоняемые пинками старослужащих хрипели молодые, соскребывали осколками стекла клочья грязи с пола казармы.

Как ночь рассеялась, в казармах сталолюдно. Захрустели под каблуками сапогов жирные, снежно белые бельевые вши. Повытаскивали люди военные из теплых нор свои обрюзгшие, обросшие тела и головы. Матрасы теперь появились почти на всех кроватях, а вот постельных принадлежностей не было. Как говорил на разводе

Батя: «Про...ли все, стервенцы!» А коптерщик, человек из горной местности, готовил к отправке в родной аул три бочки половой краски. Он человек хороший, молодых не обижает, хоть и время по часам определить не умеет — по солнцу все. Зато диплом экономиста имеет и ни от кого не скрывает, что куплен диплом за сорок баранов. Он поскорей желает отдать Родине долг, научиться говорить по-русски, понимать по часам время, построить базис для семейной жизни. А пока что горец скучает по женщине и потому, что даже за деньги ему не дают местные проститутки, держит у себя под матрасом тряпочку. А «девицы» опасаются размеров его половой конечности, которую он с детства развивал, на животных упражняясь. Он этого также ни от кого не скрывает. Говорит, у нас тот не мужчина, кто ишака не пробовал в детстве. Очень жалеет горец, что на севере ишаки не водятся...

Не обошлось и в этот год без массовых посадок, смертей, несчастных случаев, но, видимо, как-то еще сносно по сравнению с другими годами: воинская часть № 41751 была награждена переходящим Красным Знаменем как победительница соцсоревнования по итогам года...

Оживала жизнь части. Стены, потолки, трубы водяного отопления в казармах исходили потом. Выталяли из-под снега горы мусора, а с ними и шесть замерзших трупов, убитых, кончивших жизнь самоубийством. Их называли «подснежники».

Лейтенант Алексеев был трезв, чисто выбрит, шинель на нем сидела, как на настоящем военном. Он шел в казарму твердым шагом. Из верных агентурных источников Алексеев знал, что старослужащих сегодня в казарме нет: все они ушли на природу мешать бочку с ворованным лаком, а потом драться на ножах с чеченцами. Следом за Алексеевым, сопровождаемая Батей, шла комиссия из УИРа (Управления Инженерных Работ). Заместителя командира роты не было в части полгода. Как собрал он с молодых деньги на покупку зубных щеток, пасты, крема для чистки обуви, так и потерялся. За это время служба съела двух вышестоящих, непосредственных его начальников: одного, замполита, увезли в дурдом, второго, командира, не нашли вовсе...

Шел замкомроты Алексеев в казарму и думал: неровен час в жизни человека военного. Быть может, за зиму молодые так обурели, что и по весне могут закидать командира сапогами и табуретами. В том случае одно спасение у командира: падай, командир, чистым животом на пол грязный и поскорей к выходу, как в училище учили, не то все пути к отступлению перекроют, суки, и все, что хотят, с тобой сделают, и виновного не сыщешь потом, если вдруг живой останешься...

«Рррота, встать смирна!» — вопит идиот дневальный и, стоя как будто смирно, отдает Алексееву честь. Алексеев рисковать не решает. Он торопливо отпирает двери канцелярии, внедряется туда и закрывается на палку, прежде успев пригрозить дневальному кулаком: «Нет меня!»

Через пять минут после Алексеева в казарму wpłyвает Батя с

комиссией из УИРа. Дневальный на высоте, он вопит: «Рррота, встать смирррна!!!» Батя — человек пожилой. В самом начале войны он в ефрейторах ползал на животе по позициям, к концу войны — в лейтенантах, а вот теперь Батя в подполковниках ходит. Походка у Бати, как в штаны наложил, но глаза у него молодые, красивые, молдаванские у Бати глаза. По глазам Батя мог бы до маршала достучаться...

«Воин, воин! Кто есть ты, воин? Ты кто есть? Почему не знаю? Не знаю почему? Где тебя выловили на мою голову, где? Воин, почему под носом блеск и сапоги на разные ноги?! Вот снять тебя на карточку, мудака такого, и невесте. Есть невеста-то, воин?» Батя усмехается, все превращает в шутку и щупает у дневального в штанах: «Есть невеста, есть! Утри немедленно под носом, воин!»

А говорит Батя, как лает, взახлеб, отрывисто и энергично. И руки его при этом не знают старости: «Кто? Где? Кто? Где?» — крутит головой-тыквой Батя и трясет дневального, пропустив под его брезентовым ремнем толстые, волосатые свои пальцы... Дневальный стоит — дурак дураком и зубасто лыбится Бате. «Кто есть? Кто есть?!» — трясет дневального сильнее прежнего Батя. Пилотка на голове воина чуть держится, вот-вот упадет на пол. Дневальный стоит по стойке «смирно», скалит желтые, неровные зубы и отвечает, как учил старшина, который сейчас отдыхает в коптерке с женщиной: «Отлучились по роду службы!»

Батя отворачивается, и в тот миг за его спиной кто-то выскакивает из казармы: «Держи! Держи его, держи, приказываю! Стой, стой, воин! Я тебя узнал! Под суд! Под трибунал! Всех под суд! На гаупвахту, на пятнадцать суток!» Пилотка с головы дневального падает на пол. Обнажается бритая, вся в синяках (от БАЛАБАХ — своего рода щелчков по голове пальцами, таких сильных, что колетса комковой сахар) его голова. «Отлучились по роду службы!» — твердит заученное дневальный. Из его головы не вытрясешь теперь этого до конца жизни: вбивалось щелчками да пинками. Скалит зубы дневальный и глядит косыми влюбленными глазами на своего командира: солдату Батя друг и отец. Сколькох он спас от тюрьмы и дисбата! Честно говоря, если бы не спасал, так и командовать бы Вакуленке нечем было. Есть за что уважать Батю. Любят его солдаты...

Забалдел от весеннего духа Чебыка, как впервые в жизни с весной столкнулся. Да что Чебыка? Ручьи да птицы, как шальные, заорали, как пьяные, напились, и всяк орет свою песню. И небо голубое-голубое. И знает Валера: зимы, как прошедшая, в жизни его больше не будет. Не будет и в жизни его сына такой зимы: не пустит он сына своего в такую армию, костыми ляжет, не пустит...

Уйдут «старики» с песнями на дембель. Нагонят молодых, с девичьими глазами мальчиков. И вся тяжесть с твоих плеч на их плечи ляжет. Разденут мальчиков, попользуют их нерастраченную силу-энергию, пока они службу не поняли. А когда приспособятся мальчики, вот тут-то держи ухо востро: отыграются на твоей шкуре маль-

чики. А чтобы этого не случилось, в клоаку мальчиков, на дно, чтоб продыху не знали. Чтоб единственной целью дня было желание, стремление хоть два часа в сутки поспать. А кругом — чтоб один лишь страх, неизвестность, неуверенность, что живым завтра будешь. Иначе самому до конца службы ходить в «мальчишках». Философия! А философия, эволюция, природа — все они у нас на службе. Не верите? А вон уже в небе «рисуют» самолеты. Скоро так натренируются, что уж портреты вождей наших обязательно вылепят в небе.

И что только не взбредет в голову солдата по весне! Фролик колесную пару на заброшенной узкоколейке нашел и каждое утро мышцы свои надувает. Хоть и без того — вылаз на вытянутых руках по тридцать раз на перекладине демонстрирует. «Пил я, — говорит, — пил, как сука! Плюгавым был на гражданке. Раза два по 144-й подлетал, понял: воровать все равно нужно. Вот я и начал заниматься. Хоть трезвый, хоть пьяный — все равно».

Чебыка забалдел от весеннего духа, да так забалдел, что пошел куда глаза смотрят. А глаза у него ожили, заблестели, забегали. Вышел Валера за пределы части и брата на встречу, земляка и музыканта, такого же от весны пьяного, как он сам. Поприветствовали без слов друг друга и пошагали. Куда идут — не знают! А вокруг! Проталины и покосившиеся заборы, и постройки, белье на веревке, и женщина, и дух! Как всего этого раньше не замечали? А тут железнодорожная станция: вагоны, вагоны, вагоны! Рельсы, рельсы, рельсы! «Было бы можно, пехом бы по рельсам домой ушел! Корой бы березовой питался, но дошел бы! С волками бы грызся!» — «Не дошел бы. Заели бы тебя волки, они стаями ходят!» — «Не съели бы, я против волков верный прием знаю: волки лежачих не грызут, не убивают, такой у них закон!»

«Гляди, гляди, пьют!..» — как зачарованный, встал Валера и не идет дальше, смотрит во все глаза... Нутро вагона заставлено ящиками с вином. Сидят двое обросших мужиков и шумно разговаривают на не известном Чебыке языке. С Валерой что-то случилось, голос его изменился: «Дяденька, дай бутылочку!» Выбросили из вагона недопитую «БОМБУ». Чебыка, словно голодный пес, когда ему кидают кусок мяса, с такой же проворностью поймал брошенное.

Сидели у ручья, который впоследствии назвали «АГДАМ». Ручей блестел под лучами солнца, баламутил сознание воинов: «Где наша не пропадала! Зимой не то еще было! Солдат всегда найдет! Кто для солдата припас?!»

Вагон по-прежнему полуоткрыт, людей не видно, слышен богатырский храп. Каким неузнаваемым стал тихоня Чебыка, поглядела бы на него сейчас бабушка, порадовалась бы: Валера долго не стал размышлять, прыгнул в вагон...

Они бежали. Бутылки выскальзывали из-за пазух, из-под ремней, падали, бились, рассыпались розовыми искрами. Но они не обращали на то внимания, только дико-зычно гоготали. Вновь устроились у ручья «АГДАМ», пили. Бутылок насчитали тринадцать и спрятали под корягу...

Пришло время вечернего развода, и Валера играл на бас-трубе.

Лицо у него было медным — вроде трубы. Потом старшина позвал Чебыку в коптерку. По простоте душевной Валера порассказывал старшине о своих подвигах, раскололся, решив угостить старшину. Тот с несколькими старослужащими напился, и был с ними Чебыка, телом которого хотели было попользоваться. Но Валера долго не думал: ведомый ужасом, надел кому-то на уши табурет, кому-то ткнул в рыло горящей папиросой и в окно — ласточкой, ласточкой, и ноги... Три дня Чебыки не было в части. Он отходил от случившегося в котельной городского мясокомбината, где пьяный погладил по шерстке мягкую кошечку, которая развалилась на острых коленках БАБЫ-ЯГИ. Баба-Яга приласкала Валеру и позвала с собой в постель...

Когда Чебыка пришел в часть, во-первых, ему набили морду, во-вторых, Валеру похвалили за отчаянный поступок и умение постоять за себя. В-третьих, Чебыку позвали в штаб части. Круглый, жукоподобный мужик в погонах капитана говорил, что очень жалеет бабушку Валеры, соратницу Ленина и других борцов за дело революции. Капитан вынужден заводить следствие по делу ее внука, который опозорил перед смертью ее честное, хрустально-чистое имя, замарал, загадил, скот!.. Но если он, Валера, будет умным и расскажет все, что знает, о проделках клубной братии, то, очень даже может статься, в погонах ефрейтора обнимет через два-три месяца, будучи в краткосрочном отпуске, свою бабушку. Ведь не он, честный человек Чебыкин Валерий, виноват в совершенном им преступлении: на него влияет... Валера тогда подумал-подумал и решил, что в конце концов получается, что и не они, ребята, виноваты: на них тоже влияли, более того, вынуждали к преступным действиям! Иначе бы не занимать части первого места в соцсоревновании, не хранить переходящего Красного Знамени! Ребята наверняка тоже поедут в краткосрочные отпуска и обнимут своих родных, невест и близких. А отвечать за все придется подполковникам из УИРа, ведь не кого-нибудь, а их поздравил «ГОЛОС АМЕРИКИ» с закладкой нового СООРУЖЕНИЯ...

Чебыка немедленно был устроен на теплое место. Через два месяца он в погонах ефрейтора, при параде, предстал перед своей бабушкой, членом ВКП(б) с 1900 года. И все, о ком Чебыка порассказал, обнимали своих родных, невест и близких им людей. Только все это случилось в мечтах Чебыки. Он был просто выпнут с теплого места. На его место пришел другой стукач...

Начальник штаба части майор Зараменюк провожал отмаявшегося. Он сам прямо так и выразился «ОТМАЯВШИЙСЯ ты»...

Сыпал густой снег. Бились о столбы калганы фонарей. Показалось тупое рыло «дембельного» поезда...

Зараменюк достал из кармана конверт с деньгами и документами: «Пересчитай, должно быть 290», — говорил, шевеля острыми скулами. — «Да какой там посчитай!? Пешком уйду, по рельсам».

Хотелось верить, что Зараменюк не такой, каким казался всегда.

«Вы уж не обижайте ребят. Сегодня они отпразднуют мой дембель». Он выцепил из денежной стопки несколько бумажек, протянул майору. Зараменюк отказывался. «Возьмите, прошу вас, посидите где-нибудь в ресторане, отдохнете от службы, меня вспомните».

Взял...

Объявили посадку. Зараменюк, по-прежнему шевеля скулами, что-то говорил, тряс руку ОТМАЯВШЕГОСЯ. Было радостно и одновременно до дна души грустно, что-то удерживало. Словно оставляешь в этих гиблых краях очень важную часть своего «Я». Хотелось плакать...

Нутро вагона. Запах угля. Запах обжитого нечистого человеческого жилища. Проводница с хитрыми свинячьими глазками. Едут гражданские люди. Наплыв радости и отчаянья: «Свобода! Эх! Маррозова!» Офицерик-замухрышка, сержант с двумя красными соплями-лычками на погонах, между ними сидит солдатик с потухшим взором. С ними привычней...

«Что, солдат не найдет в поезде выпить?! Солдат всегда и все найдет! Эх, Маррозова!» Жирная проводница отозвалась на «ласточку», продала красное вино... Хлопнул стакан офицерик, хлопнул сержант, разговорчивыми стали. «А солдатик что, трезвенник?» — «Нельзя ему, он осужденный, в дисциплинарный батальон везем». — «Да что вы, люди?! Спятили? Пей, солдат! Пей и не грусти! Все пройдет, и это тоже канет. Я сам там был. Там лучше, чем здесь. Там тебя будут охранять на вышках. Там ты увидишь оружие. Научишься ходить строевым шагом, узнаешь, что такое Армия, воинский устав вызубришь: ад не там — ад тут! Хотя и там дерьма хватает... Пей, солдат, пей и не грусти, все пройдет. Пей, солдат!...»

Пермь

*Литературно-публицистическое
издание*

АЛЬМАНАХ «АПРЕЛЬ»

Редактор *Е. В. Архипова*
Оформление художника *А. Ю. Литвиненко*
Художественный редактор *С. С. Водчиц*
Технический редактор *Е. Б. Николаева*
Корректор *Э. С. Казанцева*

Н/К

Сдано в набор 12.03.91. Подписано в печать
26.08.91. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л.
18,00. Усл. кр.-отт. 18,38. Уч.-изд. л. 20,51.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 121. Цена 4 р. 50 к.
Изд. № 6-ю/90.

Издательство «Международные отношения».
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20

Государственная ассоциация предприятий,
объединений и организаций полиграфической
промышленности «АСПОЛ».
Ярославский полиграфкомбинат,
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Д Л Я З А М Е Т О К

4 р. 50 к.

500



ԱՊՐԵԼԻ

1991

